

ДЖОРДЖ
ОРУЭЛЛ
1984

НОВЫЙ ПЕРЕВОД

ДЖОРДЖ
ОРУЭЛЛ
1984

1984

George Orwell

ДЖОРДЖ
ОРУЭЛЛ
1984

*Перевод с английского
Леонида Бершидского*

Издательство
«Альпина Паблицер»
Москва, 2021

альпина
ПРОЗА

УДК 821.111
ББК 84(0)6
О-70

Переводчик Леонид Бершидский
Редактор Любовь Макарина

Оруэлл Дж.

О-70 1984 (новый перевод) : [роман] / Джордж Оруэлл ; пер. с англ. Л. Бершидского. — М. : Альпина Паблшер, 2021. — 352 с. — (Серия «Альпина. Антиутопии»).

ISBN 978-5-9614-2525-3

«1984» — последняя книга Джорджа Оруэлла, он опубликовал ее в 1949 году, за год до смерти. Роман-антиутопия прославил автора и остается золотым стандартом жанра. Действие происходит в Лондоне, одном из главных городов тоталитарного супергосударства Океания. Пугающе детальное описание общества, основанного на страхе и угнетении, служит фоном для одной из самых ярких человеческих историй в мировой литературе. В центре сюжета судьба мелкого партийного функционера-диссидента Уинстона Смита и его опасный роман с коллегой.

В СССР книга Оруэлла была запрещена до 1989 года: вероятно, партийное руководство страны узнавало в общественном строе Океании черты советской системы. Однако общество, описанное Оруэллом, не копия известных ему тоталитарных режимов. «1984» и сейчас читается как остроактуальный комментарий к текущим событиям.

В данной книге роман представлен в новом, современном переводе.

УДК 821.111
ББК 84(0)6

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alпина.ru.

ISBN 978-5-9614-4182-6 (серия)
ISBN 978-5-9614-2525-3

© Перевод. Бершидский Леонид, 2021
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Альпина Паблшер», 2021

Содержание

Часть I

7

Часть II

115

Часть III

249

Приложение. Принципы новоречи

331

Послесловие переводчика

347

От издателя

Мы издали антиутопию Джорджа Оруэлла в новом, современном переводе и дополнили текст иллюстрациями. В их основу легли пропагандистские плакаты разных времен, режимов и стран. Мы не преследовали цель проиллюстрировать текст напрямую, но решили дополнить его, рассказав параллельную историю о том, что пропаганда не имеет ни срока давности, ни границ государств.

Часть I

Auch
Du



gehörst dem Führer

Ты тоже принадлежишь Фюреру

1.

Стоял солнечный, холодный апрельский день. Часы били тринадцать. Опустив подбородок до самой груди, чтобы укрыться от подлого ветра, Уинстон Смит прошмыгнул в стеклянную дверь апартаментов «Победа», но недостаточно быстро: с ним все же ворвался маленький вихрь из пыли, смешанной с песком.

В подъезде пахнет вареной капустой и старыми половиками. К стене приколот цветной плакат, слишком большой для закрытого помещения. На нем — только метровое лицо мужчины лет сорока пяти с густыми черными усами и грубыми, но приятными чертами. Уинстон направился к лестнице. Вызывать лифт не имело смысла. Он и в лучшие времена работал редко, а теперь электричество в светлое время суток отключают. Кампания экономии входит в план подготовки к Неделе ненависти. До квартиры семь пролетов. Уинстон, тридцати девяти лет от роду и с трофической язвой над правой лодыжкой, преодолел их медленно, с несколькими остановками на отдых. На каждой лестничной площадке, напротив шахты лифта, взирал со стены плакат с огромным ликом — одно из тех изображений, на которых глаза как бы поворачиваются вслед за тобой. «Старший Брат видит тебя» — гласила подпись.

В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Голос звучал из прямоугольной металлической пластины вроде мутного зеркала, занимавшей часть правой стены. Уинстон повернул выключатель, и голос стал несколько тише, хотя слова все еще можно было разобрать. Телевид — так называется аппарат — можно приглушить, но не выключить полностью. Уинстон подошел к окну. Невысокий, щуплый, в синем форменном комбинезоне партийца он казался еще более тощим. Очень светлые волосы оттеняли при-

родный румянец. Кожа сделалась шершавой от грубого мыла, тупых бритвенных лезвий и холода только что прошедшей зимы.

Даже сквозь закрытое окно мир снаружи выглядел озябшим. Внизу, на улице, ветер закручивал спиралями пыль и бумажные клочья, и хотя в вызывающе синем небе сияло солнце, все казалось бесцветным, кроме расклеенных повсюду плакатов. Черноусый лик глядел с каждого угла. С фасада дома напротив — тоже. «Старший Брат видит тебя» — гласила подпись, и темные глаза заглядывали Уинстону прямо в душу. Внизу, на уровне первого этажа, угол другого плаката оторвался от стены, и его трепали порывы ветра, то пряча, то вновь открывая единственное слово: «Англизм». Вдали нырял между крыш вертолет, зависал на мгновение, словно трупная муха, и снова взвивался по дуге. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули — ерунда. Совсем другое дело — полиция мыслей, Думнадзор.

За спиной Уинстона голос из телевида все еще журчал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Телевид и принимает, и передает одновременно. Металлическая пластина улавливает каждый звук, кроме самого тихого шепота. Больше того, пока Уинстон находится в поле обзора телевида, его не только слышно, но и видно. Никто не знает наверняка, наблюдают за ним сейчас или нет. Как часто и по какому графику Думнадзор подключается к каждому устройству, можно только догадываться. Возможно даже, что за всеми наблюдают постоянно. И уж точно могут подключиться, когда захотят. Ты вынужден жить — и живешь по привычке, ставшей инстинктом, — исходя из того, что каждый звук прослушивается, а каждое движение, пока светло, тщательно изучается.

Уинстон старался держаться к телеvidу спиной. Так безопаснее, хотя — он это отлично знает — и спина может

выдать. В километре отсюда Главный комитет истины, его место работы, возвышается белоснежной глыбой над закопченным пейзажем. Такой вот, подумал Уинстон со смутной неприязнью, — такой вот он, Лондон, главный город Авиабазы номер один, третьей по населению провинции Океании. Уинстон попытался выдавить из себя какое-нибудь детское воспоминание: всегда ли Лондон был вот таким? Всегда ли открывался такой же вид на ряды прогнивших, подпертых бревнами домов девятнадцатого века постройки? На окна, заложённые картоном, и крыши с заплатами из листового железа? На палисады, кренящиеся, как пьяные, во все стороны? На места бомбежек, где вьётся в воздухе известковая пыль и горы мусора зарастают иван-чаем? На прогалины от бомб побольше, где выросли нынче колонии убогих дощатых домишек вроде курятников? Все без толку, он ничего не помнил. Все, что осталось от детства, — серия пересвеченных кадров, на которых ничего не различить.

Главный комитет истины — на новоречи* Главист — поражает своей несхожестью со всем прочим в поле зрения. Это огромное пирамидальное строение из ослепительно белого бетона, вздымающееся в небо на триста метров, терраса за террасой. Издалека Уинстон едва мог различить выбитые элегантно шрифтом на белой стене три лозунга Партии:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Говорят, в Глависте три тысячи кабинетов над землей и столь же разветвленная подземная часть. В других

* Новоречь была официальным языком Океании; с разбором ее структуры и этимологии можно ознакомиться в приложении. — *Прим. авт.*

концах Лондона высятся еще три здания подобного вида и размера. Они настолько подавляют всю окружающую архитектуру, что с крыши апартаментов «Победа» можно увидеть все четыре одновременно. Это здания четырех главков, на которые делится весь государственный аппарат. Главист занимается новостями, развлечениями, образованием и искусством. Главный комитет мира ведет военные действия. Главный комитет любви поддерживает общественный порядок. А Главный комитет богатства отвечает за экономику. На новоречи они именуются Главмир, Главлюб и Главбог.

Настоящий ужас внушает Главлюб. В нем совсем нет окон. Уинстон никогда не был внутри Главлюба и даже в полукилometре от него. Попастъ туда иначе как по служебной необходимости невозможно, да и в этом случае путь лежит через лабиринт из колючей проволоки, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. Даже улицы, которые ведут к внешним укреплениям главка, патрулируют гориллоподобные охранники в черной форме, вооруженные складными дубинками.

Уинстон резко обернулся, придав лицу выражение спокойного оптимизма, уместное в поле обзора телевида, и прошел в маленькую кухоньку напротив окна. Покинув главк так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя знал, что на кухне нет еды, кроме краюхи серого хлеба, которую лучше приберечь к завтраку. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: джин «Победа». Из нее исходил тошнотворный маслянистый запах: так пахнет китайская рисовая водка. Уинстон налил почти полную чайную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.

Лицо его сразу побагровело, глаза заслезились. Будто азотной кислоты выпил, а заодно получил по затылку резиновой дубинкой. Но уже через мгновение жжение

в животе стихло, а бодрости прибавилось. Он потянулся к мятой пачке с надписью «Победа», но по неосторожности вытащил сигарету вертикально, так что весь табак высыпался на пол. Со следующей вышло удачнее. Он вернулся в гостиную и уселся за маленький столик слева от телевизора. Из ящика стола он достал перьевую ручку, склянку чернил и неисписанную толстую тетрадь в четверть листа, в твердом переплете, с красной задней обложкой и передней — под мрамор.

Телевид в гостиной почему-то был размещен нестандартным образом. Обычно его встраивают в дальнюю от входа стену, чтобы в поле обзора попадала вся комната, но здесь поместили напротив окна. Сбоку от телевизора располагалась неглубокая ниша, в которой теперь и сидел Уинстон. Когда строили дом, она предназначалась, видимо, для книжных полок. Придвинувшись как можно ближе к стене, Уинстон оставался незаметным для телевизора — по крайней мере визуально. Его, конечно, было слышно, но, если не менять положения, не видно. Отчасти именно необычная планировка комнаты подтолкнула его к тому, что он сейчас собирался сделать.

А еще подтолкнула тетрадь, которую он только что достал из ящика стола. В ней какая-то необъяснимая красота. Гладкие кремовые страницы чуть пожелтели от времени: такую бумагу не делают уже по крайней мере лет сорок. Но Уинстон предполагал, что тетрадь и того старше. Он приметил ее в витрине захудалой лавчонки старьевщика в трущобном квартале (каком именно, он уже не помнил), и его тут же пронзило непреодолимое желание обладать ею. Партийцам не полагалось заходить в обычные магазины (то есть «вступать в свободные рыночные отношения»), но этого правила придерживались не слишком строго: где еще достать всякие мелочи вроде ботиночных шнурков и лезвий

для бритья? Уинстон воровато огляделся, прошмыгнул в лавку и купил тетрадь за два пятьдесят. Тогда он еще не понимал зачем — просто украдкой принес ее в портфеле домой. Даже если в ней ничего не написано, она могла навлечь на владельца подозрения.

Завести дневник — вот что он собирался сделать. Ничего противозаконного (да и как что-то может быть незаконным, если законов больше не существует). Но если Уинстон попадет, ему почти наверняка грозит смерть или в лучшем случае двадцать пять лет каторжного лагеря.

Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы убрать смазку. Перьевая ручка — штукавина устаревшая, такой редко даже документы подписывают, но он раздобыл ее тайком и не без труда: ему казалось, что прекрасная кремовая бумага заслуживает настоящего стального пера, а не грубого чернильного карандаша. Вообще-то он не привык писать от руки. Все, кроме совсем коротких записок, принято надиктовывать в речепис, но для нынешней цели это, конечно, не годится. Уинстон обмакнул ручку в чернила. На секунду его охватила нерешительность, и дрожь пробежала по всему его телу. Коснешься пером бумаги — и обратного хода уже нет. Мелким корявым почерком он вывел:

4 апреля 1984 года.

И откинулся на стуле. Его охватило чувство полной беспомощности. Для начала даже не знал наверняка, правда ли сейчас 1984-й год. Где-то около того: он почти не сомневался, что ему тридцать девять, а родился он, кажется, в 1944-м или 1945-м. Но никакую дату нынче не установить с точностью до года-двух.

Да и для кого, задумался он вдруг, пишется этот дневник? Для будущего, для еще не рожденных. Мысли

его витали некоторое время вокруг сомнительной даты на странице, а затем споткнулись о новоречное слово «двоядум». Впервые до него дошло, какое масштабное предприятие он затеял. Как разговаривать с будущим? Так же просто не бывает. Или будущее окажется похожим на настоящее и не станет его слушать, или оно будет иным, и тогда никто не поймет, что у него за трудности.

Некоторое время он тупо глазел на страницу. Телевид тем временем переключился на суровую военную музыку. Любопытно: не только способность к самовыражению куда-то делась — Уинстон даже забыл, что же он изначально собирался высказать. Неделями готовился он к этому моменту, думая, что потребуется только смелость. Казалось, писать будет легко — достаточно лишь перенести на бумагу нескончаемый беспокойный монолог, звучавший у него в голове годами. Сейчас, однако, даже этот монолог иссяк, к тому же начала нестерпимо зудеть язва. Чесать ее он не осмеливался: от этого она всякий раз воспалялась. Часы отщелкивали секунды. В сознании Уинстона не осталось ничего, кроме чистоты открытой перед ним страницы, зуда над лодыжкой, грохота музыки и легкого опьянения от джина.

Вдруг, в совершеннейшей панике, он начал писать, лишь смутно понимая, что именно доверяет бумаге. Его мелкий, детский почерк метался по странице, теряя сперва прописные буквы, а потом и точки:

4 апреля 1984 года. Вчера вечером кино. Все фильмы про войну. Один очень хороший про корабль, полный беженцев, который бомбят где-то в Средиземном море. Публика очень смеялась над кадрами, где какой-то толстяк, огромный

такой ширдэй, пытаецца уплыць, а за ним гоніцца вертолет, сперва он барахтаецца в воде, как морская свинья, а потым его показываюць праз прыцел вертолетчыка, и вот он как решето, и море вокруг становіцца розовым. Вдруг он тонет, как будто праз дыры от пуль в него залілася вода, и публика просто катаецца со смеху, когда он тонет. Потом шлопка, полная детей, над ней зависает вертолет. Женщина средних лет может еврейка сидит на носу обнимает маленького мальчишка лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее между грудей как будто старается в нее зарыться а она обнимает его и утешает хотя сама посинела от страха и прикрывает его будто может руками защитить от пуль. А вертолет сбрасывает прямо на них бомбу в 20 кило вспышка и подка в цепки. потом отличный кадр детская рука летит летит прямо в небо вертолет с камерой на носу наверно заснял и аплодисменты из партийных рядов но женщина из масс вдруг устроила сцену кричала мол нельзя такое показывать при детях так нельзя при детях нельзя пока полиция не вывела ее не вывела не думаю что с ней что-то случилось всем наплевать что говорят массы типичная для масс реакция они никогда...

Уинстон перестал писать отчасти потому, что свело пальцы. Он не знал, что заставило его выплеснуть этот поток ерунды. Но вот что любопытно: пока он это делал, всплыло совершенно иное воспоминание — такое яркое, что он почти представлял себе, как его записать. Теперь ему стало понятно, что именно из-за того, другого случая он вдруг решился сегодня уйти домой и завести дневник.

Это случилось утром в главке, если о чем-то настолько смутном можно сказать «случилось».

Было почти одиннадцать, и в архивном секторе, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из рабочих ячеек и расставляли их в холле, напротив большого телевида, — готовились к Минуте ненависти.

Уинстон как раз устраивался в средних рядах, как вдруг вошли двое. Он видел их раньше, но никогда с ними не общался. Девушку он часто встречал в коридоре. Уинстон не знал ее имени — только то, что она работает в секторе художественной литературы. Иногда она несла в перепачканных машинным маслом руках разводной ключ — по всей видимости, работа у нее механическая, на одном из литературных станков. Выглядела она лет на двадцать семь, уверенная в себе, с копной темных волос, веснушками и быстрыми, спортивными движениями. Узкий алый пояс, знак Молодежного антисексуального союза (МАС), обвивался в несколько оборотов вокруг ее талии — достаточно туго, чтобы подчеркнуть крутые бедра под комбинезоном.

Уинстону она не понравилась с первого взгляда. Он знал почему: от нее веяло духом полей для хоккея на траве, купаний в ледяной воде, коллективных походов и в целом незамутненностью. Уинстон вообще недолюбливал почти всех женщин, особенно молодых и симпатичных. Именно женщины, а молодые в первую очередь, и есть самые зашоренные партийцы, принимающие на веру

все лозунги, добровольные шпионки, которые всюду вынюхивают неправоту. А эта казалась опаснее большинства прочих. Однажды, проходя мимо него по коридору, она бросила на него быстрый косой взгляд, который словно пронзил его насквозь и на мгновение наполнил неизъяснимым ужасом. У него даже мелькнула мысль, что она, возможно, агент Думнадзора. Хотя это, конечно, вряд ли. Однако всякий раз, оказываясь рядом с ней, он продолжал чувствовать странный дискомфорт, замешанный на страхе и враждебности.

Вторым вошедшим был О'Брайен, член Внутренней партии, обладатель должности настолько важной, что Уинстон лишь отдаленно представлял себе, чем он занимается. Собравшиеся у расставленных стульев на миг притихли, заведя черный комбинезон члена Внутренней партии. О'Брайен — крупный, мускулистый мужчина с мощной шеей и грубым, звероподобным, но веселым лицом. Несмотря на столь внушительную наружность, он был не лишен обаяния. Порой он проделывал обезоруживающий фокус с очками — поправлял их на носу, что каким-то неясным образом придавало ему цивилизованный вид. Если бы кто-то до сих пор мыслил такими категориями, этот жест напомнил бы ему аристократов восемнадцатого века, предлагающих друг другу понюшку табаку.

За десять лет Уинстон видел О'Брайена, может быть, дюжину раз, но чувствовал к нему сильную тягу — не только потому, что его интриговал контраст между светскими манерами и боксерским телосложением О'Брайена. Скорее, дело было в тайной уверенности — а может, и просто надежде, — что политическая правота О'Брайена сомнительна. Что-то в его лице прямо на это указывало. Хотя, возможно, у него на лице был написан просто ум, а необязательно неправота.

Но в любом случае он казался человеком, с которым можно поговорить один на один, если как-то обмануть телевид. Уинстон ни разу даже не попытался проверить свою догадку, да и как бы он это сделал?

В этот момент О’Брайен взглянул на часы, заметил, что уже почти одиннадцать, и, похоже, решил остаться в архивном секторе до конца Минуты ненависти. Он занял стул в том же ряду, что и Уинстон, через два места от него. Невысокая рыжеватая женщина из соседней с Уинстоном ячейки села между ними. Темноволосая девушка — позади них.

Тут из большого телевизора на дальней стене полилась отвратительная, лязгающая речь, словно запустили, забыв смазать, какой-то чудовищный станок. От одного этого звука хотелось скрипеть зубами, а волосы на затылке шевелились. Началась Минута ненависти.

Как обычно, вспыхнуло на экране лицо Эммануэля Гольдштейна, Врага народа. В публике зашикали. Рыжеватая женщина пискнула от ужаса, смешанного с отвращением. Гольдштейн — ренегат и перевертыш, в свое время (никто уже не помнил толком, когда именно) входивший в число лидеров Партии и считавшийся почти равней самому Старшему Брату. Впоследствии он переметнулся в лагерь контрреволюции, а после смертного приговора чудесным образом спасся и исчез. Программа Минуты ненависти меняется от раза к разу, но Гольдштейн всегда остается ее главным фигурантом — первопреступителем, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, все измены и акты вредительства, все ереси и уклоны прямо следуют из его учения. Где бы он ни находился, он все еще строит козни — может быть, где-то за океаном, под защитой своих иностранных спонсоров. Ходят и слухи, что он скрывается где-то в самой Океании, в подполье.

У Уинстона сдавило в груди. Он не мог даже смотреть на Гольдштейна, не испытывая болезненной гаммы эмоций. Это худое еврейское лицо с козлиной бородкой, окруженное нимбом пушистых седых волос, — непростое лицо, но на каком-то глубинном уровне отвратительное. Что-то придурковато-стариковское видится в этом длинном тонком носе, на самом кончике которого прилепились очки. Лицо Гольдштейна напоминало овечью морду, да и в голосе тоже слышалось бляенье. Как обычно, он ядовито критиковал партийную доктрину, нападал на нее, так сгущая краски и извращая логику, что и ребенок бы понял, в чем подвох, — но все же достаточно убедительно, чтобы вызвать тревогу: а что, если на других, менее рассудительных, это подействует? Он бранил Старшего Брата, поносил диктатуру Партии, требовал немедленного мира с Евразией, отстаивал свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, свободу мысли. Он истерично обличал предателей Революции, говорил торопливо и многосложно, словно пародируя обычный стиль партийных ораторов. Он даже вворачивал новоречные слова, больше новоречных слов, чем употребляет любой нормальный партиец. И все это время, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что скрывается за грязными спекуляциями Гольдштейна, за его спиной в телевиде маршировали бесконечные колонны евразийской армии — шеренга крепких мужчин с непроницаемыми азиатскими лицами выплывала на экран и исчезала, уступая место другой шеренге, точно такой же. Глухой ритмичный топот солдатских сапог служил фоном для бляения Гольдштейна.

Не прошло и тридцати секунд, а половина собравшихся уже не могла сдержать гневные выкрики. Самодовольная овечья морда на экране и пугающая мощь евразийской армии на заднем плане — невыносимое

сочетание. К тому же и вид Гольдштейна, и даже мысль о нем сами собой вызывают страх и гнев. Ненависть к нему крепче, чем к Евразии или Остзии, — ведь когда Океания воюет с одной из этих держав, с другой она обычно находится в мире. Но вот что странно: хотя все ненавидят и презирают Гольдштейна, хотя каждый день (по тысяче раз на дню!) с трибун, из телевида, в газетах, в книгах опровергаются, разносятся в пух и прах, подвергаются осмеянию его теории, раскрывается для всех и каждого их жалкая сущность — несмотря на все это, влияние его, похоже, не уменьшается. Всегда находятся новые простаки, которых он может оболванить. Ни дня не проходит, чтобы Думнадзор не разоблачал шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командует огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, преданных делу разрушения Государства. Братство — так, говорят, они себя называют. Перешептываются и об ужасной книге за авторством Гольдштейна, тайно распространяющемся сборнике всех ересей. Она никак не называется, и если о ней говорят, то просто как о *книге*. Но о таких вещах узнают только из туманных слухов. Ни Братство, ни *книгу* ни один рядовой партиец не стал бы обсуждать по своей воле.

Ко второй половине Минуты градус ненависти поднялся до неистовства. Зрители повскакивали с мест и орали во всю глотку, стараясь заглушить сводящее с ума бляение человека на экране.

Худенькая рыжеватая женщина раскраснелась и хватала воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Даже на грубом лице О'Брайена проступила краска. Он сидел на стуле очень прямо, его мощная грудь ходила ходуном, словно он противостоял натиску волны. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала выкрикивать: «Гад! Гад! Гад!» Она вдруг схватила тяжелый словарь новоречи

и запустила им в экран. Он угодил Гольдштейну в нос и отскочил. Но речь продолжалась неумолимо. В момент просветления Уинстон осознал, что кричит вместе со всеми и ожесточенно пинает перекладину своего стула. Самое страшное в Минуте ненависти — не то, что приходится играть роль, а то, что в нее невозможно не включиться. После тридцати секунд притворство уже ни к чему. Мерзостный экстаз, замешенный на страхе, жажде мести, желании убивать, пытать, крушить лица кувалдой, словно держит всех участников под электрическим напряжением, превращая их помимо воли в кривляющихся, орущих безумцев. Гнев, который они испытывают, абстрактен и ни на что не направлен. Его можно повернуть от одного объекта к другому, как пламя паяльной лампы. Иногда ненависть Уинстона нацеливалась не на Гольдштейна, а, наоборот, на Старшего Брата, Партию и Думнадзор, и тогда он всем сердцем сочувствовал одинокому, осмеянному еретика на экране, единственному поборнику истины в мире лжи. Но уже в следующее мгновение Уинстон сливался в единое целое с окружающими, и все, что говорили о Гольдштейне, казалось ему правдой. В такие моменты его тайная ненависть к Старшему Брату превращалась в обожание, и Старший Брат возвышался до непобедимого, бесстрашного защитника, стоящего, как скала, на пути азиатских орд, а Гольдштейн, несмотря на одиночество, беспомощность и угрозу, нависавшую над самим его существованием, казался коварным чародеем, способным одной лишь силой своего голоса подорвать основы цивилизации.

Иногда можно и сознательно переключить ненависть в ту или иную сторону. Внезапно, таким же рывком, каким скидывают голову с подушки, спасаясь от ночного кошмара, Уинстон сумел перенести ненависть с лица на экране на темноволосую девушку за спиной. Яркие, чудесные

галлюцинации пронесли у него в мозг. Забить ее до смерти резиновой дубинкой. Привязать голую к столбу и изрешетить стрелами, как святого Себастьяна. Взять ее силой и перерезать горло в момент оргазма. К тому же теперь он лучше, чем раньше, понимал, почему ее ненавидит. За молодость, красоту и бесполость, за то, что хочет ее, но никогда не получит: ведь вокруг ее талии, словно приглашавшей к объятиям, обвивался лишь возмутительный красный пояс, символ агрессивного целомудрия.

Ненависть достигла высшей точки. Голос Гольдштейна перешел в настоящее овечье бляение, а его лицо на мгновение стало овечьей мордой. Морда растаяла, уступив место огромной жуткой фигуре евразийского солдата с извергающим огонь автоматом. Он словно шел на зрителей и, казалось, вот-вот прорвет поверхность экрана, так что люди из первых рядов даже вжались в спинки стульев. Но в ту же секунду все облегченно выдохнули: фигуру врага сменил черноусый лик Старшего Брата, исполненный мощи и непостижимого спокойствия. Он был так огромен, что заполнил собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Старший Брат. То были всего несколько ободряющих слов — такие произносят среди шума битвы, они неразличимы сами по себе, но внушают уверенность уже самим фактом произнесения. Затем лицо Старшего Брата растворилось и вместо него возникли набранные жирными прописными буквами три лозунга Партии:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Казалось, однако, что лик Старшего Брата не исчезал с экрана еще несколько секунд, словно оставил такой

яркий след на сетчатке глаз, что не мог сразу померкнуть. Маленькая рыжеватая сотрудница рванулась вперед, чуть не опрокинув впереди стоящий стул. С трепетом нашептывая что-то вроде «Мой спаситель!», она протянула руки к экрану, а потом закрыла ими лицо. Казалось, она произносит молитву.

В это мгновение все зрители начали глухо, неспешно, ритмично скандировать: «Наш брат! Наш брат!» — снова и снова, очень медленно, выдерживая долгую паузу между «наш» и «брат». В низком рокоте голосов слышалось что-то неуловимо дикарское, будто ему сопутствовали топот босых ног и пульс тамтамов. Голоса не утихали с полминуты. Подхваченный ими рефрен часто звучал в особо эмоциональные моменты. Отчасти это своего рода гимн мудрости и величию Старшего Брата, но в еще большей степени — акт самогипноза, при котором сознание намеренно подавляется ритмичным звуком. У Уинстона похолодело внутри. Во время Минуты ненависти он не мог не разделить всеобщего безумия, но это первобытное скандирование — «Наш-брат-наш-брат» — всегда наполняло его ужасом. Конечно, он скандировал вместе с другими: иначе нельзя. Маскировать чувства, контролировать лицо давно стало инстинктом. Но в какой-то двухсекундный промежуток выражение глаз вполне могло выдать его. И как раз в этот момент случилось важное — а может, лишь почудилось.

На секунду он встретился взглядом с О'Брайеном. Тот поднялся с места, снял очки и как раз водружал их характерным жестом обратно на нос. Но их глаза встретились, и на это мгновение Уинстона посетила уверенность — да, именно уверенность! — что мысли О'Брайена сродни его собственным. Ошибки быть не могло — послание отправлено и получено, словно между ними открылся канал, по которому мысли перетекали от одного к другому через

глаза. «Я с тобой, — казалось, говорил ему О'Брайен. — Я знаю, что ты чувствуешь. Все знаю о твоём презрении, ненависти, отвращении. Но не тревожься, я на твоей стороне!» Тут озарение угасло. Лицо О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

Вот и все. Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие эпизоды никогда не имели продолжения. Они лишь поддерживали в нём веру — или надежду, — что он у Партии не единственный враг. Может быть, слухи о подполье заговорщиков все же правда? Вдруг и Братство существует! Ведь невозможно, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, быть до конца уверенным, что Братство — не просто миф. Иногда Уинстон верил в его существование, иногда нет. Вместо доказательств он мог полагаться только на случайные проблески, которые могли что-то значить... или не значить ничего: обрывки подслушанных разговоров, полустертые каракули на стенах общественных туалетов, а однажды, при встрече двух незнакомцев, — едва заметный жест, похожий на условный знак. Оставалось лишь гадать: может, все это ему только чудится. Он вернулся в свою ячейку, больше не взглянув на О'Брайена. Поддержать возникший между ними контакт ему и в голову не приходило. Это было бы невообразимо опасно — даже знай он как. В течение секунды или двух они с О'Брайеном обменялись двусмысленными взглядами — вот и все. Но даже и это — уже незабываемое событие в его вынужденно одиноком, замкнутом мире.

Уинстон прервал раздумья, сел прямее. Джин подступал к горлу отрыжкой.

Глаза Уинстона снова сфокусировались на странице. Оказалось, пока он размышлял, его рука машинально продолжала писать и уже не так судорожно и неуклюже, как раньше. Перо привольно скользило по гладкой

бумаге, выводя крупными, аккуратными прописными буквами:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

— и так полстраницы.

В нем шевельнулся рефлекторный ужас — хотя бояться уже нелепо, ведь эти конкретные слова ничуть не опаснее, чем изначальное решение завести дневник. Но на какое-то мгновение у него возник соблазн вырвать испорченные страницы и вообще отказаться от задуманного.

Однако Уинстон этого не сделал, потому что понимал: бесполезно. Напишет ли он «Долой Старшего Брата» или удержится — никакой разницы. Думнадзор все равно до него доберется. Он совершил — и все равно совершил бы, даже не коснувшись пером бумаги, — базовое преступление, из которого проистекали все остальные. Криводум — вот как оно называлось. Криводум невозможно скрывать вечно. Какое-то время, даже не один год, можно изворачиваться, но рано или поздно до тебя доберутся.

Ночью, арестовывают неизменно ночью. Рывком из сна, грубая рука трясет за плечо, яркий свет в глаза, кольцо суровых лиц вокруг постели. В подавляющем большинстве случаев — никакого суда, никаких оповещений об аресте. Люди просто исчезают и всегда — в ночь. Имена вычеркиваются из списков, все следы стираются, само существование человека сначала отрицается, а потом

забывается. Человека отменяют, обращают в ничто — «испаряют», так это принято называть.

На мгновение Уинстон впал в некое подобие истерики. Начал писать торопливо, неряшливо:

*меня расстреляют ну и наплевать пусть
пулю в затылок наплевать головой старшего
брата они всегда стреляют в затылок
наплевать головой старшего брата...*

Уинстон откинулся на стуле. Ему стало немного стыдно за себя, и он отложил ручку. А в следующую секунду содрогнулся всем телом: в дверь постучали.

Уже! Он сидел тихо, как мышь, в напрасной надежде, что кто бы это ни был уйдет, не дождавшись ответа. Но нет, стук повторился. Тянуть время — хуже не придумаешь. Сердце Уинстона стучало, как барабан, но лицо по давней привычке ничего не выражало. Он поднялся и, тяжело ступая, направился к двери.

2.

Лишь взявшись за дверную ручку, Уинстон заметил, что оставил на столе открытый дневник, весь исписанный словами «Долой Старшего Брата», да так крупно, что их почти можно прочесть с другого конца комнаты. Невообразимая глупость. Он знал, однако, что даже в панике не захотел испачкать кремовую бумагу, захлопнув тетрадь, пока чернила еще не высохли.

Он втянул в себя воздух и открыл дверь. Тут же его накрыла теплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, погасшая женщина, морщинистая, с редкими волосами.

— Товарищ, — заныла она тоскливо, — не зря мне послышалось, что вы вернулись. Вы не зайдете к нам взглянуть на раковину в кухне? Засорилась она у нас, ну и...

Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Слово «миссис» партия не очень-то одобряет, всех надо называть «товарищ», но к некоторым женщинам произвольно обращаешься так и никак иначе.) В свои примерно тридцать она выглядела намного старше. Казалось, в ее морщинах скопилась пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Ремонт подручными средствами — почти ежедневная морока. Апартаменты «Победа», где-то 1930 года постройки, постепенно разваливаются. С потолков и стен постоянно сыплется штукатурка, при каждом серьезном морозе лопаются трубы, крыша течет всякий раз, как выпадает снег, отопление работает в половину мощности, и то когда не отключено из экономии. На любой ремонт не своими силами требуется разрешение далекого начальства: так и оконное стекло можно вставлять два года.

— Я только потому прошу, что Тома сейчас нет, — вяло оправдывалась миссис Парсонс.

Квартира Парсонсов — побольше, чем у Уинстона, и тоже запущенная, но по-другому. Все здесь выглядит побитым, потрепанным, словно в квартире только что побывал большой разъяренный зверь. Повсюду валяется спортивный инвентарь — хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, — а стол завален грязной посудой и растрепанными тетрадками. На стенах — алые знамена Молодежного союза и Лазутчиков, полноразмерный плакат со Старшим Братом. Пахнет, как и во всем здании, вареной капустой, но сквозь эту привычную вонь пробивается более резкий запах пота, и отчего-то сразу ясно, что источник этого запаха сейчас не дома. В другой комнате кто-то пытается с помощью расчески и клочка туалетной бумаги подыгрывать военному оркестру, все еще звучащему из телевида.

— Дети, — сказала миссис Парсонс, с некоторой опаской взглянув на дверь. — Они сегодня не выходили, вот и...

Она все время обрывала предложения на полуслове.

Раковина оказалась почти доверху наполнена мутной зеленоватой водой, от которой особенно сильно разило капустой. Уинстон опустился на колени и осмотрел сифон. Он терпеть не мог работать руками, да и нагибаться тоже — от этого его вечно разбирал кашель. Миссис Парсонс беспомощно глазела на него.

— Конечно, если бы Том был дома, он бы тут же все починил, — сказала она. — Он такое любит. Том у меня рукастый.

Парсонс, как и Уинстон, работал в Глависте: полный, но подвижный, глупый до оцепенения — кретин-энтузиаст, один из тех со всем согласных, беззаветных трудяг, на которых даже больше, чем на Думнадзоре, держалась Партия. В тридцать пять лет его помимо воли выставили из Молодежного союза, а прежде чем вступить в него, он умудрился год сверх положенного

возраста проходить в Лазутчиках. В главке он занимал какую-то невысокую должность, не требовавшую мозгов, но при этом доказал свою незаменимость в спорткоме и других комитетах, отвечавших за походы, стихийные демонстрации, кампании экономии и прочую общественную деятельность. Между затылками трубкой он мог поведать вам со скромной гордостью, что каждый вечер за последние четыре года посещал культурно-спортивный центр (КСЦ) и ни разу не пропустил. Сшибающий с ног запах пота, невольное свидетельство его активной жизненной позиции, шлейфом тянулся за ним повсюду и не выветривался даже в его отсутствие.

— Разводной ключ есть? — спросил Уинстон, мучаясь с гайкой на сифоне.

— Разводной ключ, — проямлила миссис Парсонс, сразу превращаясь в амебу. — Даже не знаю. Может быть, дети...

Послышался топот и трубный звук расчески — это дети ворвались в гостиную. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил зеленоватую жижу и с отвращением извлек из трубы комок волос. Отмыв руки, как мог, холодной водой, он вышел в комнату.

— Руки вверх! — приветствовал его дикий вопль.

Миловидный крепыш лет девяти выскочил из-за стола и грозил Уинстону игрушечным пистолетом, а сестренка, двумя годами младше, повторяла его движения со щепочкой в руке. На обоих — синие шорты, серые рубашки и красные галстуки: форма Лазутчиков. Уинстон поднял руки над головой, но с неприятным чувством, что все это не вполне игра, — с таким ожесточением напал на него мальчик.

— Ты предатель! — закричал мальчуган. — Криво-думец! Евразийский шпион! Я тебя расстреляю, испарю, в соляные шахты сошлю!

Внезапно оба заплясали вокруг него, вопя «Предатель!» и «Криводумец!»: девочка подражала каждому движению брата. В этом чувствовалось что-то пугающее, как в возне тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. Во взгляде мальчика читались расчетливая жестокость, явственное желание ударить или пнуть Уинстона и сознание уже почти достаточной для этого силы. Хорошо, что пистолет не настоящий, подумал Уинстон.

Миссис Парсонс беспокойно переводила глаза с Уинстона на детей и обратно. В ярко освещенной комнате он с любопытством заметил, что в ее морщинах и правда скопилась пыль.

— Уж так расшумелись, — сказала она. — Расстроились, что не попадут на казнь. Мне их вести некогда, а Том слишком поздно с работы вернется.

— Почему нам нельзя на казнь? — крикнул мальчик своим звучным голосом.

— Хочу на казнь! Хочу на казнь! — скандировала девочка, все еще прыгая по комнате.

Вечером в парке собирались вешать евразийских пленных — за военные преступления. На это популярное зрелище люди стекаются примерно раз в месяц. Дети всегда на него просятся. Уинстон попрощался с миссис Парсонс и направился к выходу, но не успел он пройти и шести шагов по коридору, как ощутил невыносимую боль в шее. Ее будто проткнули раскаленной проволокой. Развернувшись, он успел увидеть, как миссис Парсонс затаскивает сына в квартиру, а он прячет в карман рогатку.

— Гольдштейн! — заорал мальчуган, перед тем как закрылась дверь. Но Уинстону запало в душу главным образом выражение беспомощного ужаса на сероватом лице женщины.

Дома он проскользнул мимо телеvida и снова уселся за стол. Музыка в телевиде прекратилась. Вместо нее

четкий командный голос стал с каким-то жестоким наслаждением описывать вооружение новой плавучей крепости, которую только что поставили на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, думал он, несчастная тетка наверняка живет в постоянном страхе. Еще год-два, и они будут наблюдать за нею день и ночь, высматривая признаки неправоты. Почти все дети теперь — просто ужас. Хуже всего, что организации вроде Лазутчиков планомерно превращают их в неуправляемых маленьких дикарей, но это не воспитывает в них никакой склонности к бунту против партийной дисциплины. Наоборот, они влюблены в Партию и все, что с ней связано: песни, шествия, знамена, походы, строевые упражнения с деревянными ружьями, скандирование лозунгов, поклонение Старшему Брату. Все это для них чудесная игра. Их ожесточение направлено вовне — на врагов Государства, на иностранцев, предателей, вредителей, криводумцев. Бояться своих детей — едва ли не обычное дело для тех, кому больше тридцати. И это не зря: не проходит и недели без коротенькой заметки в «Таймс» о малолетнем согладате — «маленьком герое», как их обычно называют, — подслушавшем какую-нибудь нескромную реплику и сдавшем родителей Думнадзору.

Боль от рогаточной пульки утихла. Уинстон вертел в руках ручку, прикидывая, не записать ли еще чего-нибудь в дневнике. На него вдруг снова нахлынули мысли об О'Брайене.

Как-то давно — лет семь назад, не меньше — Уинстону приснилось, как он идет по совершенно темной комнате и вдруг кто-то сидящий в стороне произносит: «Встретимся там, где нет тьмы». Произносит очень тихо, почти буднично, как утверждение, а не как приказ. Уинстон продолжал идти, не останавливаясь. Любопытно,

что тогда, во сне, слова не произвели на него большого впечатления. Только позже они стали постепенно наполняться для него смыслом. Сейчас он уже не помнил, когда — до или после сна — впервые увидел О'Брайена, не помнил, когда опознал голос из сна как принадлежащий О'Брайену. Однако опознал. Это О'Брайен говорил с ним из темноты.

Уинстон никак не мог решить, друг ему О'Брайен или враг, — даже несмотря на искру, проскочившую между ними утром. Но это и не имело значения. Между ними возникло взаимопонимание, более важное, чем приязнь или общность взглядов. «Встретимся там, где нет тьмы» — так он сказал. Уинстон не знал, что значит это предсказание, — но оно когда-нибудь, как-нибудь да сбудется, это точно.

Голос из телевида вдруг умолк. Звук трубы, звонкий и чарующий, разнесся в застоявшемся воздухе. Голос продолжал надтреснуто: «Внимание! Прошу внимания! Только что поступило срочное сообщение с малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали славную победу. Я уполномочен заявить, что текущие события могут в обозримом будущем привести к окончанию войны. Итак, передаем срочное сообщение...»

Сейчас будут дурные вести, подумал Уинстон. И правда, за полным кровавых подробностей рассказом об уничтожении группировки евразийских войск и огромными цифрами убитых и сдавшихся в плен последовало объявление, что со следующей недели по карточкам будут выдавать не тридцать граммов шоколада, а двадцать.

Уинстон снова рыгнул. Джин уже почти выветрился, оставив лишь ощущение подавленности. Телевид, то ли в порядке празднования победы, то ли чтобы перебить память об утраченном шоколаде, разразился гимном — «Океания, все для тебя». Под него полагалось стоять по стойке смирно. Однако Уинстон сейчас невидим.

Гимн сменился более легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телевизору. День по-прежнему стоял холодный и ясный. Где-то далеко с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Сейчас на Лондон падает по двадцать–тридцать таких в неделю.

На улице ветер трепал порванный плакат, и слово «Англизм» то появлялось, то исчезало. Англизм. Священные принципы англизма. Новоречь, двоедум, изменяемость прошлого. Уинстону казалось, он бродит по морскому дну в гуще водорослей, провалившись в какой-то чудовищный мир, в котором и сам он чудовище. Он совсем один. Прошлое умерло, будущее невообразимо. Кто из ныне живущих — на его стороне, есть ли хоть одно такое человеческое существо? Как знать. И как знать, сколько еще продержится владычество Партии — может быть, вечно? Ответом ему стали три лозунга на стене Главного комитета истины:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Уинстон вынул из кармана монету в двадцать пять центов. И на ней мелкими, но четкими буквами выбиты те же три лозунга, а на другой стороне лик Старшего Брата. Даже с монеты его глаза следят за тобой. Эти глаза везде — на деньгах, марках, обложках книг, транспарантах, плакатах, сигаретных пачках. Они наблюдают, а голос обволакивает. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванне или в постели — не скрыться. Нет ничего своего, лишь несколько кубических сантиметров внутри черепной коробки.

Солнце переместилось на небосклоне, и мириады окон в Глависте, лишённые отблесков света, казались

бойницами крепости. Сердце Уинстона дрогнуло при виде гигантской пирамиды. Она слишком огромна, штурмом такую не взять. И тысяча ракет не сможет разворотить эту глыбу. Уинстон снова задумался, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого — для какой-то воображаемой эпохи. А его ждет не просто смерть — полное уничтожение. Дневник станет пеплом, а сам он — облачком пара. Только Думнадзор прочтет написанное им, прежде чем вымарать из жизни и из памяти. Как можно взывать к будущему, если все твои следы, даже слово, анонимно нацарапанное на клочке бумаги, будут навсегда стерты?

В телевизиде пробило четырнадцать. Через десять минут пора выходить: на работе надо быть к четырнадцати тридцати.

Удивительно, но бой часов словно вернул ему храбрость. Да, он одинокий призрак, проповедующий истину, которую никто не услышит. Но пока она звучит из его уст, ее преемственность таинственным образом сохраняется. Чтобы передать наследие человечества следующим поколениям, необязательно, чтобы тебя слышали, — достаточно не терять рассудок. Он вернулся к столу, окунул перо в чернильницу и записал:

Прошлое или будущее, эра свободной мысли, время, когда ноги разные, а оди-ночества нет, время, когда существует правда, а что сделано, то сделано, — из эпохи единообразия, эпохи разобщения, эпохи Старшего Брата, эпохи двоедумя — привет тебе.

Я уже мертв, подумалось Уинстону. Кажется, только теперь, только обретая способность формулировать мысли,

он сделал решающий шаг. Последствия — неотъемлемая часть любого поступка. Он записал:

*Кривоизум не ведет к смерти. Кривоизум
и есть смерть.*

Теперь, когда он признал себя мертвецом, для него стало важно как можно дольше оставаться в живых. Два пальца на правой руке выпачканы чернилами: вот такая мелочь и может выдать. Вдруг какой-нибудь ревностный соглядатай в главке (наверняка женщина — например, та, рыжеватая, или вот темноволосая девушка из сектора художественной литературы) задумается, зачем он писал в обеденный перерыв, почему старомодной ручкой, что именно писал, — и стукнет кому следует. Уинстон зашел в ванную и тщательно соскреб чернила шершавым темно-коричневым мылом, которое драло кожу, как наждак, и потому прекрасно для этого подходило.

Дневник Уинстон убрал в ящик стола. Прятать его бессмысленно, но надо хотя бы знать, стало ли кому-то известно о существовании тетради. Положить волос на корешок — слишком очевидно. Он подобрал на кончик пальца крупную белесоватую пылинку, которую смог бы потом узнать по форме, и посадил ее на угол тетради: будут двигать дневник — непременно ее стряхнут.

3.

Уинстону снилась мать. Ему было, наверное, лет десять-одиннадцать, когда она исчезла. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавными движениями и роскошными светлыми волосами. Отца он помнил хуже. Смуглый, худой, отец всегда носил опрятный темный костюм и очки. Уинстону помнились очень тонкие подошвы отцовских туфель. Родители, очевидно, попали под одну из первых больших чисток пятидесятых годов.

Мать сидела где-то далеко внизу, держа на руках сестренку Уинстона. Сестру он вовсе не помнил — так, слабенький тихий младенец с большими внимательными глазами. Обе смотрели на него снизу вверх, откуда-то из-под земли — со дна колодца или из очень глубокой могилы, — и опускались все ниже. Нет, они в каюте тонущего корабля, глядят вверх сквозь темнеющую толщу воды. В каюте еще есть воздух, они все еще видят Уинстона, а он их, но они погружаются глубже и глубже в зеленые воды, которые скоро скроют их навсегда. Там, где он стоит, есть воздух и свет, а их засасывает в смертельную пучину. Они там, внизу, именно потому, что он здесь, наверху, — он это знает и такое же знание читает в их глазах. Но лица их не выражают упрека, они не держат на него зла, знают лишь, что должны умереть, чтобы он остался в живых, так уж устроено, и ничего не изменишь.

Он не помнил, что именно случилось, но знал, что в его сне мать и сестра пожертвовали жизнью ради него. Сон был из тех, когда присутствует характерная атмосфера сновидения, но разум как бы продолжает бодрствовать, ему открываются факты и идеи, которые и после пробуждения кажутся столь же новыми и ценными. Уинстон вдруг осознал, что смерть матери почти тридцать лет назад была трагедией, горем — в том смысле, какой

теперь уже непонятен. Трагедия, чувствовал он, это что-то из стародавних времен, когда еще существовали частная жизнь, любовь, дружба, когда в семьях поддерживали друг друга без лишних вопросов. Память о матери разрывала ему сердце: ведь она умерла, любя его, а он был еще слишком мал и эгоистичен, чтобы отвечать на ее любовь. Она пожертвовала собой — как именно, он не помнил — ради нерушимой верности чему-то глубоко личному. Теперь, думал Уинстон, так не бывает. Теперь время для страха, ненависти и боли, но не для благородных чувств, не для глубокой, всеобъемлющей скорби. А именно такую видел он в широко открытых глазах тонущих матери и сестры, которые глядели на него сквозь зеленую воду с огромной глубины.

И вдруг под ногами упругая земля. Летний вечер, косые лучи солнца золотят землю. Окружающий пейзаж так часто является ему во сне, что Уинстон не уверен, видел ли его хоть раз наяву. Проснувшись, он всегда думает о нем как о Золотом поле. Это старое, попорченное кроликами пастбище с извилистой тропинкой и кротовыми холмиками. На дальнем краю поля неровная живая изгородь, ветерок едва колышет ветви вязов, еле заметно перебирает листья в кронах, густых, как женские волосы. Где-то недалеко, хоть и вне поля зрения, прозрачная, небыстрая речушка, в ее заводях под ивами плещутся плотвички.

Девушка с темными волосами идет навстречу ему по полю. Срывает с себя одежду — кажется, что одним движением — и пренебрежительно отбрасывает в сторону. Ее тело белое и гладкое, но оно не пробуждает желания, Уинстону не хочется его разглядывать. Он лишь преисполнен восхищения тем, как она отбросила одежду. Небрежной грацией этого жеста она словно уничтожила целую культуру, целую систему взглядов, будто и Стар-

шего Брата, и Партию, и Думнадзор можно смести, уничтожить одним восхитительным движением руки. Этот жест — тоже из стародавних времен. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Телевид издавал оглушительный свист: тридцать секунд на одной ноте. Семь часов пятнадцать минут, время подъема для офисных работников. Уинстон рывком поднялся с кровати — голый, ведь члену Внешней партии полагалось только три тысячи купонов на одежду в год, а пижама стоила шестьсот, — и стащил со стула застиранную майку и трусы. Через три минуты Физкультурная встряска. Тут его скрутил мучительный приступ кашля, как обычно вскоре после пробуждения. Кашель выкачал из легких весь воздух, так что пришлось лечь на спину, чтобы в несколько судорожных глотков восстановить дыхание. От усилия вздулись вены, язва зачесалась.

— Группа, кому за тридцать! — затыкал пронзительный женский голос. — Группа, кому за тридцать! По местам, пожалуйста. Кому за тридцать!

Уинстон вскочил, встал по стойке «смирно» перед телевизором, на котором уже возникла тощая, но мускулистая фигура молодящейся женщины в тунике и спортивных туфлях.

— Руки сгибаем и выпрямляем, — задала она ритм. — Держим темп, раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Поживее, товарищи, раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Болезненный приступ кашля не полностью выбил из сознания Уинстона память о сне, а ритмичные упражнения зарядки помогли ее восстановить. Механически размахивая руками с видом мрачного удовольствия, подобающим при Физкультурной встряске, он пытался проникнуть мыслью в туманную пору раннего детства. Это оказалось невероятно трудно. Все, что случилось до конца

пятидесятых, стерлось. Когда нельзя опереться ни на какие сторонние свидетельства, даже очертания собственной жизни утрачивают четкость. Вспоминаются значимые события, которых, вероятно, и не было, всплывают подробности, но не общая атмосфера, остаются большие лакуны, которые нечем заполнить. Все тогда было иначе. Даже названия стран и их очертания на карте. Авиабаза номер один, например, тогда называлась по-другому — Англией или Британией, хотя Уинстон почти не сомневался, что Лондон всегда называли Лондоном.

Времена, когда страна не воевала, Уинстон ясно припомнить не мог, но, очевидно, на его детство пришелся довольно долгий мирный промежуток, потому что одно из его первых воспоминаний — о воздушном налете, кажется, заставшем всех врасплох. Возможно, именно тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Он не помнил самого налета: только как отец сжимал его руку, а они бежали по гудевшим под ногами ступенькам винтовой лестницы вниз, куда-то глубоко-глубоко под землю. Под конец Уинстон захныкал от усталости, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать, со своей обычной мечтательной неторопливостью, сильно отстала. Она несла сестренку — или просто сверток одеял: возможно, сестра тогда еще не родилась. Наконец они вышли в шумный, заполненный людьми зал, в котором он узнал станцию метро. Люди были повсюду — сидели на каменном полу, теснились на металлических двухъярусных койках. Уинстон и его родители нашли местечко на полу. Рядом на койке сидели старик со старухой. На старике — приличный темный костюм, из-под сдвинутой на затылок черной матерчатой кепки выбиваются совсем белые волосы. Лицо его побагровело, голубые глаза налились слезами. От него несет джином. Кажется, он даже потеет алкоголем, а слезы, льющиеся у него из глаз, — неразбавленный

джин. Но старик не просто нетрезв, а разбит каким-то неподдельным, невыносимым горем. Детским своим разумением Уинстон понял: с ним сделали что-то, чего он не может ни простить, ни исправить. Уинстону даже казалось, будто он знает, что именно. Погиб тот, кого старик очень любил, — может быть, внучка. Каждые несколько минут старик повторял: «Не надо было им доверять. Я же говорил, ведь говорил же, а, мать? Вот так бывает, если им доверишься. Всегда говорил. Не надо было доверять этим мерзавцам». Каким именно мерзавцам не надо было доверять, Уинстон уже не мог вспомнить.

Примерно с тех пор война шла буквально непрерывно, хотя, строго говоря, не всегда одна и та же война. В течение нескольких месяцев детства на улицах самого Лондона шли хаотичные уличные бои, и ему ярко запомнились некоторые эпизоды. Но проследить всю историю тех лет, вспомнить, кто с кем и когда воевал, у него бы не получилось — не осталось ни письменных, ни устных рассказов ни о каких военных союзах, кроме ныне существующих. Например, сейчас, в 1984-м (если и в самом деле сейчас 1984-й), Океания воюет с Евразией, заключив союз с Остзией. Ни публично, ни приватно никто никогда не признавал, что эти три державы когда-либо находились в каких-то иных отношениях. А ведь Уинстон точно знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Остзией, заключив союз с Евразией. Но знал он это лишь втайне — лишь благодаря своей не полностью подконтрольной памяти. Официально же союзники никогда не менялись. Океания воюет с Евразией, следовательно, она всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда олицетворял абсолютное зло, из чего следовало, что соглашение с ним невозможно ни в прошлом, ни в будущем.

И вот ведь что страшно, размышлял он в десятитысячный раз, мучаясь от боли в лопатках (сейчас требовалось,

уперев руки в поясницу, совершать вращения корпусом — якобы полезное упражнение для мышц спины). Страшно, что все это, может быть, теперь уже правда, — все, что нам врут. Если Партия может запустить руку в прошлое и заявить, что того или иного события *никогда не было*, не страшнее ли это любых пыток и даже смерти?

Партия заявляет, что Океания никогда не вступала в союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания находилась в союзе с Евразией не больше четырех лет назад. Но где хранится эта информация? Лишь в его сознании, которое в любом случае скоро сотрут. И если все остальные принимают ложь, навязанную Партией, и все источники рассказывают одно и то же, ложь вписывается в историю и становится правдой. «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, — гласит партийный слоган. — Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».

И тем не менее прошлое, пускай по природе своей изменяемое, на самом деле никогда не меняется. То, что правда сейчас, правда от века и до века. Все просто. Требуется лишь бесконечная серия побед над собственной памятью. «Управление реальностью» — так это называется, а на новоречи — «двоедум».

— Вольно! — гавкнула инструкторша чуть более дружелюбно.

Уинстон уронил руки и медленно набрал в легкие воздуха. Мысль его ускользнула в лабиринты двоедума. Знать и не знать, не сомневаться в своей правдивости, пересказывая тщательно состряпанное вранье, иметь одновременно два противоположных мнения, понимать, что они противоречат друг другу, и не оспаривать ни одно из них, использовать логику против логики, отрицать мораль, одновременно оставляя за собой право на моральные оценки, верить, что демократия невоз-

можно и что Партия — защитник демократии, забывать то, что необходимо забыть, воскрешать в памяти, как только понадобится, а потом тут же забывать опять — но, главное, применять этот процесс к самому процессу. Вот где самая тонкость: сознательно отключать сознание — а потом стирать из него и только что совершенный акт самогипноза. Чтобы понять слово «двоедум», нужно использовать двоедум.

Инструкторша снова скомандовала «смирно».

— А теперь посмотрим, кто из вас может достать до пальцев ног! — сказала она бодро. — Ну-ка, товарищи, от бедра — раз-два, раз-два!

Уинстон ненавидел это упражнение, пронзавшее болью ноги от пяток до ягодиц и часто приводившее к новому приступу кашля. Раздумья его сделались совсем безрадостными. Прошрое, думал он, не просто изменили, его уничтожили. Как установить даже самый очевидный факт, если он не зафиксирован нигде, кроме твоей собственной памяти? Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал о Старшем Брате. Кажется, в шестидесятые, а может, и нет. В книгах по истории Партии, естественно, Старший Брат с самых первых дней фигурировал как вождь и защитник Революции. Его деяния постепенно отодвигались назад во времени, пока не распространились и на легендарную эпоху тридцатых–сороковых, когда капиталисты в своих диковинных цилиндрических шляпах еще раскатывали по улицам Лондона в больших блестящих автомобилях или конных экипажах со стеклами в дверцах. Неясно, какие из легенд правдивы, а какие выдуманы. Уинстон даже не помнил даты, когда возникла сама Партия. Кажется, и слова «англизм» он не слышал до 1960 года, но, возможно, до этого оно имело хождение в староречной форме — «английский социализм». Все растворилось в тумане. Иногда, конечно, можно и рас-

познать явное вранье. Например, в учебниках истории Партии пишут неправду, что именно Партия изобрела самолеты. Он помнил самолеты с раннего детства. Но ведь ничего не докажешь. Доказательств просто не существует. Лишь однажды в жизни он держал в руках неоспоримое документальное свидетельство исторической фальсификации. И в тот раз...

Из телевида донесся сварливый голос:

— Смит! Номер шесть тысяч семьдесят девять, Смит У! Да, вы! Ниже наклон! Вы можете. Просто не стараетесь. Ниже! Вот так, товарищ. Теперь вольно — это всех касается — и посмотрите на меня.

Уинстона прошиб холодный пот. Лицо его оставалось непроницаемым. Никогда не выказывать недовольство! Никогда не выказывать обиду! Малейшее движение глаз может выдать. Под его внимательным взглядом инструкторша подняла руки над головой и — не то чтобы грациозно, скорее на редкость аккуратно и четко — наклонившись, ухватила себя за пальцы ног.

— Вот так, товарищи! Вот как надо выполнять это упражнение. Смотрите еще. Мне тридцать девять, у меня четверо детей. Поглядите! — Она снова наклонилась. — Видите, я, в отличие от вас, не сгибаю колени. Вы тоже так сможете, если захотите, — прибавила она, выпрямляясь. — Каждый, кому нет сорока пяти, способен дотянуться до пальцев ног. Не каждому выпадает честь защищать родину на передовой, но хотя бы держать себя в форме может каждый. Помните о наших ребятах на малабарском фронте! О моряках на плавучих крепостях! Только представьте, каково им приходится! А теперь попробуйте еще раз. Да, так лучше, товарищ, намного лучше.

И она ободряюще кивнула Уинстону, когда он сумел с размаху коснуться пальцев, не сгибая ног, — впервые за несколько лет.

4.

С глубоким произвольным вздохом, от которого в начале рабочего дня Уинстона не могла удержать даже близость телевида, он притянул к себе речепис, сдул пыль с трубки и надел очки. Затем развернул и скрепил вместе четыре рулончика бумаги, которые выплюнула ему на стол трубка пневмопочты.

В стенах его рабочей ячейки имелись три отверстия. Справа от речеписа — тонкая пневмотруба для записок, слева потолще — для газет, а в боковой стене — широкая щель, прикрытая решеткой. Сюда следует выбрасывать бумажный мусор. Таких щелей в здании тысячи или даже десятки тысяч — не только во всех кабинетах, но и в стенах всех коридоров через каждые несколько шагов. Их почему-то прозвали «провалы памяти». Когда какой-нибудь документ подлежит уничтожению или просто на полу валяется бумажка, уже рефлекс — приподнять крышку ближайшего провала памяти и кинуть мусор туда. Тут же его подхватывает теплое воздушное течение и несет к огромным печам, спрятанным где-то в закоулках здания.

Уинстон пробежал четыре записки, которые только что развернул. В каждой — не больше двух строчек на полном сокращений жаргоне, на котором в главке вели внутреннюю переписку. Это не совсем новоречь, но многие слова новоречные. В записках говорилось:

таймс 17.03.84 речь сб искаж африка исправить

таймс 19.12.83 прогнозы зл 4 кв 83 опечатки сверить текущий номер

таймс 14.02.84 главбог искаж цитата шоколад исправить

таймс 03.12.83 сб указ дня плюсплюснеотлично упомин неперсон переписать полно предвар наверх

Не без некоторого предвкушения Уинстон отложил четвертую записку в сторону. Это сложное, ответственное поручение лучше выполнить последним. Остальные три — рутина, хотя второе наверняка потребует нудной возни с цифрами.

Уинстон выбрал на телевиде «архив номеров» и заказал нужные номера «Таймс». Всего через несколько минут они выскользнули из пневмотрубы. Записки, которые он получил, касались статей или заметок, которые по той или иной причине требовалось изменить, или, как это называлось официально, исправить. Например, из статьи в номере «Таймс» от семнадцатого марта следовало, что Старший Брат предсказал в своей речи тишину на южноиндийском фронте и наступление евразийцев в Северной Африке. На самом же деле Верховное командование Евразии решило наступать в Южной Индии, а Северную Африку оставило в покое. Так что требовалось переписать абзац в речи Старшего Брата, чтобы его предсказание совпало с реальными событиями. Или, скажем, девятнадцатого марта «Таймс» опубликовала официальный прогноз производства различных видов потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал Девятой трехлетки. А в сегодняшнем номере вышел отчет о фактическом выпуске, из которого следовало, что прогноз в корне неверен по всем пунктам. Уинстону поручили исправить исходные цифры, чтобы они согласовались с реальными. Что касается третьей записки, она указывала на небольшую ошибку, которую можно исправить за пару минут. Совсем недавно, в феврале, Главный комитет богатства пообещал (официально — «взял на себя твердое обязательство»), что в 1984 году не будет уменьшаться норма выдачи шоколада. Но, как Уинстон уже знал, на самом деле норма с конца недели снизится с тридцати граммов

до двадцати. Требовалось всего лишь заменить прежнее обещание предупреждением, что где-нибудь в апреле норму потребуется уменьшить.

Как только Уинстон завершал работу по каждой из записок, он прикреплял свои речеписные поправки к соответствующему номеру «Таймс» и заталкивал газету в пневмотрубу. А затем почти неосознанным движением сминал записку и все свои промежуточные записи — и бросал в провал памяти, предавая огню.

Что происходит в невидимых лабиринтах, подключенных к пневмотрубе, он подробно не знал, а имел только общее представление. После сбора и систематизации всех необходимых поправок к конкретному номеру «Таймс» его перепечатывают и помещают исправленный экземпляр в хранилище вместо уничтоженного оригинала. Такой непрерывной трансформации подвергаются не только газеты, но и другие периодические издания, книги, брошюры, листовки, плакаты, фильмы, звукозаписи, карикатуры, фотографии — любая литература или хроника, которая может иметь хоть какое-то политическое или идеологическое значение. День за днем и чуть ли не минута за минутой прошлое приводится в соответствие с настоящим. В результате точность любых прогнозов Партии обретает документальное подтверждение. Ни одна новостная заметка, ни одно ранее выраженное мнение, противоречащее требованиям момента, не должно сохраниться в архиве. История — пергамент, надписи на котором по мере необходимости стирают и переписывают. А когда дело сделано, фальсификацию уже не докажешь. Самая большая команда сотрудников архивного сектора, гораздо больше той, в которую входит Уинстон, состоит из специалистов по розыску и сбору всех экземпляров книг, газет и прочих документов, замененных новыми версиями и подлежащих уничтожению. Номер

«Таймс», который переписывали, возможно, с десятков раз из-за изменений политической ситуации или ошибочных пророчеств Старшего Брата, хранится в архиве под исходной датой, и ни один выживший экземпляр ему не противоречит. Книги тоже изымают и переписывают опять и опять, а потом выпускают заново без всяких пометок о сделанных изменениях. Даже инструкции в письменном виде, которые Уинстон всякий раз уничтожает, выполнив, никогда не требуют, даже не намекают, что он должен совершить подлог: в них говорится лишь об опечатках, ошибках и неверных цитатах, которые требуют исправления точности ради.

И в самом деле, думал он, подменяя цифры Главбога, никакой это не подлог. Просто замена одной бессмыслицы на другую. Большая часть материала, проходившего через его руки, имела даже меньше общего с реальным миром, чем прямая ложь. Статистика — чистая фантазия и в первоначальной версии, и в исправленной. Довольно часто от Уинстона ожидают, что цифры он попросту возьмет с потолка. Например, Главбог прогнозировал выпуск ста сорока пяти миллионов пар ботинок за квартал. В отчете о фактическом производстве сообщалось о шестидесяти двух миллионах. Однако, переписывая прогноз, Уинстон уменьшал цифру до пятидесяти семи миллионов, чтобы создать возможность, как обычно, отрапортовать о перевыполнении плана. В любом случае шестьдесят два миллиона не ближе к истине, чем пятьдесят семь или сто сорок пять. Вполне вероятно, что ботинки не выпускались вовсе. Еще вероятнее — никто не знает, да и знать не хочет, сколько их произвели. Известно лишь, что каждый квартал на бумаге выпускают несметное количество ботинок, а пол-Океании ходит босиком. И так со всеми зафиксированными где бы то ни было фактами, важными и не очень. Все они стираются до

призрачного состояния, пока не исчезает уверенность даже в том, какой на дворе день или год.

Уинстон бросил взгляд в другой конец рабочего зала. В ячейке напротив невысокий, плохо выбритый человек по фамилии Тиллотсон методично, без лишних движений выполнял свою работу, разложив на коленях газету и приблизив губы к трубке речеписа. Казалось, он хочет, чтобы его слова остались строго между ним и телевидом. Он поднял глаза, и его очки неприязненно блеснули в сторону Уинстона.

Уинстон едва знал Тиллотсона и понятия не имел, что за работа ему поручена. В архивном секторе обычно не обсуждали между собой задания. В длинном зале без единого окна ячейки размещались в два ряда. Никогда не стихали здесь шорох бумаги и гул голосов, бормочущих в речеписы. С десятков сотрудников Уинстон даже не знал по имени, хотя ежедневно видел, как они снуют туда-сюда по коридорам или размахивают руками во время Минуты ненависти. Он знал, что та рыжеватая женщина из соседней ячейки день за днем выискивает в прессе имена испаренных, то есть объявленных никогда не существовавшими. Более подходящего человека для этой работы, пожалуй, и не найти: пару лет назад ее мужа тоже испарили. В нескольких ячейках от нее мягкотелый, безвольный, мечтательный тип по фамилии Эмплфорт, с очень волосатыми ушами и неожиданным талантом к рифмоплетству, занимается изготовлением искаженных версий — их называют «окончательными текстами» — стихотворений, признанных идеологически неприемлемыми, но так или иначе сохранившихся в антологиях. А ведь этот зал с пятьюдесятью сотрудниками — всего лишь один подсектор, одно-единственное подразделение в разветвленной структуре архивного сектора. Рядом, этажом выше, этажом ниже целый рой сотрудников

выполняет невообразимое множество задач. В огромных типографиях трудятся корректоры и печатники, в богато оснащенных студиях фальсифицируются фотографии. В подсекторе телепрограмм делают свое дело инженеры, продюсеры и команды актеров, отобранных за умение подражать голосам. Армии библиографов составляют списки книг и периодических изданий, подлежащих изъятию. В гигантских хранилищах складываются подправленные документы, в тайных печах уничтожаются исходные экземпляры. А где-то, непонятно где, находится мозговой центр, который координирует всю эту деятельность и принимает политические решения: этот кусочек прошлого сохранить, этот фальсифицировать, этот стереть полностью.

Но и сам архивный сектор не более чем подразделение Главного комитета истины, основная функция которого — не переделывать прошлое, а снабжать граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, программами для телевида, пьесами, романами — словом, всеми видами информационных, обучающих и развлекательных материалов, от статуй до лозунгов, от лирики до трактатов по биологии, от букварей до словарей новоречи. Главк не только обслуживает многообразные потребности Партии, но и дублирует все на более примитивном уровне для масс. Целая группа секторов занимается массовой литературой, музыкой, драматургией и вообще развлечением. Здесь выпускаются бульварные газеты, в которых нет почти ничего, кроме спорта, криминальной хроники и астрологии, пятицентовые чувствительные романы, фильмы, пропитанные сексом, и песни про любовь, сочиненные чисто механически — на специальном устройстве вроде калейдоскопа, так называемом версификаторе. Имеется даже особый подсектор, называющийся на новоречи порносеком, где изготавливают пошлейшие виды

порнографии для рассылки в запечатанных пакетах. Для партийцев порнография запрещена — кроме тех, кто над ней работает.

Пока Уинстон работал, из пневмотрубы выскользнуло еще три записки, но поручения оказались простыми, и он разделался с ними еще до перерыва на Минуту ненависти. Когда она закончилась, он вернулся в ячейку, снял с полки словарь новоречи, оттолкнул в сторону речепис, протер очки и принялся за главную задачу сегодняшнего утра.

Работа — главное удовольствие в жизни Уинстона. По большей части это унылая рутина, но иногда перед ним встают задачи настолько трудные и замысловатые, что в них можно погрузиться, как в доказательство сложной математической теоремы. При таких тончайших фальсификациях ничто не указывает ему путь, кроме знания принципов англизма и собственного понимания, что от него нужно Партии. В этом Уинстон ас. Иногда ему даже доверяют исправление передовиц «Таймс», написанных полностью на новоречи. Он развернул записку, которую раньше отложил в сторону. В ней говорилось:

таймс 03.12.83 сб указ дня плюсплюснеотлично упомин
неперсон переписать полно предвар наверх

На староречь, то есть на стандартный язык, это переводилось примерно так:

Сообщение об Указе дня, подписанном Старшим Братом, в номере «Таймс» от третьего декабря 1983 года приведено в крайне неудовлетворительном виде и содержит упоминания о несуществующих персонах. Переписать полностью и сдать черновик руководству перед отсылкой в архив.

Уинстон прочел крамольную статью. Указ дня оказался в основном посвященным чествованию организации под названием ОППК, которая снабжала моряков плавучих крепостей сигаретами и другими маленькими радостями. Некий товарищ Уизерс, видный член Внутренней партии, удостоился особого упоминания и получил награду — орден «За исключительные заслуги» второй степени.

Через три месяца ОППК внезапно распустили без объявления причин. Можно было догадаться, что Уизерс и его команда теперь в опале, но ни пресса, ни телевидение ничего об этом не сообщали. Ничего необычного: суд или даже публичное осуждение политических преступников — редкость. Большие показательные чистки, охватывающие тысячи людей, с публичными процессами предателей и криводумцев, которые униженно признавались в своих преступлениях и которых потом казнили, случались не чаще, чем раз в пару лет. Обычно люди, вызвавшие неудовольствие Партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. Информация о том, что с ними стало, напрочь отсутствовала. Иногда они, возможно, даже оставались в живых. Из тех, кого знал Уинстон, за все время исчезло человек тридцать, не считая его родителей.

Уинстон почесал нос скрепкой. В ячейке напротив товарищ Тиллотсон еще секретничал со своим речеписом. Он на секунду поднял голову — и снова неприязненная вспышка очков. Уж не работает ли товарищ Тиллотсон над тем же поручением, что и Уинстон? А что, возможно. Такую хитрую работу никогда не доверяют кому-то одному. С другой стороны, поручить ее комиссии означало бы признать, что происходит фальсификация. Вполне возможно, человек десять-двенадцать трудятся сейчас над конкурирующими версиями того, что на самом деле

сказал Старший Брат. А скоро кто-нибудь из важных умов Внутренней партии выберет тот или иной вариант, отредактирует его и запустит сложный процесс замены всех перекрестных ссылок. Выбранная ложь займет свое постоянное место в архиве и станет правдой.

Уинстон не знал, почему Уизерс оказался в опале. Может быть, за коррупцию или некомпетентность. Может быть, Старший Брат просто избавился от слишком популярного подчиненного. Может быть, Уизерса или кого-то близкого к нему заподозрили в еретическом уклоне. А может — и это скорее всего — так вышло, потому что чистки и испарения неотъемлемо присущи государственному механизму. Единственное указание на случившееся — «упомин неперсон», из чего можно сделать вывод, что Уизерс уже мертв. Сам по себе арест еще не означает казнь. Иногда арестованных выпускают и оставляют на свободе год, а то и два, прежде чем казнить. А совсем редко знакомый, которого давно считали мертвым, вдруг возникает, словно призрак, на каком-нибудь публичном процессе, чтобы дать показания на сотни других и вновь исчезнуть теперь уже навсегда. Уизерс, однако, уже стал «неперсоной». Его не существовало ни теперь, ни раньше.

Уинстон решил, что мало просто заменить в речи Старшего Брата хвалу на хулу. Пусть лучше речь будет о чем-то не имеющем никакого отношения к исходной теме. Можно превратить ее в традиционную инвективу в адрес предателей и криводумцев, но это слишком уж на поверхности. А если выдумать победу на фронте или какой-нибудь производственный подвиг в рамках Девятой трехлетки, придется слишком много менять в других источниках. Нет, нужен полет фантазии. И тут в голове его возник, прямо в готовом виде, образ некоего товарища Огилви, недавно геройски павшего в бою. Слу-

чалось, Старший Брат своим Указом дня распоряжался увековечить память какого-нибудь скромного рядового партийца, чья жизнь и смерть могли послужить достойным примером. Сегодня увековечен будет товарищ Огилви. Конечно, никакого товарища Огилви нет и в помине, но несколько печатных строк и пара сфабрикованных фотографий вот-вот вдохнут в него жизнь.

Уинстон на минуту задумался, подтянул к себе речепис и начал диктовать в знакомом стиле Старшего Брата, одновременно командирском и учительском. Он все время задает вопросы и сам же на них отвечает («Какие уроки мы из этого извлекаем, товарищи? Урок, который также является одним из основополагающих принципов англизма, заключается в следующем...»), так что имитировать его легко.

В три года товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолетика. В шесть — с особого разрешения, на год раньше положенного — вступил в Лазутчики, в девять стал командиром отряда. В одиннадцать сообщил в Думнадзор на своего дядю, подслушав разговор, свидетельствовавший, по его мнению, о дядиных преступных наклонностях. В семнадцать назначен инструктором районной организации Молодежного антисексуального союза. В девятнадцать изобрел ручную гранату, которую принял на вооружение Главмир и которая при первом испытании уложила разом тридцать одного евразийского пленного. В двадцать три товарищ Огилви погиб в бою. Вертолет, на котором он должен был доставить важные донесения, преследовали над Индийским океаном вражеские истребители. Привязав к себе пулемет в качестве груза и захватив донесения, товарищ Огилви выпрыгнул в океанские волны — смерть, о которой, как выразился Старший Брат, невозможно думать без зависти.

Потом Старший Брат добавил несколько фраз о чистоте и прямоте помыслов товарища Огилви, противника курения и алкоголя, не знавшего других развлечений, кроме ежедневных часовых занятий в спортзале, — и о его обете безбрачия: ведь женитьбу и семейные дела товарищ Огилви считал несовместимыми с круглосуточным исполнением патриотического долга. Единственной достойной темой для разговора виделись ему принципы англизма, а единственными целями в жизни — победа над евразийским врагом и выявление шпионов, вредителей, криводумцев и прочих предателей.

Уинстон прикинул, не наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги», но решил, что лучше не надо, чтобы не плодить перекрестные ссылки. Он снова кинул взгляд на конкурента в ячейке напротив. Что-то настойчиво подсказывало ему: Тиллотсон выполняет то же поручение, что и он. Чью работу в конечном счете примут, неизвестно, но Уинстон почти не сомневался в успехе. Товарища Огилви, которого еще час назад не существовало, вызвало к жизни его, Уинстона, воображение. Как интересно, думал он: мертвых можно создать сколько угодно, а живых — нет. Товарищ Огилви, никогда не живший в настоящем, теперь часть прошлого, а когда подлог забудется, он станет не менее реальным, чем Карл Великий или Юлий Цезарь, — по крайней мере его существование будет подтверждено ничуть не хуже.

5.

В столовой с низким потолком на подземном этаже едва ползет очередь за обедом. Здесь толчея и оглушительный гам. Дымящееся жаркое на плите в углу столовой источает кислый металлический запах, неспособный, впрочем, заглушить вонь джина «Победа». У дальней стены маленький бар — по сути, просто углубление в стене: джин там наливают по десять центов за большую порцию.

— На ловца и зверь бежит, — раздался голос за спиной Уинстона. Он обернулся и увидел приятеля, Сайма из сектора исследований. «Приятель» — пожалуй, не то слово: теперь бывают только товарищи. Но все же с одними товарищами общаться приятнее, чем с другими. Сайм филолог, специалист по новоречи, входит в большую группу, работающую над составлением одиннадцатого издания Словаря новоречи. Он совсем маленького роста, даже меньше Уинстона, темноволосый, с большими глазами навывкате, одновременно грустными и насмешливыми. Во время разговора они рыщут по лицу собеседника, как прожекторы.

— Как раз хотел спросить: у тебя не завалилось лезвий? — сказал Сайм.

— Ни единого, — ответил Уинстон с какой-то виноватой поспешностью. — Где я только не искал. Их, похоже, вообще больше не бывает.

Вечно все спрашивают про лезвия. Вообще-то у него заначена парочка. Уже который месяц они в дефиците. В партийных магазинах вечно нет то одного, то другого необходимого товара — когда пуговиц, когда шерстяных ниток для штопки, когда шнурков для ботинок, сейчас вот лезвий. Раздобыть их можно разве что тайком, на «свободном» рынке, да и то если повезет.

— Сам полтора месяца одним бреюсь, — соврал Уинстон.

Очередь чуть продвинулась вперед. Остановившись, Уинстон снова обернулся к Сайму. Они вытянули по замасленному металлическому подносу из стопки в конце стойки.

— Ходил вчера к виселице? — спросил Сайм.

— Не-а, работал, — безразлично ответил Уинстон. — В кино, наверно, покажут.

— В кино совсем не то, — сказал Сайм. Его насмешливые глаза пробежались по лицу Уинстона. «Я тебя насквозь вижу, — читалось в них. — Знаю-знаю, почему ты не ходил поглядеть на висельников». Убеждений Сайм придерживался яростно правоверных, говорил с неприятным злорадством о вертолетных рейдах на вражеские деревни, процессах и признаниях криводумцев, казнях в подвалах Главлюба. В общении с ним главное — увести разговор от этих тем и втянуть Сайма в обсуждение тонкостей новоречи, о которых он рассуждает увлекательно и со знанием дела. Уинстон чуть отвернулся, избегая внимательного взгляда больших темных глаз.

— Хорошая была казнь, — мечтательно проговорил Сайм. — Вот когда им ноги связывают, так себе получается. Люблю, когда пляшут на веревке. А в самом конце языки вываливаются, синие такие, прям ярко-синие. Моя любимая фишка.

— Дальше подходим! — крикнула девица из масс в белом фартуке и с половником в руке.

Уинстон и Сайм протолкнули подносы под решетку. На каждый тут же плюхнули комплексный обед: металлическую миску розовато-серого жаркого, кусок хлеба, кубик сыра, кружку кофе «Победа» без молока и таблетку сахараина.

— Вон свободный стол, под тем телевизором, — сказал Сайм. — Только джина возьмем по дороге.

HATE



Ненависть – это оружие против врага

IS A WEAPON *against*
THE ENEMY



Джин им подали в фаянсовых кружках без ручек. Они протолкались сквозь толпу и разложили снедь на металлическом столе: угол был загажен подливой, похожей на рвоту.

Уинстон поднял кружку с джином, собрался и опрокинул в себя маслянистую гадость. Смахнув слезы с глаз, он вдруг обнаружил, что голоден, и начал заглатывать жаркое ложку за ложкой. В этой мутной массе встречались какие-то розоватые кубики, похожие на губку, — вероятно, так приготовили мясо. Ни Уинстон, ни Сайм не проронили ни слова, пока не опустошили миски. А за столиком слева, позади Уинстона, кто-то тараторил не умолкая. Эта болтовня, напоминавшая гусиный гогот, пробивалась сквозь общее гудение голосов.

— Как словарь, продвигается? — Уинстон повысил голос, чтобы перекричать гомон.

— Потихоньку, — ответил Сайм. — Занимаюсь прилагательными, оторваться не могу.

Лицо его сразу прояснилось, как только разговор свернул на новоречь. Он оттолкнул миску, взял одной худенькой лапкой хлеб, а другой сыр и наклонился над столом, чтобы не кричать.

— Одиннадцатое издание — окончательное, — сказал он. — Приводим язык в итоговый вид, на таком все будут говорить, когда полностью перейдут на новоречь. Как закончим, будете у нас заново переучиваться. Думаешь, мы только и делаем, что новые слова изобретаем? А вот и нет! Мы слова уничтожаем — десятками, сотнями в день. Оставляем от языка один скелет. В одиннадцатом издании не будет ни одного слова, которое устареет до 2050-го.

Сайм жадно откусил хлеб, прожевал, сглотнул и продолжал рассказ со страстью настоящего ботаника. Тонкое смуглое лицо его оживилось, глаза утратили насмешливое выражение и сделались почти мечтательными.

— Уничтожение слов — это красиво. Конечно, основная усушка — за счет глаголов и прилагательных, но и лишних существительных — сотни и сотни. Не только синонимов, но и антонимов. Если слово противоположно по смыслу другому слову, это еще не оправдывает его существования. Взять, к примеру, слово «отлично». Если у тебя есть слово «отлично», на кой тебе сдалось слово «плохо»? «Неотлично» вполне подойдет, и даже лучше, потому что оно прямая противоположность, а «плохо» — нет. Едем дальше: если тебе нужно слово посильнее, чем «отлично», на что тебе целая связка всяких мутных «прекрасно», «великолепно» и так далее? «Плюсотлично» значит то же самое, а если хочешь еще усилить, «плюсплюсотлично». Мы, конечно, уже используем эти формы, но в окончательной версии новоречи никаких других не будет. В конце концов весь комплекс понятий «хорошо — плохо» уместится в шести словах, а по сути — вообще в одном. Понимаешь, Уинстон, красота какая? Идею, конечно, подал Старший Брат, — добавил он с некоторым опозданием.

Лицо Уинстона при упоминании Старшего Брата мгновенно выразило туповатое рвение. Впрочем, нехватка энтузиазма не укрылась от глаз Сайма.

— Не ценишь ты по-настоящему новоречь, Уинстон, — сказал он почти с грустью. — Даже когда пишешь на ней, думаешь все равно на староречи. Читал я, что ты пописываешь в «Таймс». Неплохо, но это переводы. В душе ты держишься за староречь, за всю эту муть, все эти ненужные оттенки значения. Не видишь красоты в уничтожении слов. Ты знал, что нет в мире такого языка, кроме новоречи, чтобы его словарь из года в год сокращался?

Уинстон, конечно, знал. Он улыбнулся — одобряюще, как ему показалось, — но говорить не осмеливался. Сайм откусил еще темно-серого хлеба, пожевал и продолжил:

— Пойми, вся суть новоречи в том, чтобы сузить диапазон мысли. В конце концов мы сделаем криводум в принципе невозможным, потому что для него не будет нужных слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом со строго определенным значением, а все побочные будут стерты и забыты. В одиннадцатом издании мы уже вплотную к этому подошли. Но процесс продолжается — нас с тобой уже не станет, а он все будет идти. С каждым годом слов все меньше, заодно и диапазон сознания продолжит потихоньку сужаться. Уже и сейчас, конечно, криводуму нет никакого оправдания. Есть самодисциплина, управление реальностью. Но в конечном счете и это станет не нужно. Революция завершится, когда язык достигнет совершенства. Новоречь — это англизм, а англизм — это новоречь, — припечатал он с самодовольством догматика. — Тебе, Уинстон, никогда не приходило в голову, что самое позднее к 2050 году на свете не будет никого, кто бы понял этот наш с тобой разговор?

— Кроме... — осторожно начал Уинстон и тут же остановился.

«Кроме масс», — едва не сорвалось у него с языка, но он вовремя осекся: достаточно ли правомерно такое замечание? Сайм, однако, догадался, что вертелось у Уинстона на языке.

— Массы не люди, — сказал он презрительно. — К 2050-му, а то и раньше настоящее знание староречи выветрится. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Милтон, Байрон останутся только в новоречной версии, не просто переделанные, а превращенные в свою противоположность. Даже партийная литература изменится. Как можно сохранить лозунг «Свобода есть рабство», когда упразднено само понятие свободы? Интеллектуальный климат будет совсем другим. Да и вообще

не будет интеллектуальной жизни, как мы ее сейчас понимаем. Правоверность — это когда не думаешь, потому что не нужно. Правоверность бессознательна.

Рано или поздно, подумал Уинстон с внезапной глубокой убежденностью, — рано или поздно Сайма испарят. Слишком умный. Слишком ясно видит и слишком прямо говорит. Партия таких не любит. Когда-нибудь он исчезнет. Это у него на лице написано.

Уинстон доел хлеб с сыром, взял кружку кофе и сел чуть боком к столу. За столиком слева от него все скрипел противный мужской голос. Молодая женщина (возможно, секретарша говорившего) сидела к Уинстону спиной и, похоже, горячо соглашалась со всем, что слышала. Время от времени до Уинстона доносились реплики вроде «Ах, как же вы правы, да, я тоже так считаю!» — и все это с интонациями молоденькой дурочки. Но другой голос не умолкал ни на секунду, даже когда девушка пыталась вставить слово. Уинстон уже встречал обладателя этого голоса, но только и знал о нем, что тот занимает какой-то важный пост в секторе художественной литературы. Ему около тридцати, у него мускулистая шея и большой, подвижный рот. Голову он слегка откинул, так что его очки отвесивали, и вместо глаз Уинстон видел непрозрачные овалы. Уинстона слегка пугало, что он ничего не может разобрать в потоке слов, только однажды до него долетел обрывок фразы, словно отлитой из свинца для печати: «полному и окончательному уничтожению гольдштейнизма». В остальном это был просто шум, «га-га-га». Впрочем, хоть и не удавалось расслышать, что говорит этот человек, никаких сомнений в сути его слов возникнуть не могло. Он мог обличать Гольдштейна, требовать более суровых мер против криводумцев и вредителей, возмущаться зверствами евразийской армии, славить Старшего Брата или героев малабарского фронта —

не важно. О чем бы ни шла речь, было ясно, что каждое слово — сама правоверность, чистый англизм. Наблюдая за безглазым лицом с быстро ходившим вверх-вниз подбородком, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним не человек, а манекен. Слова рождаются у него не в мозгу, а в гортани. И хотя это именно слова, они не складываются в речь в обычном понимании: это бессознательные звуки, вроде гусяного гогота.

Сайм помолчал с минуту, рисуя черенком ложки в лужице подливки. Гогот за соседним столом не утихал, явственно выделяясь из общего шума.

— В новоречи есть слово, — сказал Сайм, — не знаю, встречалось ли тебе: «гусеречь». Это когда гогочешь, как гусь. Интересное слово, из тех, что имеют два противоположных значения. Применительно к врагу — оскорбление, а если ты с человеком согласен — похвала.

Сайма испарят, и сомневаться нечего, снова подумал Уинстон. Подумал не без грусти, хотя знал, что Сайм его презирает и слегка недолюбливает, может даже донести на него как на криводумца, дай ему малейший повод. С Саймом что-то не так, чего-то ему не хватает — сдержанности, отстраненности, какой-то спасительной глупости. Неправоверным его не назовешь — он верит в принципы англизма, чтит Старшего Брата, радуется победам, ненавидит еретиков не только искренне, но и с беспокойным рвением, основанным на полноте информации, недоступной простым партийцам. Но что-то с ним все же нечисто. Говорит всякое, чего не следовало бы, читает слишком много книг, захаживает в кафе «Каштан» — пристанище художников и музыкантов. Ходить в «Каштан» никакие правила, даже неписанные, не запрещают, но место это все равно несчастливое. Прежние лидеры Партии, развенчанные, сиживали там, пока их не вычистили окончательно. Говорят, и самого Гольдштейна видели сколько-то лет,

а может, и десятилетий назад. Да, судьбу Сайма предсказать нетрудно. Но если Сайм проникнет хоть на три секунды в его, Уинстона, тайные думы, то мгновенно сдаст его Думнадзору. Нет, кто угодно сдаст — но Сайм прежде прочих. И все же рвения недостаточно. Правильность бессознательна.

Сайм поднял голову.

— А вот и Парсонс, — сказал он. «Чертов тупица», — послышалось Уинстону в его голосе.

И вправду, Парсонс, сосед Уинстона по апартаментам «Победа», продирался сквозь толпу — пузан среднего роста, со светлыми волосами и лягушачьей физиономией. К своим тридцати пяти он уже обзавелся складками жира на шее и над ремнем, но двигался еще энергично, по-мальчишески, и вообще до того напоминал мальчишку-переростка, что, несмотря на форменный комбинезон, его почти невозможно представить иначе как в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке Лазутчика. Ямочки на коленках, засученные рукава на пухлых ручках — все это так и видится, если попытаться вызвать в голове его образ.

И правда, шорты Парсонс по старой памяти напяливает при любой возможности — во время вылазки на природу или за физической работой. С бодрым «привет-привет» он подсел за стол к Уинстону и Сайму. От него разлило потом. На порозовевшем лице выступили бусинки влаги. Потеет он, как никто другой. В культурно-спортивном центре всегда можно догадаться по влажной ручке ракетки, что это Парсонс поиграл в настольный теннис. Сайм выложил на стол лист бумаги с длинной колонкой текста и углубился в чтение, держа наготове чернильный карандаш.

— Гляди-ка, даже в обед вкалывает, — сказал Парсонс, толкая Уинстона локтем в бок. — Вот это я пони-

маю, увлеченность. Что там у тебя такое, старичок? Мне наверняка и не понять. Послушай, Смит, старичок, я тебя зачем ищущу: ты мне денежку сдать забыл.

— Какую денежку? — спросил Смит, машинально сунув руку в карман. Примерно четверть зарплаты приходилось откладывать на добровольные взносы, какие — и не упомнишь, столько их всяких разных.

— На Неделю ненависти. Ну, знаешь, со всех домов собирают. Я в нашем квартале казначей. Хотим выступить на всю катушку, уж покажем себя так покажем. Если родные апартаменты «Победа» не вывесят больше всех флагов на нашей улице, то уж точно не потому, что я схалювил. Ты мне два доллара обещал.

Уинстон отыскал и протянул Парсонсу две мятые грязные бумажки, и тот записал Уинстона в блокнот аккуратным почерком полуграмотного.

— Кстати, старичок, — сказал он. — Мне сказали, мой сорванец вчера пулънул в тебя из рогатки. Я его отругал. Пригрозил, что отберу рогатку, если еще раз услышу.

— По-моему, он немного расстроился, что его не взяли на казнь, — сказал Уинстон.

— Ну, что тут скажешь — настрой-то правильный, так ведь? Безобразники они оба, сорванцы, но детки увлеченные. Только и думают, что о Лазутчиках да о войне. Знаешь, что моя девчонка в субботу учудила, когда ее отряд в поход ходил, в Беркемстед? Подговорила еще двух девчонок, они с тропинки свернули и весь день следили за каким-то типом. Два часа висели у него на хвосте, через весь лес прошли, а в Амершеме сдали его патрулю.

— За что? — спросил Уинстон, слегка опешив.

Парсонс с гордостью заявил:

— Моя решила — он какой-то вражеский агент, может, с парашютом сбросили или еще что. Но вот в чем штука, старичок. Как думаешь, чего она насторожилась? Заме-

тила, что туплю на нем странные, никогда таких раньше не видела. Значит, наверно, иностранец. Неплохо для малявки семилетней, а?

— И что с ним стало? — спросил Уинстон.

— Ну, это уж я не знаю. Но не удивлюсь, если... — Парсонс притворился, будто целится из ружья, и прищелкнул языком, изображая выстрел.

— Это хорошо, — рассеянно заметил Сайм, не отрываясь от своего листка.

— Конечно, рисковать мы себе позволить не можем, — смиренно согласился Уинстон.

— Я и говорю: война ведь, — сказал Парсонс.

Словно в подтверждение из телевида над ними разнесся звук трубы. Но на этот раз они услышали не объявление о победе, а лишь сообщение Главного комитета богатства.

«Товарищи! — воскликнул задорный юный голос. — Внимание, товарищи! У нас для вас радостные новости. Мы одержали победу в битве за производственные показатели! Только что подведены итоги выполнения плана по всем видам потребительских товаров, и они свидетельствуют, что уровень жизни за последний год вырос не менее чем на двадцать процентов. По всей Океании сегодня прошла волна стихийных демонстраций: рабочие и служащие вышли на улицы с транспарантами, чтобы поблагодарить Старшего Брата за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые данные. Продукты питания...»

Про «новую счастливую жизнь» повторили несколько раз. В последнее время в Главбоге полюбили эту фразу. Парсонс, застывший при звуках трубы, слушал раскрыв рот, с видом торжественным и скучливо-внимающим. За цифрами уследить он не мог, но знал, что вроде как должен радоваться. Он вытащил большую нечищеную

трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. По карточкам выдавали сто граммов табака в неделю, так что набить трубку доверху удавалось редко. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новую карточку можно отоварить только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты.

Сияясь отрешиться от шума столовой, он вслушивался в речь, льющуюся из телевизора. Сообщали, что состоялись демонстрации, на которых благодарили Старшего Брата за увеличение пайки шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера, думал он, объявили о *снижении* до двадцати граммов. Неужели проглотят вранье через какие-то сутки?

Проглотили, конечно. Парсонс — легко, по своей животной тупости. Безглазый за соседним столом — фанатично, страстно, с неудержимым желанием выследить, сдать и испарить любого, кто хотя бы заикнется, что на прошлой неделе выдавали по тридцать граммов. Даже Сайм и тот проглотил, пусть и не в простоте, а благодаря двоедуму. Что же, дивился Уинстон, неужто у меня одного еще не отказала память?

Сказочная статистика продолжала изливаться из телевизора. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных — больше всего, кроме болезней, преступлений и душевных расстройств. Год за годом, минута за минутой все показатели рвутся вверх. Как незадолго до того Сайм, Уинстон взял ложку и стал размазывать пролитую подливу, превращая бледную вытянутую лужицу в орнамент и с досадой размышляя об антураже, в котором проходит жизнь. Неужели вот так было всегда? И еда всегда была вот такая на вкус? Он огляделся: низкий потолок, тес-

нота, грязные, натертые бесчисленными спинами стены, помятые металлические столы и стулья, расставленные так близко друг к другу, что люди соприкасаются локтями; погнутые ложки, побитые подносы, грубые белые кружки; все поверхности в жире, во всех щелях сажа; запах — кислая смесь плохого джина, плохого кофе, жаркого с металлическим привкусом да нестираной одежды. Желудком, кожей чувствуешь вечное недовольство, как будто у тебя обманом отобрали то, на что ты имеешь право. Правда, он и в самом деле не мог припомнить, когда вокруг было хоть в чем-то иначе. На его памяти еда всегда была по карточкам, носки и белье — дырявыми, мебель — обшарпанной и колченогой, комнаты — плохо протопленными, вагоны метро — набитыми, дома — развалюхами, хлеб — темно-серым, чай — дефицитным, кофе — отвратительным на вкус. Сигареты слишком быстро заканчивались. В изобилии и по дешевке имелся разве что химический джин. А ведь чем старше становишься, тем тяжелее так жить, и разве это не доказывает, что естественный порядок вещей — не такой? Что это неправильно, когда тошнит от неудобства, грязи, нехватки всего, бесконечных зим, липких носков, вечно не работающих лифтов, холодной воды, дерущего кожу мыла, рассыпающихся сигарет, еды то с таким, то с таким гнусным привкусом? Почему все это так нестерпимо, если нет генетической памяти о каких-то других временах, когда все было иначе?

Он снова окинул взглядом столовую. Почти все здесь некрасивые — и останутся некрасивыми, во что их ни переодень из синих форменных комбинезонов. У дальней стены человек, удивительно похожий на жука, сидел за столиком наедине с чашкой кофе и подозрительно зыркал из стороны в сторону. Как легко, думал Уинстон, поверить в существование и даже распространенность

идеальных партийцев — высоких, мускулистых парней и полногрудых девушек, белокурых, энергичных, загорелых, беззаботных, — но только если не смотреть вокруг. На самом деле, насколько он мог судить, большинство жителей Авиабазы номер один — низкорослые, смуглые, страшненькие. А вот такие жучки, как этот, особенно расплодилось в главках: склонные к ранней полноте, суетливые, с короткими ножками, круглыми лицами и маленькими глазками. Вот какой типаж на самом деле процветал под властью Партии.

Объявление Главбога закончилось, как и началось, сигналом трубы и сменилось неприятной, тренькающей музыкой. Парсонс, воодушевленный и слегка ошарашенный после бомбардировки цифрами, вынул изо рта трубку.

— А неплохо поработал Главбог в этом году, — сказал он, кивая с видом знатока. — Кстати, Смит, старичок, у тебя случаем нет лезвия? Поделился бы.

— Ни единого, — ответил Уинстон. — Сам полтора месяца одним бреюсь.

— А, ну ладно, за спрос же денег не берут, да, старичок?

— Извини, — сказал Уинстон.

Гоготание за соседним столом, умолкшее было на время официального объявления, послышалось снова — такое же громкое, как и прежде. Уинстон вдруг почему-то задумался о миссис Парсонс, соседке с редкими волосиками и пылью в морщинах. Года через два дети донесут на нее в Думнадзор. Миссис Парсонс испарят. Сайма тоже испарят. И Уинстона, и О'Брайена. А вот Парсонса не испарят никогда. И безглазого с гусиным голосом. И людей-жучков, так проворно снующих по коридорам главков, тоже никогда не испарят. И девушку с темными волосами, ту, из сектора художественной литературы, — не испарят и ее. Ему казалось, он интуитивно чувствует,

кто выживет, а кто сгинет, хотя что именно предвещает выживание, сказать сложно.

И тут что-то словно выдернуло Уинстона из раздумий. Девушка за соседним столиком повернулась в его сторону и остановила на нем взгляд. Та самая, темноволосая. Она смотрела на него как бы по касательной, но на удивление пристально. Встретившись с ним взглядом, тут же отвернулась.

Тут же вспотела спина. Уинстона передернуло от мимолетного ужаса. Испуг почти сразу прошел, но засосало под ложечкой. Почему она за ним наблюдает? Почему повсюду ходит за ним? Вот досада: он не мог вспомнить, сидела ли она уже за столом, когда он пришел, или появилась после. Как бы то ни было, вчера, во время Минуты ненависти, она уселась прямо за ним без всякой явной необходимости. Наверняка хотела послушать, достаточно ли громко он кричит.

Ему вспомнилась прежняя мысль: вряд ли она штатный сотрудник Думнадзора, но именно добровольные соглядатаи самые опасные. Он не знал, долго ли она на него смотрела — может, и целых пять минут, — а ведь, возможно, он не все время контролировал выражение лица. В общественном месте или в поле обзора телевида крайне опасно погружаться в задумчивость. Выдать может любая мелочь — нервный тик, тревожное выражение лица, манера бормотать себе под нос — все, что указывает на малейшее отклонение от нормы, на попытку что-то скрыть. Неподобающее выражение лица (например, недоверчивое — во время объявления о победе) и само по себе наказуемо. В новоречи даже есть для него слово — «криволик».

Девушка опять повернулась к нему спиной. Может, она и не преследует его, а что второй день садится так близко — совпадение. Сигарета Уинстона погасла, и он

аккуратно положил ее на краешек стола. Можно после работы докурить, если табак не высыплется. Вполне возможно, за соседним столиком — шпионка Думнадзора. Вполне возможно, не пройдет и трех дней, как он окажется в подвалах Главлюба. И все же окурками разбрасываться — не дело. Сайм сложил свой листок бумаги и спрятал в карман. Парсонс снова заговорил.

— Старичок, а я тебе не рассказывал, — начал он, похохатывая, но не выпуская изо рта трубку, — как мои малявки подожгли юбку старухе-торговке? Увидели, как она заворачивает колбасу в плакат со Старшим Братом. Подкрались сзади и подожгли спичками. Она вся обгорела, по-моему. Каковы сорванцы, а? На выдумки горазды. Лазутчиков теперь здорово натаскивают, даже лучше, чем в мое время. Как думаешь, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтоб подслушивать у замочных скважин. Дочка свою недавно домой принесла, к двери в гостиную приложила — говорит, слышно в два раза лучше, чем если просто ухо к скважине приложить. Ясное дело, просто игрушка. Но подход-то правильный, а?

В этот момент из телевида раздался пронзительный свист — сигнал, что пора возвращаться на рабочие места. Все трое вскочили, чтобы вступить в битву у дверей лифтов, и из сигареты Уинстона высыпался оставшийся табак.

6.

Уинстон писал в дневнике:

Дело было три года назад, в темное время, в переулке у одного из больших вокзалов. Она стояла у дверей, под фонарем, который почти не давал света. Лицо молодое, сильно накрашенное. Вот именно это меня и привлекло: маска из белки и ярко-красные губы. Партийки никогда не красятся. В переулке больше никого не было, телевизоров тоже. Она сказала: два доллара. Я...

Трудно заставить себя продолжать. Он закрыл глаза и надавил на веки пальцами, прогоняя упрямое видение. Ему нестерпимо хотелось громко, трехэтажно выругаться. Или биться головой об стену, перевернуть стол, швырнуть чернильницу в закрытое окно — чтобы злость, грохот или боль заглушили мучительное воспоминание.

Наша нервная система — наш злейший враг, думал он. Нарастающее внутреннее напряжение может в любой момент прорваться каким-то внешним признаком. Он вспомнил человека, мимо которого прошел на улице несколько недель назад. Обычный партиец, лет тридцати пяти — сорока, довольно высокий, худой, с портфелем. Их разделяло несколько метров, когда левую сторону лица прохожего исказил какой-то спазм. И опять, когда они поравнялись: просто судорога, быстрая, как щелчок фотоаппарата, но явно привычная. Он еще подумал тогда: все, конец бедняге. Страшно то, что он, может, и сам не знает о своем тике. А опаснее всего — разговаривать во сне. От этого, кажется, вообще никак не защитишься.

Уинстон перевел дух и продолжил:

Я прошел с ней через задний двор на кухню в подвальном этаже. Там у стены стояла кровать. Лампа на столе едва светила. Женщина...

Он стиснул зубы, чтобы не сплунуть. Думая о женщине в том подвале, он одновременно думал и о жене, Кэтрин. Уинстон был когда-то женат — возможно, он женат и до сих пор: насколько ему известно, Кэтрин жива. Ему показалось, он снова вдыхает теплый спертый воздух той кухни, запах клопов, нестираной одежды, духов — омерзительных, дешевых, но все равно соблазнительных, потому что партийки не душатся, такое и представить невозможно. Только массы пользуются духами. В его голове этот запах неразрывно связался с блудом.

Когда он пошел с этой женщиной — сорвался впервые года за два. Пользоваться услугами проституток, конечно, запрещено, но это одно из тех правил, которые можно иногда, набравшись смелости, нарушать. Если поймают с проституткой, светит пять лет каторжного лагеря, не больше — если за тобой нет других проступков. Да и этого легко избежать, если только не попасться прямо в процессе. В бедных кварталах полно женщин, готовых продавать себя. Некоторых можно даже купить за бутылку джина, который массам не положен. Проституцию Партия даже негласно одобряет — она дает выход инстинктам, которые невозможно полностью подавить. Сам по себе разврат не так уж и вреден, если ему предаются украдкой, почти без удовольствия, с женщинами низшего, презираемого класса. Непростительна лишь половая распущенность в партийной среде. Впрочем, хотя

все обвиняемые во время больших чисток неизменно признаются в этом преступлении, трудно поверить, что они говорят правду.

Партия стремится не просто помешать мужчинам и женщинам поставить верность друг другу выше верности ей, Партии. Ее истинная, пусть и невысказанная, цель — искоренить удовольствие от секса. Враг — не любовь, а вожделение, неважно, в браке или вне брака. На брак между партийцами требуется разрешение специальной комиссии, и — хотя об этом принципе никогда не говорится в открытую — парам, в которых очевидно физическое влечение друг к другу, в разрешении всегда отказывают. Единственной целью брака признается деторождение ради продолжения дела Партии. Секс рассматривается как немного неприятная медицинская процедура — все равно что клизма. Это тоже нигде не зафиксировано, просто ненавязчиво внушается партийцам с самого детства. Существуют даже организации вроде Молодежного антисексуального союза, выступающего за полное целомудрие и для мужчин, и для женщин, зачатие путем искусственного оплодотворения (на новоречи — «ископ») и воспитание детей в государственных учреждениях. Все это — не вполне всерьез, знал Уинстон, но с генеральной линией партии вполне сочетается. Партия старается уничтожить половое влечение, а если это невозможно, то хотя бы извратить и замарать. Зачем Уинстон не понимал, но стремление это казалось логичным и естественным. И усилия Партии весьма результативны — по крайней мере с женщинами.

Он снова вспомнил Кэтрин. Расстались они девять, нет, десять — почти одиннадцать лет назад. Любопытно, что он думает о ней так редко. Иногда и за несколько дней ни разу не вспомнит, что был когда-то женат. Вме-

сте они не прожили и полутора лет. Разводов Партия не допускает, но поощряет расставание бездетных пар.

Кэтрин — высокая, светловолосая, осанистая и грациозная. В лице — что-то от хищной птицы: его можно было бы назвать благородным, если не знать, что это лишь маска, за которой нет почти ничего. Уже в самом начале семейной жизни Уинстон укрепился во мнении — может быть, лишь потому, что узнал ее ближе, чем других людей, — что другой такой глупой, пошлой пустышки не встречал никогда. В голове — сплошные лозунги. Она готова была поверить в любую несусветную глупость, какую бы ни скормила ей Партия. «Человек-пластинка» — называл он ее мысленно. Но жизнь с ней все равно была бы терпимой, если бы не одно препятствие — секс.

Стоило ему к ней прикоснуться, она морщилась и каменела. Обнимать ее — все равно что деревянную куклу на шарнирах. Странно — даже прижимая к себе, она, казалось, одновременно изо всех сил его отталкивает, такое напряжение чувствовалось в каждой ее мышце. Она лежала, зажмурив глаза, не сопротивляясь и не помогая ему, а — покоряясь. Это было невероятно унижительно, а через некоторое время и отвратительно. Но можно было бы жить с ней и дальше, если бы удалось уговорить ее не заниматься сексом. Как ни странно, именно Кэтрин этому противилась. Надо, говорила она, постараться родить ребенка, если получится. Так что ритуал повторялся раз в неделю, как по расписанию, когда ей позволяла биология. Она даже напоминала ему с утра — не забудь, вечером надо будет «делать ребенка» или «выполнять партийный долг» (да, так и говорила). Скоро он уже испытывал форменный ужас, когда подходил назначенный срок. Но, к счастью, ребенок не получался, и в конце концов она согласилась прекратить старания. Вскоре они расстались.

Уинстон еле слышно вздохнул, взял ручку и написал:

Она повалилась на кровать и сразу, без подготовки, невообразимо бесстыдно задрала юбку. Я...

Уинстон стоял перед ней в тусклом свете лампы. Пахло клопами и дешевыми духами. Опустошение и обида смешались в его сердце, а перед глазами возникло белое тело Кэтрин, навеки замороженное гипнотической силой Партии. Ну почему так всегда? Почему у него нет своей женщины, а есть только эти грязные случки, и то не каждый год? Но настоящие отношения уже почти непредставимы. Все партийки одинаковы. Целомудрие вбили в них так же крепко, как и верность Партии. Их педантично приучают к нему с раннего детства — с помощью игр, обливаний холодной водой, ерунды, которую вдальбливают им школа, Лазутчики и Молодежный союз, лекций, шествий, песен, лозунгов и военной музыки. Так уничтожается их естество. Разум подсказывал ему, что должны быть исключения, но сердце уже не верило. Все они неприступны — как велит Партия. А он хотел — еще больше, чем быть любимым, — хотя бы раз в жизни снести эту стену добродетели. Половой акт, приятный обоим, — бунт. Вожделение — криводум. Даже сумей он разбудить Кэтрин, это сочли бы равноценным совращению, хоть она и его жена.

Историю, однако, надо дописать. Он продолжал:

Я подкрутил лампу. Когда я увидел ее при свете...

После почти полной темноты слабый огонек керосиновой лампы казался очень ярким. Впервые он смог как

следует разглядеть женщину. Он сделал шаг в ее сторону и остановился, полный вождения и страха. Уинстон мучительно понимал, как сильно рискует, придя сюда. Патруль вполне может схватить его на выходе: может, его уже ждут за дверью. Даже если уйти, не сделав того, за чем пришел...

Надо дописать, исповедаться до конца. При свете лампы он вдруг увидел, что перед ним старуха. Слой косметики у нее на лице был такой толстый, что грозил треснуть, как маска из папье-маше. В волосах — седые пряди. Но особенно ужаснула его одна деталь: рот женщины приоткрылся — и в нем была лишь чернота пещеры, ни единого зуба.

Он записывал торопливо, прыгающими буквами:

Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой — лет пятидесяти, не меньше. Но это меня не остановило, я все равно сделал то, за чем пришел.

Он снова надавил пальцами на веки. Да, он наконец-то дописал, но ничего не изменилось. Никакого терапевтического эффекта. Ему по-прежнему хотелось во всю глотку выкрикивать ругательства.

7.

Если и есть надежда, — писал Уинстон, — то только на массы.

Если есть надежда, то ни на кого, кроме масс, потому что только эти бессмысленно копошащиеся, обделенные вниманием миллионы — восемьдесят пять процентов населения Океании — могут породить силу, способную сокрушить Партию. Партию невозможно подорвать изнутри. Ее врагов, если у нее вообще есть враги, никак не собрать вместе — они даже не узнают друг друга. Даже если бы существовало легендарное Братство — а возможно, оно и существует, — невообразимо, чтобы его члены собирались группами больше, чем по два-три человека. Бунт для них — обмен взглядами, интонация, самое большое — сказанное шепотом слово. А вот массам, если бы они вдруг осознали свою силу, не понадобилось бы сговариваться тайком. Они могли бы просто встать и отряхнуться, как лошадь стряхивает мух. Захотят — разнесут Партию на куски хоть завтра. Должно же им рано или поздно прийти это в голову? А на деле...

Он вспомнил, как однажды шел в уличной толпе и вдруг услышал крик, вырвавшийся из сотен ртов. Кричали женщины в переулке — там, куда он направлялся. Это был мощный вопль гнева и отчаянья, низкое, гулкое «А-а-а-а!», гудевшее, как раскаты колокола. Сердце Уинстона забило. «Началось!» — подумал он. Бунт! Массы наконец-то сорвались с цепи! Когда он добрался до источника звука, то увидел двести или триста женщин, столпившихся вокруг прилавков уличного рынка с такими трагическими лицами, словно они обреченные пассажиры тонущего корабля. Но всеобщее отчаянье уже сменилось локальными потасовками. Оказалось, что с одного из прилавков продавали жестяные кастрюли — плохонь-

кие, с тонкими стенками, но ведь кастрюль, даже таких, вечно не достать. А тут они неожиданно кончились. Тех, кому повезло, окружали и толкали остальные, не давая сбежать с добычей, а десятки других подступили к продавцу с обвинениями, что у него все только для своих и что наверняка под прилавком припрятан еще товар. Снова раздались вопли: две толстые бабы — у одной расстрепались волосы — рвали друг у друга из рук кастрюлю, а потом, вцепившись мертвой хваткой, каждая тянула в свою сторону, пока одна ручка не оторвалась. Уинстон с отвращением наблюдал за ними. А ведь какая пугающая сила послышалась на мгновение в этом вопле всего из нескольких сотен глоток! Почему они не кричат так ни по какому значимому поводу?

Он писал:

Пока не проснется их самосознание, они не восстанут, но их самосознание не может проснуться, пока они не восстанут.

А ведь это почти цитата из какого-нибудь партийного учебника. Партия заявляет, что освободила массы от рабства. До Революции их безжалостно угнетали капиталисты, морили голодом, пороли, женщин заставляли работать в шахтах (впрочем, они и теперь там работают), детей продавали в фабричное рабство с шестилетнего возраста. Но одновременно, согласно принципам двоедума, Партия учит, что массы — по природе своей низшие существа, которых нужно держать в подчинении, как животных, при помощи свода простых правил. На самом-то деле о массах мало что известно, да и незачем о них много знать. Пока они не перестают работать и размножаться, прочая их жизнедеятельность не представляет инте-

реса. Предоставленные себе, как скот на вольном выпасе в аргентинских пампасах, они скатились к образу жизни, который кажется для них естественным, в некотором роде унаследованным от предков. Рождаются под забором, идут работать в двенадцать лет, проходят через короткий период цветущей красоты и полового влечения, женятся в двадцать, к тридцати уже немолоды, а умирают по большей части к шестидесяти — тоже под забором. Тяжелый физический труд, забота о доме и детях, мелкие дразги с соседями, кинишко, футбол, пиво — и, самое главное, азартные игры — застят им все горизонты.

Держать их в узде нетрудно. Среди них всегда снуют немногочисленные агенты Думнадзора, распространяя ложные слухи, примечая и уничтожая тех немногих, в ком видят опасный потенциал. Но никто не пытается привить им идеологию Партии. Нецелесообразно развивать у масс сильные политические пристрастия. Все, что от них требуется, — примитивный патриотизм, к которому можно взывать, когда требуется удлинить им рабочий день или урезать пайку. А если они и проявляют недовольство — такое случается, — это ни к чему не приводит: незнакомые с фундаментальными идеями, они выдвигают лишь мелкие, конкретные требования. Масштабное зло всегда вне их поля зрения. У подавляющего большинства масс нет дома телевидов. Даже гражданская полиция почти не вмешивается в их дела. Лондон кишит преступниками. Воры, бандиты, проститутки, наркочилеры и рэкетеры всех мастей — это прямо таки город в городе. Но, поскольку все они действуют среди масс, этому не придается значения. В вопросах морали массам позволяют следовать обычаям предков. Им не навязывают партийного сексуального пуританства. Половая распущенность не наказывается, разводы допускаются. Разрешалось бы даже отправление религиозных

культов, будь в этом у масс хоть малейшая потребность. Они ниже подозрений. Партийный лозунг гласит: «Массы и животные свободны».

Уинстон наклонился и осторожно почесал язву на ноге. Опять зудит.

Главная загвоздка, думал он, в том, что о жизни до Революции ничего на самом деле неизвестно. Он вынул из ящика стола школьный учебник истории, который одолжил у миссис Парсонс, и начал переписывать из него в дневник:

В прежние времена, до великой Революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы знаем его сегодня. Он был темным, грязным, убогим, почти все недоедали, а у сотен и тысяч бедняков не было даже обуви на ногах и крыши над головой. Даже твои сверстники вынуждены были работать по двенадцать часов в день на жестоких хозяев, которые пороли их плеткой, если они работали слишком медленно. А питались они лишь герставыми корками да водой. Но среди этой ужасающей бедности возвышались большие, красивые дома, в которых жили богатые. Бывало, что и по тридцать слуг исполняли все прихоти одного богача. Такие богатые люди назывались капиталистами. Это были уродливые толстяки со злыми лицами, как на картинке на соседней странице. Посмотрите: этот капиталист одет в длинное платье, которое называлось фраком, и странную блестящую шляпу, похожую формой на пеглую трубу. Такая

шляпа называлась цилиндром. Это была форма капиталистов, и больше никому не разрешалось ее носить. Капиталисты владели всем на свете, а все люди были их рабами. Вся земля, и дома, и фабрики, и все деньги — все принадлежало капиталистам. Если кто-то их не слушался, они могли бросить его в тюрьму или отнять работу и уморить голодом. Когда обывочный человек говорил с капиталистом, то должен был кланяться, снимать шляпу и называть его «сэр». Главный капиталист назывался «король», и...

Уинстон знал, что там дальше. Непременно будут упомянуты епископы в длинных рясах, судьи в горностаевых мантиях, позорные столбы, пытки, плетки-семихвостки, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю Папе Римскому. Разве что о «праве первой ночи» в школьном учебнике, наверное, не говорится; это такой закон, по которому каждый капиталист имел право спать с любой из работниц своих фабрик.

Что из этого ложь — как знать? Может, и правда, что обычному человеку теперь лучше, чем до Революции. Ничто ведь не свидетельствует об обратном, кроме зудящего в тебе чувства протеста, безотчетного ощущения, что ты живешь в нестерпимых условиях и что когда-то все наверняка было иначе. Главная особенность нынешней жизни, подумалось вдруг ему, не ее суровость и постоянная неуверенность в будущем, а ее неприкрашенные убожество и унылость. Если осмотреться, не увидишь вокруг ничего похожего ни на вранье, льющееся из телевизора, ни на тот идеал, к которому стремится Партия. Даже для партийцев многое в этой жизни нейтрально

и аполитично — и им приходится корпеть над скучной работой, биться за место в метро, штопать заношенные носки, добывать сахариновые таблетки, бережно хранить окурки.

Партийный идеал — это нечто огромное, наводящее ужас, сверкающее. Мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и устрашающего оружия, мир воинов и фанатиков, марширующих только вперед и только в ногу, с одинаковыми мыслями в головах и одинаковыми лозунгами на устах, вечно трудящихся, борющихся, карающих, — триста миллионов людей, и все на одно лицо. А в жизни — разлагающиеся, запущенные города, где недокормленные людишки шаркают по улицам в дырявых ботинках, где в латаных-перелатаных домах девятнадцатого века всегда пахнет капустой и засорившимся туалетом. Ему представился Лондон, огромный полуразрушенный город миллиона мусорных баков, и на эту картину наложился образ морщинистой, жидковолосой миссис Парсонс, беспомощно суетящейся возле засоренной сливной трубы.

Он снова наклонился почесать лодыжку. День и ночь телевид ездит по ушам отчетами о том, насколько теперь больше еды и одежды и насколько лучше дома и развлечения, о том, что теперь живут дольше и счастливее, что рабочий день стал короче, а люди умнее и образованнее, чем пятьдесят лет назад. Ни слова из этого нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Партия заявляет, например, что среди масс теперь грамотны сорок процентов взрослых, а до Революции грамотных насчитывалось якобы только пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность сейчас — всего сто шестьдесят на тысячу, а до революции — триста. Список можно продолжать бесконечно. Но это как уравнение с двумя неизвестными. Легко может быть, что буквально каж-

дое слово в учебниках истории, даже те факты, которые никто не ставит под сомнение, — чистая фантазия. Как знать, может, и не было никогда никакого «права первой ночи», никаких капиталистов, никаких цилиндров. Все растворяется в тумане. Прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой.

Лишь однажды в жизни он держал в руках конкретное и неопровержимое доказательство уже свершившейся (вот что важно) фальсификации. Держал целых полминуты. Году в семьдесят третьем... примерно когда они расстались с Кэтрин. Но дело было в другой дате, семью-восемью годами раньше.

Началась эта история на самом деле в середине шестидесятых, в период больших чисток, в которых навеки сгнули первые вожди Революции. К семидесятому году не осталось никого из них, кроме Старшего Брата. Остальных к тому времени разоблачили как предателей и контрреволюционеров. Гольдштейн бежал и теперь неведомо где прятался, а что до прочих — одни просто исчезли, а других казнили после показательных процессов, на которых они сознавались в преступлениях. Дольше других продержались трое — Джонс, Аронсон и Резерфорд. Арестовали их году в 1965-м. Как это часто бывало, они исчезли на год или больше, так что никто не знал, живы они или умерли, а потом их вдруг вывели, чтобы они, как обычно, очернили себя. Они сознались в шпионаже в пользу противника (как и сейчас, Евразии), расхищении государственных средств, убийстве видных партийцев, интригах против Старшего Брата, начавшихся задолго до Революции, и в актах вредительства, повлекших смерть сотен тысяч людей. После признания всех троих помиловали, восстановили в Партии и назначили на должности — вроде бы важные, а по сути синекуры. Все трое писали длинные, покаянные статьи в «Таймс»,

в которых анализировали причины своего предательства и обещали исправиться.

Вскоре после их освобождения Уинстон своими глазами видел всю троицу в кафе «Каштан». Ему помнилось, с каким любопытством, смешанным со страхом, он наблюдал за ними краешком глаза. Они были гораздо старше него — осколки старого мира, едва ли не последние из великих, из свидетелей героического прошлого Партии. Романтический ореол подполья и гражданской войны еще не совсем стерся. Хотя уже тогда факты и даты слегка поплыли, Уинстону казалось, что он знал их имена еще до того, как услышал о Старшем Брате. И все же они — вне закона, враги, неприкасаемые и, несомненно, обреченные на гибель через год-другой. Побывав в лапах Думнадзора, уже не вывернешься. Все трое — выкопанные трупы, ожидающие отправки обратно в могилу.

За столики по соседству с ними никто не садился. Даже приближаться к таким, как они, — неблагоприятно. Они молчали над стаканами гвоздичного джина — специалитета кафе «Каштан». Из троих самое сильное впечатление на Уинстона произвел Резерфорд. Когда-то он был знаменитым карикатуристом, чьи безжалостные рисунки разжигали страсти в обществе и до, и во время революции. Даже сейчас, хоть и с большими промежутками, его карикатуры публиковались в «Таймс». На удивление безжизненные и неубедительные, они лишь имитировали его прежнюю манеру, почти всегда возвращаясь к старым темам: трущобам, голодным детям, уличным боям, капиталистам в цилиндрах. Даже на баррикадах капиталисты не расставались со своими цилиндрами в неизбывном, безнадежном стремлении вернуться в прошлое.

Резерфорд — брутальный гигант с гривой сальных седых волос и обвисшим, изрезанным морщинами лицом, на котором выделялись толстые, как у африканца, губы.

Когда-то он, наверное, был силачом. Теперь его мощное тело обвисало, горбилось, вспучивалось, распадалось — так осыпается гора.

Время было неурочное — пятнадцать часов. Уинстон даже не помнил, что привело его в этот час в кафе. Оно почти пустовало. Дребезжащая музыка слышалась из телевидов. Трое сидели в своем углу почти неподвижно и не разговаривали. Официант, не спрашивая, подливал джин. На столе — шахматная доска с расставленными фигурами, но партия все не начиналась. Вдруг, примерно на полминуты, что-то произошло с телевидами. Звучавшая из них мелодия сменилась, а с ней и сам характер музыки. В ней послышалось — трудно описать, но нечто странное, надтреснутое, издевательское, похожее на ослиный рев. Нечто... желтое, как про себя решил Уинстон. И тут из телевида раздался голос певца:

Рос каштан посреди луга,
Там мы продали друг друга —
Я тебя, а ты меня,
Там, под деревом вранья*.

Трое даже не шелохнулись. Но когда Уинстон снова кинул взгляд на помятое лицо Резерфорда, то увидел в его глазах слезы. И впервые заметил с невольным содроганием, даже не понимая, почему его пробрала дрожь: у Аронсона и Резерфорда были сломаны носы.

Скоро всех троих снова арестовали. Они якобы сразу после освобождения стали плести новые заговоры. На втором процессе они снова сознались во всех прежних преступлениях и в целой серии новых. Их казнили

* Отсылка к песне «The Chestnut Tree», известной в исполнении оркестра Гленна Миллера. В ней под каштаном целуются счастливые влюбленные. — *Здесь и далее прим. пер.*

и написали об этом в учебниках истории Партии — в назидание потомкам... А лет через пять, в семьдесят третьем, Уинстон, разворачивая пачку документов, только что вывалившуюся ему на стол из пневмотрубы, вдруг обнаружил листок, явно угодивший в эту пачку случайно. Всю его важность Уинстон осознал, как только расправил. Он держал в руках половину полосы «Таймс» десятилетней давности — верхнюю половину, с датой. На ней — фотография делегатов какого-то партийного мероприятия в Нью-Йорке. В центре группы — Джонс, Аронсон и Резерфорд, ни с кем не перепутаешь, да и в подписи указаны фамилии.

Но дело в том, что на процессе все трое дали показания, будто находились в тот день в Евразии: якобы прилетели с секретного аэродрома в Канаде куда-то в Сибирь, на тайную сходку с офицерами Евразийского генштаба, которым и выдали ценную военную информацию. Дата застряла в памяти Уинстона: день летнего солнцестояния. Да ее можно и сверить, о процессе много писали. Вывод мог быть только один: признания — вранье.

Конечно, это само по себе не открытие. Уже тогда Уинстон не мог себе представить, что люди, сгинувшие в чистках, на самом деле совершили преступления, в которых их обвиняли. Но вот в его руках конкретное доказательство, фрагмент отмененного прошлого. Так одна ископаемая окаменелость, обнаруженная не в том слое, опровергает гипотезу геолога. Это доказательство может разорвать Партию в клочья, если как-то донести его до людей и разъяснить его значение.

Как только Уинстон понял, что перед ним за фотография, он накрыл ее другим листком бумаги. К счастью, когда он ее развернул, из телевида она просматривалась вверх ногами. Он положил на колено рабочий блокнот и оттолкнул стул как можно дальше от телевида. Сохранять

нейтральное выражение лица нетрудно, даже дыханием можно управлять, приложив немного усилий. Но, когда колотится сердце, ничего не сделаешь, а телевид достаточно чувствителен, чтобы это уловить. Он выждал, как ему показалось, минут десять, мучимый страхом, что какая-нибудь случайность его выдаст — например, внезапный сквозняк сдует бумаги со стола. А потом опустил фотографию в провал памяти вместе с листом, которым ее прикрывал, и с другими бумажками. Не прошло, вероятно, и минуты, как она обратилась в пепел.

Это случилось лет десять-одиннадцать назад. Сегодня он, наверное, сохранил бы фотографию. Интересно: то, что он держал ее в руках, казалось значимым даже теперь, когда от фотографии и от запечатленного на ней события осталось лишь воспоминание. Неужели, думал Уинстон, власть Партии над прошлым слабеет просто потому, что документальное доказательство, которого больше не существует, когда-то существовало?

Впрочем, даже если фотографию можно было бы восстановить из пепла, теперь она, возможно, уже никакого не доказательство. Уже когда Уинстон сделал свое открытие, Океания больше не воевала с Евразией — а значит, трое покойников продавали страну агентам Остзии. С тех пор враг еще не раз менялся — дважды, трижды, он точно не помнил. Вполне возможно, показания переписывали столько раз, что исходные факты и даты утратили всякое значение. Прошлое не просто менялось — оно менялось непрерывно. Как в кошмарном сне, он не мог понять главного: зачем вообще нужен этот грандиозный подлог? Сиюминутная выгода от фальсификации прошлого очевидна, но конечная цель — тайна, покрытая мраком. Он взял ручку и написал:

Я понимаю КАК. Я не понимаю ЗАЧЕМ.

Как уже не раз бывало, он задумался, не сошел ли с ума. Может, безумец — это просто меньшинство из одного человека? Когда-то признаком безумия считалась убежденность, что Земля вращается вокруг Солнца. Теперь — вера в неизменяемость прошлого. Быть может, он один в нее верит, а если он один — значит, безумен. Но мысль о сумасшествии не слишком его встревожила: страшнее, если он еще и неправ.

Он снова взял со стола учебник истории и всмотрелся в портрет Старшего Брата на фронтисписе. Ему ответил гипнотический взгляд. Словно какая-то мощная сила давит, давит, проникает в черепную коробку, стискивает мозг, заменяет убеждения страхом, заставляет не верить собственным глазам и ушам. В конце концов, когда Партия объявит, что дважды два — пять, придется поверить и этому. А она объявит неизбежно, этого требует логика партийного подхода. Философия Партии активно, пусть и не открытым текстом, отрицает не только объективность опыта, но и само существование окружающей действительности. Здравый смысл — вот главная ересь. И страшно даже не то, что Партия убьет тебя за инакомыслие, а то, что именно она, быть может, права. Ведь откуда мы знаем, что дважды два — четыре? Или что существует сила земного притяжения? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и внешний мир существуют лишь в сознании, а сознание управляемо — что тогда?

Ну уж нет! Уинстон почувствовал, как его решимость вдруг окрепла. Перед глазами возникло лицо О'Брайена — вне всякой связи с предыдущими раздумьями. Теперь он пуще прежнего верил, что О'Брайен на его стороне. Вот для кого он пишет дневник — для О'Брайена, вернее, даже О'Брайену: это такое бесконечное письмо, которое никто никогда не прочтет, но которому придает окраску наличие конкретного адресата.

Партия требует не верить глазам и ушам. Это ее главное и важнейшее требование. Сердце его сжалось при мысли о том, какая огромная сила ему противостоит, с какой легкостью любой партийный интеллеktуал обставил бы его на диспуте. Изошренные аргументы такого противника Уинстон не смог бы даже понять, не то что парировать. И тем не менее прав-то он, Уинстон! Он прав, а они неправы. Очевидность, простоту и правду надо защищать. Банальности верны, на том стоим! Объективная реальность существует, ее законы неизменны. Камни твердые, вода мокрая, а лишённые опоры предметы падают в направлении центра Земли.. Как бы разговаривая с О'Брайеном, но также и вверяя бумаге важную аксиому, он записал:

Свобода — это свобода говорить, что дванжды два — четыре. Если она есть, все прочее — лишь следствия.

8.

В воздухе плыл запах жареного кофе — настоящего, не марки «Победа». Уинстон невольно замедлил шаг, на пару секунд оказавшись в полузабытом мире детства. Хлопнула дверь, и запах заглох, словно звук.

Уинстон прошел пешком уже несколько километров. Язва на ноге свербела. Уже во второй раз за три недели Уинстон не появился вечером в культурно-спортивном центре — безрассудный поступок, ведь за посещаемостью наверняка строго следят. В принципе, у партийцев не бывает свободного времени и одиночество дозволено им лишь в постели. Когда партиец не работает, не ест и не спит, он должен принимать участие в коллективных развлечениях. Занятия, выдающие склонность к уединению, даже одинокие прогулки, всегда немного опасны. Для них есть новоречное слово — «самобыт», то есть индивидуализм и эксцентричность. Но этим вечером, выйдя из главка, Уинстон соблазнился мягкой апрельской погодой. Впервые в этом году небесная синева приобрела теплый оттенок. Перспектива долгого и шумного вечера в КСЦ, с нудными бесконечными играми, лекциями и натужным товариществом, подогретым джином, показалась Уинстону невыносимой. Неожиданно для самого себя он свернул в другую сторону от автобусной остановки, в лабиринт лондонских улиц, и побрел сперва на юг, потом на восток, потом на север, пока не заблудился и ему не стало все равно, в каком направлении идти.

«Если и есть надежда, то только на массы», — записал он в дневнике. Эти слова, выражающие мистическую истину и одновременно абсурдные, не шли у него из головы. Он забрел в какие-то безликие, землистого цвета трущобы к северо-востоку от бывшего вокзала

Сент-Панкрас и шел по мощенной булыжником улице между рядами двухэтажных домишек с облупленными дверями, выходявшими прямо на тротуар и чем-то напоминавшими крысиные норы. На мостовой повсюду грязные лужи. Хлопают двери, в переулках роится толпа. Цветущие девицы с грубо накрашенными губами, глазающие на них юнцы, опухшие, переваливающиеся, словно утки, бабы — такими девицы станут через десять лет — да шаркающие согбенные старики. В лужах возьятся оборванные босоногие дети — и бросаются врассыпную от сердитых материнских окриков. Чуть ли не каждое четвертое окно — без стекол, забито досками.

На Уинстона почти никто не обращает внимания. Некоторые прохожие разглядывают его настороженно и с любопытством. У одной из дверей остановились поговорить, скрестив красные ручищи, две чудовищно толстые тетки в передниках. Проходя мимо, Уинстон расслышал обрывки их разговора.

—...Вот я и говорю ей, это все, конечно, верно, грю, но на моем месте и ты бы так сделала. Судить легко, грю, тебе бы мои заботы.

— Ага, — вторила другая. — Точно. Так и есть.

Их резкие голоса вдруг смолкли. Женщины молча, враждебно уставились на него, выжидая, пока он пройдет мимо. На самом деле это не вражда, подумал Уинстон, просто настороженность, обостренная бдительность, как при виде какого-нибудь неизвестного животного. Партийцы в синих комбинезонах — едва ли частые гости на такой улице, как эта. Да и неразумно появляться в таких местах без дела. Налетишь на патруль — могут и остановить: «Предъявите документы, товарищ. С какой целью здесь? Во сколько ушли с работы? Какой дорогой обычно ходите домой?» — и так далее и тому подобное. Не то чтобы запрещалось ходить домой необычным

маршрутом, но если Думнадзор узнает — тобой могут заинтересоваться.

Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались крики «Берегись!». Люди, как зайцы, прыгнули к дверям. Из подъезда выскочила молодая женщина, подхватила игравшего в луже малыша, завернула в передник и снова спряталась — все это как бы одним движением. Из переулка выскочил мужичок в мятом черном костюме. На бегу крикнул Уинстону, возбужденно тыча пальцем в небо: «Дымовуха! Поберегись, командир! Падай, ща рванет!»

«Дымовухами» массы почему-то называли ракеты. Уинстон тут же упал ничком. К такому предупреждению всегда лучше прислушаться. Массы безошибочно, будто инстинктивно чувят ракету на подлете, за несколько секунд до взрыва, хоть она вроде бы и сверхзвуковая. Уинстон сцепил руки на затылке. Грянул гром, показалось, что мостовая вздыбилась, какой-то мусор посыпался ему на спину. Поднявшись, он обнаружил, что весь в осколках стекла из окон соседнего дома.

Он двинулся дальше. Ракета смела несколько домов в двухстах метрах отсюда. Над воронкой повисли клубы черного дыма, а чуть ниже — облако известковой пыли. В этом облаке вокруг руин уже собиралась толпа. Перед Уинстоном на мостовую навалило целую кучу отколовшейся штукатурки. Посреди он увидел что-то ярко-красное. Подойдя, понял, что это оторванная человеческая кисть. Краснело только место отрыва, а сама она побелела, как гипсовая.

Носком ботинка он спихнул кисть в сточную канаву и свернул направо, в переулок, чтобы обойти толпу. Минуты через три-четыре место падения ракеты осталось далеко позади. Здесь — обычное копошение и толчея, словно ничего не произошло. Уже почти двадцать часов, и питей-

ные заведения, где часто проводят время массы («пабы», как они их называют), заполнились до отказа. Из чумазных распашных дверей, не знающих ни секунды покоя, несло мочой, опилками и кислым пивом. В закутке за выступающим на тротуар углом дома трое мужчин, сгрудившись, разглядывали газету, которую развернул один из них. Еще издали, не видя лиц, по позам Уинстон понял, насколько они поглощены чтением. До них оставалось несколько шагов, как вдруг между двоими из группы завязалась перепалка. Казалось, вот-вот дойдет до драки.

— Ты меня вообще слышишь, нет? Ни один номер с семеркой на конце уже больше года не выигрывал, понял?

— Выигрывал ваще-то!

— А вот ни хрена! У меня дома все тиражи за два года записаны. Ни одного не пропускаю, у меня как в аптеке. Говорю тебе, ни один номер с семеркой на конце...

— Да выигрывала же семерка! погоди, шас даже точный номер припомню. Четыре ноль семь на конце. В феврале это было, вторая неделя февраля.

— Хрен тебе, а не в феврале. У меня все черным по белому записано. Говорю тебе, ни один номер...

— Да завязывайте уже, — вмешался третий.

Они спорили о Лотерее. Пройдя еще тридцать метров, Уинстон обернулся. Они все еще переругивались, яростно, со страстью.

Еженедельная лотерея с огромными выигрышами — единственное событие общественной жизни, которым всерьез интересуются массы. Вполне возможно, миллионы масс живут главным образом ради Лотереи. Она — их счастье, их забава, утешение и пища для ума. Даже те, кто едва умеет читать и писать, способны на сложнейшие вычисления и являют чудеса памяти, когда речь заходит о Лотерее. Есть даже особая каста, живущая продажей

систем, прогнозов и талисманов. Уинстон не имел никакого отношения к Лотерее, ею занимается Главбог, — но знал, как и все партийцы, что выигрыши по большей части вранье. Выплачиваются на самом деле только маленькие суммы, а большие «выигрывают» несуществующие персонажи. Поскольку между разными частями Океании почти нет сообщения, это нетрудно устроить.

Если есть надежда, то только на массы. Нельзя ее терять. На словах вроде бы логично. А вот когда видишь на улице этих людишек, без веры уже никак. Переулок, куда он свернул, спускался под гору. Ему казалось, что он уже бывал в этих местах и что недалеко отсюда широкая оживленная улица. Где-то впереди послышались крики. Дорога резко свернула и превратилась в лестницу. Внизу — еще один переулок, где несколько лотошников торгуют вялыми овощами. Тут Уинстон вспомнил это место. Переулок выводит к широкой улице, а за следующим поворотом, минутах в пяти, та лавка старьевщика, где он купил тетрадь, ставшую его дневником. А неподалеку оттуда, в писчебумажной лавке, он приобрел перьевую ручку и склянку чернил.

Он ненадолго остановился на верхней ступеньке лестницы. Там, внизу, на другой стороне переулка — грязная пивнушка, окна которой словно покрыты инеем, а на самом деле — пылью. Древний старик, сгорбленный, но подвижный, с седыми усами, которые топорщились, как у креветки, толкнул распашную дверь и зашел в заведение. А ведь ему лет восемьдесят, подумал Уинстон: значит, он был уже немолод, когда произошла Революция. Он и горстка людей вроде него — единственное, что связывает нынешний мир с исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии осталось не так много людей, чьи взгляды сформировались до Революции. Старшее поколение по большей части истребили во время боль-

ших чисток пятидесятых и шестидесятых, а немногих выживших страх принудил к полной интеллектуальной капитуляции. Если и есть живой человек, способный правдиво рассказать о жизни в начале века, — это человек из масс. Уинстону вдруг вспомнился абзац из учебника истории, который он переписал в дневник, и его захватила безумная идея. Зайти сейчас в паб, заговорить со стариком, расспросить его: «Расскажите, как вам жилось, когда вы были мальчишкой? Каково было тогда? Лучше, чем теперь, или хуже?»

Торопливо, чтобы не дать себе времени испугаться, он спустился по лестнице и перешел переулок. Безумие, конечно. Естественно, разговаривать с массами и заходить в их пабы прямо не запрещено, но это слишком странно, чтобы пройти незамеченным. Если явится патруль, можно притвориться, что ему стало плохо, вот и зашел сюда, но вряд ли патрульные поверят. Уинстон толкнул дверь. В нос ударил отвратительный сырнй дух кислого пива. Стоило ему зайти, как галдеж стал вполтину тише. Он спиной чувствовал, как все пялятся на его синий комбинезон. Партия в дартс на другом конце комнаты приостановилась на полминуты. Старик, за которым пошел Уинстон, стоял у барной стойки и о чем-то препирался с барменом, ширококостным, горбоносым детской с мощными ручищами. Кучка других посетителей со стаканами в руках наблюдала за сценой.

— Я ж тебя вежливо попросил, так? — старик расправил плечи, будто готовился к драке. — Хочешь сказать, что в этой помойке нету кружки в одну пинту?

— Да что это блин, вообще за пинта такая? — спросил бармен, упершись кончиками пальцев в стойку.

— Слышите, что несет? А еще бармен! Что такое пинта, он не знает. Пинта — это половина кварты, а четыре кварты — галлон. Может, тебе еще азуку объяснить?

— Первый раз слышу, — отрезал бармен. — Могу налить литр, могу пол-литра. Вон стаканы на полке у тебя перед носом.

— Мне надо пинту, — настаивал старик. — Что тебе стоит пинту налить? Когда я был молодой, не было никаких сраных литров.

— Когда ты был молодой, люди, поди, на деревьях жили, — сказал бармен, подмигнув другим посетителями.

Те расхохотались, и замешательство, возникшее, когда вошел Уинстон, как будто рассеялось. Покрытое седой щетиной лицо старика порозовело. Он повернулся, что-то бормоча себе под нос, и налетел прямо на Уинстона. Тот деликатно поддержал его.

— Позвольте вас угостить?

— Вот спасибо тебе, мил человек, — старик снова расправил плечи. — Пинту! — с вызовом приказал он бармену. — Пинту пошла!

Бармен нацедил им темного пива в полулитровые стаканы толстого стекла, предварительно ополоснув их в ведре под стойкой. Кроме пива, в пабах для масс ничего не наливают. Джин массам не полагается, хотя они довольно легко могут его раздобыть.

Метатели дротиков снова вошли в раж, а столпившиеся у стойки принялись обсуждать лотерейные билеты. О присутствии Уинстона на время забыли. За грубо сколоченным столом у окна можно поговорить со стариком, не боясь, что их подслушают. Все это, конечно, жутко опасно, но хотя бы телевида здесь нет — в этом Уинстон удостоверился, едва войдя.

— А мог бы и не жмотиться, пинту мне налить, — ворчал старик, усаживаясь перед стаканом. — Пол-литра мало. Удовольствие не то. А целый литр — много, только и бегай в сортир. Не говоря уж про цену.

— Со времен вашей молодости, наверное, многое изменилось, — сказал Уинстон как бы между прочим.

Старик перевел бледно-голубые глазки с мишени для дротиков на барную стойку, а оттуда на дверь туалета, как будто в этом периметре как раз и имели место перемены.

— Пиво было лучше, — сказал он наконец. — И дешевле! Когда я молодой был, слабое пиво — пойлом мы его называли — было по четыре пенса за пинту. Но это до войны, конечно.

— До какой войны? — спросил Уинстон.

— А до всех войн, — туманно ответил старик. Он поднял стакан и снова расправил плечи. — Ну, доброго тебе здоровьичка.

Острый кадык на тощей шее удивительно быстро задвигался вверх-вниз, и стакан опустел. Уинстон сходил к стойке и вернулся еще с двумя пол-литровыми кружками. Старик, похоже, забыл о своем предубеждении против целого литра.

— Вы намного меня старше, — сказал Уинстон. — Наверняка были уже взрослым, когда я родился. Значит, помните, каково было в старые времена, до Революции. Мои ровесники ничего о том времени не знают. Разве что в книгах читали, а в книгах, может, и не все правда. Хотелось бы узнать ваше мнение. В учебниках истории пишут, что до Революции все было совсем по-другому, не так, как теперь. Пишут про кошмарный гнет, несправедливость, какую-то невообразимую нищету. Пишут, что здесь, в Лондоне, люди в большинстве своем всю жизнь голодали, а у половины даже ботинок не было. Работали по двенадцать часов в день, школу бросали в девять лет, спали по десять человек в одной комнате. Пишут еще, что очень немногие — капиталисты, как их называли, — прибрали к рукам все богатство и всю

власть. Им принадлежала вся собственность. Жили они в огромных, роскошных домах с тридцатью слугами, раскатывали повсюду в автомобилях и экипажах, запряженных четверкой лошадей, пили шампанское, носили цилиндры...

Лицо старика вдруг прояснилось.

— Цилиндры! — сказал он. — И ты туда же! Я вчера тоже о них вспоминал, непонятно, с чего бы. Как раз думал, что много лет уже цилиндра не видал. Как ветром их сдуло. Я последний раз на золовкины похороны надевал. А было это — точно не скажу, но лет пятьдесят тому. Ну, я, понятное дело, только напрокат брал для такого случая.

— Цилиндры — это не очень важно, — терпеливо сказал Уинстон. — Суть в том, что эти капиталисты да еще горстка адвокатов, священников и прочей их obsługi правили миром. Все было устроено ради их выгоды. Вы — обычные люди, рабочие — были их рабами. Они могли с вами делать, что заблагорассудится. Могли отправить в Канаду, как скот. Могли спать с вашими дочерьми, если захотят. Могли велеть выпороть вас этой... плеткой-семихвосткой. Проходя мимо них, вы снимали шляпы. Каждый капиталист ходил с оравой лакеев, и они...

— Лакеев! — сказал старик, и на лице его снова отразилась радость узнавания. — Давно этого слова не слышал. Лакеи! Помню как вчера, а ведь в допотопные времена дело было, — хаживал я в Гайд-парк в воскресенье вечером послушать, как речи толкают. Разные там собирались — и из Армии спасения, и католики, и евреи, и индусы. А один — как звали, не знаю, но оратор был что надо. Спуску им не давал. «Лакеи, — говорит, — лакеи буржуазии! Прислужники правящего класса». И паразитами их еще припечатывал. И гиенами — точно, гиенами. Это он, понимаешь, про лейбористов.

Уинстону никак не удавалось оказаться со стариком на одной волне.

— Вообще-то я вот что хотел узнать, — сказал он. — Сейчас у вас больше свободы, чем в то время? С вами теперь обращаются человечнее? В прежние времена богатые, власть...

— Палата лордов, — вставил старик мечтательно.

— Да, палата лордов, если хотите. Эти люди вправду обращались с вами как с низшим просто потому, что они богатые, а вы бедный? Вам правда нужно было говорить им «сэр» и снимать перед ними шляпу?

Старик, казалось, глубоко задумался. Прежде чем ответить, отхлебнул с четверть стакана пива.

— Да, — сказал он. — Любили они, чтоб им козыряли. Уважение чтоб показывали. Мне-то это не больно нравилось, но я тоже так делал. А что, иначе никак.

— А было в ваше время обычным делом — это я просто учебник истории пересказываю, — что эти люди и их слуги сталкивали таких, как вы, с тротуара в канаву?

— Толкнул меня один такой, — сказал старик. — Как сейчас помню. После регаты дело было, вечером — под вечер после регаты всегда народ гулял вовсю — и вот на Шафтсбери-авеню столкнулся я с одним молодцом. Разряжен в пух и прах — белая сорочка, цилиндр, черный фрак. Мотало его по всей мостовой, ну я и врезался в него случайно. «Смотри, куда прешь!» — говорит. А я ему: «Ты эту улицу купил, что ли?» А он: «Будешь борзеть, башку откручу!» А я ему: «Ты пьян, вот как сдам тебя в участок!» Верить, нет — схватил меня за грудки и как пихнет, я чуть под автобус не попал. Ну, я тогда молодой был, хотел было закатать ему как следует, да только...

Уинстона охватила беспомощность. Память старика — какая-то помойная куча подробностей. Можно хоть весь день его расспрашивать — ничего полезного не выудишь.

Может, в партийных учебниках все-таки правда — в некотором смысле? А может, и вообще все правда? И Уинстон сделал последнюю попытку.

— Может, я неясно выразился... — начал он. — Смотрите, что я имел в виду. Вы давно живете на свете, прожили полжизни до Революции. В 1925-м, например, были уже взрослым человеком. Вот как вы сами помните: жизнь в 1925 году была лучше, чем теперь, или хуже?

Старик задумчиво уставился на мишень для дротиков. Допил пиво медленнее, чем раньше. А когда заговорил, то с видом философского смирения, будто пиво его смягчило.

— Знаю я, к чему ты клонишь, — сказал он. — Что мне бы хотелось вернуть молодость. Кого ни спроси, все так и скажут. В молодости и сил побольше, и здоровья. А в моем-то возрасте что — одни болезни. И ноги болят, и недержание заело совсем. Шесть, а то и семь раз за ночь с кровати вскакиваю. Но, с другой-то стороны, есть и свои большие плюсы. Нету в старости тех забот. С бабами, главное, дела иметь не надо. У меня уж лет тридцать бабы не было, веришь, нет? И не надо, понял?

Уинстон откинулся на стуле, уперся спиной в подоконник. Продолжать бессмысленно. Только он собрался заказать еще пива, как старик внезапно встал и зашаркал в вонючий сортир в углу зала. Лишние пол-литра даром не прошли. Уинстон посидел минуту-другую над пустым стаканом — и сам не заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. Лет через двадцать, думал он, простой вопрос — лучше ли было до Революции, чем теперь? — сделается неразрешимым, и уже навсегда. Да он, строго говоря, и сейчас неразрешим, потому что свидетелей старого мира осталось немного, да и те не способны сравнить одну эпоху с другой. Помнят миллион бесполезных мелочей — ссору с товарищем по работе,

поиски пропавшего велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, завихрения пыли ветренным утром семьдесят лет назад. А все важное выпало из поля зрения. Они как муравьи — видят только мелкие предметы, а большие не различают. А если и память отказала, и письменные источники подделаны, то утверждения Партии, что она улучшила условия жизни, приходится принимать на веру — ведь их не с чем сравнить и всегда будет не с чем.

Тут ход его мыслей прервался. Он остановился и поднял глаза. Узкий переулок, несколько темных лавчонок между жилыми домами. Прямо над головой — три потемневших металлических шара, которые, решил Уинстон, когда-то явно сверкали позолотой. Вроде бы знакомое место. Ну да, конечно! Он у входа в лавку, где купил дневник.

Уинстона передернуло от страха. Он и так совершил безрассудный поступок, купив тетрадь, и дал себе слово впредь избегать этого места. И вот, пожалуйста: стоило ненадолго задуматься, как ноги сами принесли его сюда. Вот от таких самоубийственных импульсов Уинстон и надеялся защититься, заведя дневник. Само собой бросилось в глаза, что лавка еще открыта, хотя уже почти двадцать один час. Рассудив, что внутри он будет привлекать меньше внимания, чем на улице перед витриной, он ступил за порог. Если спросят, скажет, что искал лезвия.

Керосиновая лампа под потолком чадила вонюче, но почему-то уютно. Ее только что зажег лавочник — лет шестидесяти, худой, сутулый, с добродушным лицом, на длинном носу очки с толстыми стеклами. Волосы почти седые, но мохнатые брови по-прежнему черные. Очки, обезоруживающе суетливые движения и старый, черного бархата пиджак лавочника придавали ему некий

интеллигентский шарм, будто он литератор или, скажем, музыкант. Он сказал тихим, словно выцветшим голосом, без обычного для масс вульгарного выговора:

— Я вас узнал — еще там, на улице. Вы тот господин, который купил девичий альбом. Красивая бумага, да. Кремовая верже, как раньше говорили. Пожалуй, лет уж пятьдесят как ее не делают. — Он внимательно посмотрел на Уинстона поверх очков. — Я могу вам чем-нибудь помочь? Или вы хотели бы сперва осмотреться?

— Я просто мимо проходил, — замялся Уинстон. — Вот и зашел. Мне ничего особенного не нужно.

— Это не беда. Я и не думаю, что вам у меня понравится. — Лавочник сделал как бы извиняющийся жест мягкой ладонью. — Сами видите, лавка почти пустая. Между нами говоря, антикварное дело умирает. Нет больше ни спроса, ни товара. Мебель, фарфор, стекло — все постепенно побилось, поломалось. А металл по большей части переплавили. Уж и не помню, когда я в последний раз видел бронзовый канделябр.

На самом деле тесная лавка была набита битком, но почти ничто в ней не представляло ни малейшей ценности. Негде было ступить из-за прислоненных к стенам пыльных картинных рам. В витрине — подносы со всякой мелочевкой, негодными долотами, перочинными ножами со сломанными лезвиями, побитыми часами, которые даже издали не примешь за исправные, и прочим разносортным мусором. Только россыпь всяких мелких штучек на столике в углу — лакированных табакерок, агатовых брошек и прочих безделушек — обещала хоть какие-то интересные находки. Уинстон подошел к столику, и взгляд его упал на нечто круглое, гладкое, тускло отражавшее свет лампы.

Он взял в руки тяжелую стеклянную полусферу. Цветом и текстурой она напоминала каплю дождевой

воды. А внутри, под увеличительной линзой выпуклого стекла, — странный, вычурный розовый предмет, напоминающий цветок или актинию.

— Что это? — спросил очарованный Уинстон.

— А, это коралл, — ответил старик. — Думаю, из Индийского океана. Их раньше вплавляли вот так в стекло. Этой штучке не меньше ста лет, а то и побольше.

— Красивая, — сказал Уинстон.

— Красивая, — благодарно кивнул лавочник. — Хотя в наше время ценителей мало. — Он кашлянул. — Ну, если бы вы вдруг захотели ее купить, она обошлась бы вам в четыре доллара. В прежние времена такая стоила фунтов восемь, а восемь фунтов — перевести, пожалуй, не смогу, но это была серьезная сумма. А теперь кому есть дело до настоящих старинных вещей — даже до тех немногих, что остались?

Уинстон немедленно заплатил четыре доллара и сунул желанную добычу в карман. Вещица притягивала его не столько красотой, сколько своей очевидной связью с другой эпохой, совершенно не похожей на нынешнюю. Мягко, как дождевая вода, поблескивающее стекло выглядело непривычно. А явная бесполезность вещицы только добавляла ей привлекательности, хотя, предположил Уинстон, раньше ее, вероятно, использовали как пресс-папье. Стекляшка оттягивала ему карман, но, к счастью, не слишком выпирала. Ведь штуковина-то странная, даже компрометирующая — не пристало партийцу носить с такой. Все старое, да и все красивое всегда вызывает смутные подозрения.

Старик заметно взбодрился, получив четыре доллара. Уинстон понял, что он был бы рад и трем, а то и двум.

— Наверху еще одна комната, не хотите ли взглянуть? — сказал он. — Там не так уж много вещей. Если пойдем наверх, надо лампу захватить.

Он зажег еще одну лампу и, ссутулившись, стал взбираться впереди Уинстона по крутым стертým ступеням. Узкий коридор привел их в комнату с окнами не на улицу, а на мощный двор и на лес печных труб. Уинстон заметил, что комната обставлена как жилая. На полу — ковровая дорожка, на стенах несколько картин, к камину придвинуто продавленное, обшарпанное кресло. Старинные часы в стеклянном ящике — с двенадцатичасовым циферблатом — тикали на каминной полке. Под окном — огромная, почти в четверть комнаты, кровать, на ней матрас: хоть сейчас застилай.

— Мы здесь жили, пока жена не умерла, — сказал старик извиняющимся тоном. — Теперь вот распродают мебель понемногу. Прекрасная кровать красного дерева — клопов только вывести. Но для вас, пожалуй, слишком громоздкая.

Он поднял лампу повыше, чтобы осветить комнату, и в теплом, тусклом свете она показалась Уинстону на удивление уютной. У него в голове мелькнуло: а ведь, наверное, нетрудно было бы снять ее за несколько долларов в неделю, хоть это и рискованно. Дикая, негодная мысль — забыть сейчас же! Но комната пробудила в нем ностальгию по утраченному прошлому. Ему казалось, он знает, как это — сидеть в кресле у открытого огня, положив ноги на каминную решетку и поставив чайник на полочку над пламенем, в полном одиночестве, в полной безопасности, вдали от чужих глаз, навязчивых голосов и любых звуков, кроме пения чайника и дружелюбного тиканья часов.

— Телевида нет, — пробормотал он невольно.

— Верно, — сказал старик. — У меня и не было никогда. Слишком дорого. Да и потребности как-то не испытываю. А вот, в углу, отличный раскладной стол. Петли, конечно, поменять придется, если захотите раскладывать.

В другом углу обнаружился небольшой книжный шкаф, и Уинстона потянуло к нему. Внутри — ничего, кроме мусора. В кварталах, где жили массы, книги выявляли и уничтожали с не меньшим рвением, чем в партийных. Вряд ли где-либо в Океании сохранилась хоть одна книга, напечатанная до 1960 года.

Старик, все еще с лампой в руке, стоял перед картиной в раме розового дерева, висевшей рядом с камином, напротив кровати.

— Если вас интересуют старинные гравюры... — начал он осторожно.

Уинстон подошел, чтобы рассмотреть картину. Офорт изображал здание с закругленной крышей и прямоугольными окнами, башенкой в центре и балюстрадой по всему периметру. Впереди — какая-то статуя. Уинстон пригляделся: здание казалось смутно знакомым, хотя статую он не припоминал.

— Рама приделана к стене, — заметил старик, — но, пожалуй, для вас я мог бы отвинтить.

— Я знаю это здание, — вымолвил Уинстон. — Оно сейчас в руинах. На той же улице, где Дворец правосудия.

— Верно. Рядом с судебным кварталом. Разбомбили его году в... В общем, много лет назад. Одно время в нем была церковь — Святого Климента Датского, так она называлась. Апельсин да лимон, у Климента слышен звон, — добавил он с извиняющейся улыбкой, будто понимая, что несет чепуху.

— Вы о чем? — не понял Уинстон.

— Ну, «Апельсин да лимон, у Климента слышен звон» — так начиналась детская песенка*. Забыл, как там дальше, только конец помню: «Вот тебе свечка, чтоб

* Народная песенка и игра, которую она сопровождает. В первой строчке говорится либо о церкви Св. Климента Датского на Стрэнде, либо о церкви Св. Климента в лондонском Сити.

кровать найти, а вот и топорик, чтоб голову снести». Когда я был маленький, под эту песенку играли — поднимали руки вверх, чтоб можно было под ними пробежать, а когда доходило до топорика, опускали их, и тебя ловили. Там про все церкви было — ну, про самые главные в Лондоне.

Уинстон задумался, сколько лет могло быть этой церкви. Возраст лондонских зданий определить всегда трудно. Все самые большие и внушительные, особенно если они выглядят новыми, записывают в послереволюционные, а те, что постарше, считаются построенными в подернутые дымкой «Средние века». Столетия капитализма якобы не произвели ничего ценного. По архитектуре изучать историю так же невозможно, как и по книгам. Статуи, мемориальные доски, названия улиц — все, что может пролить свет на прошлое, систематически заменяется.

— Я и не знал, что там была церковь, — заметил Уинстон.

— Так-то их много осталось, — ответил старик, — хотя теперь их под другие дела приспособили. Как же там дальше? Ах да, вспомнил: «Апельсин да лимон, у Клифента слышен звон, отвечает Мартин: “Ты мне должен фартинг”». Такая мелкая медная монетка, вроде цента.

— А где была церковь Святого Мартина?

— Она-то еще стоит. На площади Победы*, возле картинной галереи. У нее еще такое треугольное крыльцо с колоннами, а к нему ступени ведут.

Уинстон хорошо знал то место. Там сейчас зал для разных пропагандистских выставок — моделей ракет и плавучих крепостей, диорам, воспроизводящих зверства врагов, и прочего в том же духе.

* Трафальгарская площадь.

— Святой Мартин в полях, так ее называли, — продолжал старик, — хоть я и не припомню в тех местах никаких полей.

Картину Уинстон не купил. Такое приобретение выглядело бы еще более странным, чем стеклянное пресс-папье, — да и как ее нести домой, не вынув из рамы? Однако задержался еще на несколько минут поболтать со стариком. Оказалось, его фамилия не Уикс, как можно было бы заключить из надписи над дверью, а Чаррингтон. Оказалось, лавочнику-вдовцу шестьдесят три года, из которых тридцать он провел в этом магазине — и все собирался сменить вывеску, но руки так и не дошли. Пока они беседовали, Уинстон все вспоминал ту самую полузабытую детскую песенку: «Апельсин да лимон, у Климента слышен звон, отвечает Мартин: “Ты мне должен фартинг!”» Любопытно: когда произносишь это про себя, будто слышишь колокола утраченного Лондона, который где-то еще существует, спрятанный и забытый. В голове у него колокола так и заливались с призрачных колоколен. А ведь он никогда в жизни не слышал колокольного звона — насколько мог вспомнить.

Распрошавшись с мистером Чаррингтоном, он спустился на первый этаж один, чтобы старик не увидел, как он осматривается, прежде чем выйти на улицу. Он уже решил для себя, что возьмет из осторожности паузу — скажем, месяц, — а потом снова рискнет посетить лавку. Пожалуй, это не намного опаснее, чем пропустить вечер в культурно-спортивном центре. Самую большую глупость он и так уже совершил — пришел сюда во второй раз после покупки дневника, не зная, можно ли доверять продавцу. Однако...

Да, думал он, надо будет зайти еще. Прикупить каких-нибудь красивых безделушек. Вынуть из рамы гравюру

с церковью Святого Климента Датского и пронести ее домой под комбинезоном. Вытянуть остаток песенки из памяти мистера Чаррингтона. Даже безумная идея снять комнату на втором этаже снова мелькнула у него в голове. Он чувствовал себя настолько окрыленным, что на какие-то пять секунд утратил бдительность и ступил на тротуар, не выглянув сперва в окно. Он даже начал напевать, импровизируя мелодию: «Апельсин да лимон, у Климента слышен звон, отвечает Мартин...»

Вдруг сердце его словно обратилось в ледышку, а внутренности — в желе. Всего в десяти метрах по тротуару двигалась фигура в синем комбинезоне. Девушка из худлитсека, та, темноволосая! Даже в сумерках не перепутать. Она взглянула ему прямо в глаза — и быстрым шагом прошла мимо, словно не узнав.

Уинстон простоял несколько секунд как парализованный. Потом повернул направо и тяжело побрел прочь, даже не замечая, что движется не туда. Что ж, хотя бы на один вопрос теперь есть ясный ответ. Девушка шпионит за ним, в этом не может быть никаких сомнений. Наверняка шла за ним всю дорогу — не может же она по чистой случайности прогуливаться по тому же захолустному переулку в километрах от ближайшего партийного квартала. Таких совпадений не бывает. Агент ли она Думнадзора или просто выслуживается, подрабатывая соглядатаем, — едва ли имеет значение. Она следит за ним, и этого довольно. И как он в паб заходил, наверняка тоже видела!

Он шел через силу. Стеклопанная штукавина при каждом шаге била его по бедру, и он едва сдерживался, чтобы не выбросить ее. Но хуже всего — резь в кишечнике. Пару минут ему казалось, что он умрет, если сейчас же не зайдет в туалет. Но в таких районах общественных туалетов не бывает. Потом спазм прошел, оставив после себя ноющую боль.

Переулок привел его в тупик. Уинстон остановился и несколько секунд стоял неподвижно, гадая, что делать дальше. Потом развернулся, двинулся в обратную сторону — и тут ему пришло в голову, что девушка прошла мимо него всего минуты три назад, то есть бегом ее, наверное, можно еще догнать. Дойти за ней до какого-нибудь безлюдного места, а там размозжить ей голову булыжником. Да и кусок литого стекла в кармане тоже довольно тяжелый. Но от этой идеи Уинстон сразу отказался — сама мысль о любом физическом усилии была невыносима. Он не смог бы ни бежать, ни нанести удар. К тому же она молода, полна сил, станет защищаться.

Может быть, поспешить в КСЦ и не уходить до закрытия, чтобы обеспечить себе хоть частичное алиби на этот вечер? Но и это невозможно. Омертвляющая апатия охватила его. Хотелось одного — поскорее добраться домой и тихонько там засесть.

Был уже двадцать третий час, когда он добрался до квартиры. Свет во всем доме отключат в двадцать три тридцать. Он зашел на кухню и залил в себя почти полную чашку джина «Победа». Потом сел за столик в нише и достал из ящика дневник. Но открыл его не сразу. В телевизиде женский голос горланил патристическую песню. Уинстон уставился на мраморные узоры обложки, безуспешно стараясь вытеснить голос из своего сознания.

За ним придут ночью, они всегда приходят по ночам. Правильнее всего покончить с собой, пока не забрали. Наверняка некоторые так и делают. Многие исчезнувшие на самом деле самоубийцы. Но когда невозможно раздобыть ни огнестрельное оружие, ни надежный быстродействующий яд, для самоубийства нужна отчаянная храбрость. В замешательстве думал Уинстон о биологической бесполезности страха и боли, о том, как

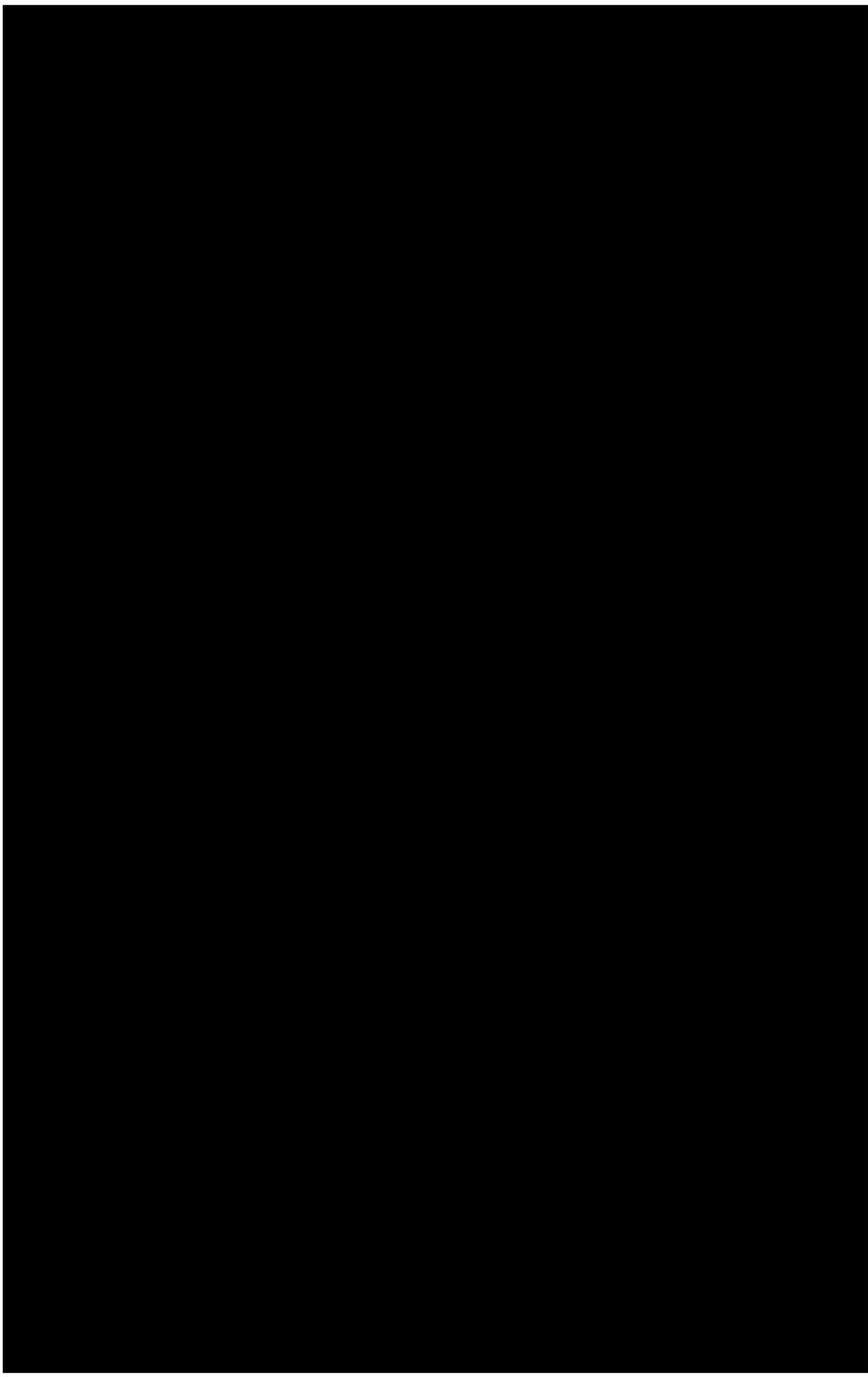
предательски подводит тело, впадая в ступор как раз тогда, когда необходимо сделать усилие. Ведь он мог бы заставить девицу замолчать навсегда, если бы сразу принял меры. Но, оказавшись в смертельной опасности, он поэтому и утратил способность действовать. В критический момент, думал он, борешься не с внешним врагом, а всегда с собственным телом. Даже джин не заглушил тупую боль в животе, мешающую связно мыслить. И вот так всегда — и в беде, и когда требуется подвиг. На поле боя, в пыточной, на тонущем корабле всегда забываешь, за что сражаешься, потому что собственное тело разрастается до размеров вселенной, и даже если тебя не парализуют страх и боль, не раздирает легкие крик, твоя жизнь, минута за минутой, остается борьбой — с голодом, холодом, бессонницей, изжогой или зубной болью.

Он открыл дневник. Казалось, это очень важно — хоть что-нибудь записать. Женщина в телевиде затянула новую песню. Ее голос впивался в мозг, как осколки стекла. Уинстон попытался думать об О'Брайене, для которого — или которому — писал в дневнике, но в голову лезли только мысли о том, что с ним будет, когда его заберет Думнадзор. Если убьют сразу, это еще ничего. Что убьют — ожидаемый исход. Но перед смертью (об этом никто не говорит, но все знают) надо еще пройти через ритуал покаяния: валяние в ногах, мольбы о пощаде, хруст ломаемых костей, выбитые зубы, окровавленные клочья вырванных волос.

Ну и зачем через это проходить, если конец и так ясен? Почему не укоротить жизнь на эти несколько дней или недель? Ведь попадают все, и сознаются тоже все без исключения. Совершил криводум — все, твои дни сочтены. Зачем тогда этот ужас, который ничего не меняет, почему он встроен в твое неизбежное будущее?

Наконец ему удалось вызвать в памяти образ О'Брайена. «Встретимся там, где нет тьмы», — сказал ему О'Брайен. Уинстон теперь знал, что он имел в виду, или по крайней мере догадывался. Там, где нет тьмы, — это в воображаемом будущем, которое для него никогда не наступит, но к которому можно прикоснуться тайным предчувствием. Голос из телевида ездил по ушам, мешая додумать мысль до конца. Уинстон зажал в зубах сигарету. Половина табака тут же высыпалась ему на язык — и не выплюнуть эту горькую пыль! Перед глазами возник лик Старшего Брата, вытесняя О'Брайена. Как и несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и всмотрелся в нее. Глубокий, спокойный взгляд, которым Старший Брат отвечал ему, обещал защиту и поддержку — но что это за ухмылка скрыта под черными усами? Как удары свинцового колокола, раздались в его голове слова:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА



Часть II



**ВОСПИТАЕМ ПОКОЛЕНИЕ. БЕЗЗАВЕТНО
ПРЕДАННОЕ ДЕЛУ КОММУНИЗМА!**

1.

Через пару часов после начала рабочего дня Уинстон отлучился из своей ячейки в туалет.

Навстречу ему по длинному, ярко освещенному коридору двигалась одинокая фигура. Та девушка с темными волосами. Четыре дня прошло с тех пор, как он столкнулся с ней у лавки старьевщика. Приближаясь, Уинстон увидел, что у нее подвязана рука. Издали незаметно — перевязь синяя, одного цвета с комбинезоном. Видимо, повредила, поворачивая большой калейдоскоп, на каких начерно строят сюжеты романов. Обычная травма для худлитсека.

Между ними оставалось метра четыре, когда девушка споткнулась и упала, растянувшись во весь рост. У нее вырвался крик боли: видимо, ударилась поврежденной рукой. Уинстон встал как вкопанный. Девушка поднялась на колени. Лицо ее сделалось молочно-желтым, и губы на нем казались особенно красными. Она смотрела прямо ему в глаза с мольбой, в которой читался скорее страх, чем боль.

В сердце Уинстона шевельнулось необычное чувство. Вот перед ним враг, который желает ему смерти. Но это еще и живой человек, которому больно. Вдруг у нее перелом? Он инстинктивно потянулся к ней, чтобы помочь; когда она упала, боль словно отдалась в его теле.

— Больно? — спросил он.

— Ерунда. Рука. Сейчас пройдет.

Ее голос звучал как при сильном сердцебиении. И эта бледность!

— Ничего не сломали?

— Нет, все нормально. Просто ушиблась, и все.

Она протянула ему здоровую руку, и он помог ей подняться. На ее щеки возвращался румянец — похоже, ей уже намного лучше.

— Ерунда, — повторила она сухо. — Просто слегка ушибла руку. Спасибо, товарищ!

С этими словами она двинулась дальше таким бодрым шагом, словно с ней и правда ничего не случилось. Все происшествие заняло полминуты, не больше. Не давать эмоциям отразиться на лице — это уже инстинкт, к тому же дело было прямо перед телевидом. И все же Уинстон лишь с трудом не выдал удивления: в тот краткий миг, когда он помогал ей подняться, она что-то сунула ему в руку. Вне всякого сомнения, намеренно. Что-то маленькое и плоское. Открывая дверь в туалет, Уинстон сунул руку в карман и определил наощупь, что это сложенная прямоугольником бумажка.

Стоя перед писсуаром, он изловчился развернуть ее прямо в кармане. Наверняка это записка. У него возник соблазн запереться в кабинке и тут же ее прочитать. Впрочем, он отлично понимал, что это безумие. Уж там-то телевиды наблюдают непрерывно.

Он вернулся в ячейку, сел, небрежно швырнул записку на стол к другим бумагам, надел очки и подтянул к себе речепис. «Пять минут, — сказал он себе, — пять минут как минимум». Сердце так колотилось у него в груди, что ему казалось, будто он слышит стук. К счастью, он работал над вполне рутинным поручением — правил длинную колонку цифр, что не требовало особой внимательности.

Что бы ни было написано на листке, дело наверняка политическое. Уинстон видел два возможных варианта. Первый и наиболее вероятный: девушка — агент Думнадзора, как он и боялся. Непонятно, зачем Думнадзору доставлять сообщения таким способом, но, возможно, у них на то свои причины. В записке может быть и угроза, и вызов, и приказ покончить с собой, и какая-нибудь разводка. Однако он упрямо гнал от себя и другой, более причудливый сценарий: записка вообще не от Думнад-

зора, а от какой-то подпольной организации. А вдруг Братство все-таки существует! А вдруг девушка в нем состоит! Конечно, сама мысль об этом абсурдна, но она не покидала Уинстона с момента, когда он нашупал бумажку. Только через пару минут ему пришло в голову другое, более вероятное объяснение. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка наверняка будет стоить ему жизни, он в это не верил, а тешился неразумной надеждой. От этого так колотилось его сердце, и он с трудом скрывал дрожь в голосе, бормоча цифры в речепис.

Закончив работу, он свернул бумаги и сунул их в пневмотрубу. Прошло уже восемь минут. Он поправил на носу очки, вздохнул и придвинул к себе следующую порцию бумаг — сверху как раз лежала записка. Он разгладил ее и прочел крупные неровные буквы:

Я тебя люблю.

Это так его ошарашило, что он не сразу, лишь через несколько секунд, отправил улику в провал памяти. А перед тем, как все же это сделать, не удержался — даже зная, что проявлять излишний интерес опасно, — и перечитал записку, чтобы удостовериться, что ему не померещилось.

Доработать до обеда оказалось непросто: он не только едва мог сосредоточиться на чередующихся заданиях, но и с трудом скрывал от телевида возбуждение. В животе у него точно разожгли костер. Новая мука — обедать в жаркой, шумной, набитой до отказа столовой. Уинстон надеялся в перерыв хоть чуть-чуть побыть в одиночестве, но — вот невезение — рядом с ним плюхнулся кретин Парсонс, заглушая резким запахом пота металлическую вонь от жаркого и непрерывно болтая о подготовке

к Неделе ненависти. Особое воодушевление вызывала у него двухметровая голова Старшего Брата, которую его дочь со своим отрядом Лазутчиков мастерит из папье-маше. Уинстона особенно раздражало, что из-за всеобщего гвалта он едва слышит Парсонса, постоянно его переспрашивает — и выслушивает каждую глупость дважды. Лишь один раз он сумел взглянуть на девушку: она сидела с двумя другими в дальнем конце столовой. Она, кажется, его не заметила, и больше он в ту сторону не смотрел.

После обеда стало полегче. Пришло хитрое, сложное поручение на несколько часов работы, ради которого все прочее пришлось отложить. Требовалось подделать ряд производственных отчетов двухлетней давности так, чтобы бросить тень на одного важного члена Внутренней партии, находящегося нынче под подозрением. Такое Уинстону хорошо удавалось. Больше чем на два часа он сумел выбросить девушку из головы. А потом снова всплыло перед глазами ее лицо и остро, нестерпимо захотелось уединения. Пока вокруг люди, невозможно обдумать все эти новые обстоятельства. А ведь вечером ему надо быть в культурно-спортивном центре. Он зачихнул в себя безвкусную столовскую еду, примчался в КСЦ, с серьезным видом принял участие в пародии на «дискуссионную группу», сыграл две партии в настольный теннис, опрокинул несколько рюмок джина и высидел полчаса на лекции «Англизм и шахматы». Душа его изнывала от скуки, но на этот раз он даже не порывался пропустить вечер в КСЦ. От слов «я тебя люблю» он преисполнился желанием пожить подольше, и идти на риск ради мелочей теперь казалось глупостью. Только в двадцать три часа, уже в постели, недостижимый в темноте и тишине даже для телевида, он смог сосредоточиться и подумать.

Перед ним логистическая проблема: как связаться с девушкой и устроить свидание. Версию, что она расставляет на него капкан, он отмел — из-за ее очевидного возбуждения в момент передачи записки. Ей явно было до полусмерти страшно, что неудивительно.

Отвергнуть девушку даже не приходило ему в голову. Всего пять дней назад он собирался разmozжить ей голову булыжником, но это уже не играло роли. Уинстон представлял себе ее обнаженное юное тело, каким оно прикидилось ему во сне. Раньше ему казалось, что она глупа, как все прочие, что голова ее набита ложью и ненавистью, а внизу живота у нее ледышка. Теперь же Уинстона жгла мысль, что он может ее потерять, что это белое девичье тело может ускользнуть от него. Больше всего он боялся, что она попросту передумает, если он не найдет способа быстро откликнуться. Но логистика казалась невероятно сложной — все равно что в шахматах найти нужный ход, когда тебе уже мат. Куда ни глянь, всюду несут вахту телевиды. Вообще-то все возможные способы связи пришли ему в голову в первые пять минут после прочтения записки. Но теперь, когда у него есть время, можно обдумать их один за другим — словно раскладываешь на столе инструменты.

Очевидно, такая встреча, как сегодня утром, повториться не может. Если бы девушка работала в архсеке, увидеться с ней было бы сравнительно просто, но где в здании находится сектор художественной литературы, Уинстон имел лишь смутное представление, да и убедительного повода туда идти у него не было. Если бы он знал, где живет девушка и в какое время уходит с работы, то мог бы подстеречь ее где-нибудь по дороге домой — но идти за ней от самого главка небезопасно: тогда придется болтаться без дела у входа, а это непременно заметят. Послать письмо по почте — ни в коем случае. Все

письма вскрываются, это ни для кого не секрет — такова процедура. Собственно, и писем-то почти не пишут. Для стандартных посланий есть напечатанные открытки с набором готовых предложений: вычеркиваешь ненужные, и все. В любом случае он все равно не знает даже имени девушки, не говоря об адресе. Наконец он решил, что самое безопасное место — столовая. Если получится сесть с ней вдвоем за один столик где-нибудь в середине зала, подальше от телевидов, да чтобы вокруг погромче разговаривали, — словом, если удастся создать эти идеальные условия хотя бы на полминуты, то можно будет и перекинуться парой слов.

Всю следующую неделю он жил как в тревожном сне. Назавтра она появилась в столовой после свистка, когда он уже собирался уходить. Видимо, ее перевели в более позднюю смену. Они разминулись, не глядя друг на друга. На другой день он застал ее в столовой в обычное время, но с тремя коллегами и прямо под телевизором. Следующие три кошмарных дня она не появлялась вовсе. И разум, и тело Уинстона словно обрели невыносимую чувствительность, сделались такими уязвимыми, что каждое движение, каждый звук, каждое касание, каждое слово, которое ему приходилось произнести или выслушать, — все отзывалось мучительной болью. Даже во сне Уинстона преследовал ее образ. К дневнику он в эти дни не прикасался, а если и находил облегчение, то в работе, которая иногда позволяла ему забыться минут на десять. Он ломал голову, что же с ней случилось. Навести справки — невозможно. Испарили, покончила с собой, перевели на другой конец Океании? Или, может быть, все еще хуже: она просто передумала и теперь его избегает?

И вот она появилась снова: ей уже не нужно подвязывать руку, достаточно полоски пластыря на запястье.

Увидев ее, Уинстон испытал такое облегчение, что позволил себе на несколько секунд задержать на ней взгляд. А еще днем позже ему почти удалось с ней заговорить. Когда он вошел в столовую, она сидела довольно далеко от стены, совсем одна за столиком. Зал еще не успел заполниться. Уинстон продвинулся в очереди почти до раздачи, но там задержался на пару минут: кто-то перед ним жаловался, что не получил сахариновую таблетку. Когда ему выдали поднос, девушка все еще сидела одна, и он двинулся к ее столику — будто невзначай, высматривая место где-то у нее за спиной. До нее каких-то три метра, через пару секунд цель будет достигнута. Тут сзади раздался голос: «Смит!» Он притворился, что не слышит. «Смит!» — повторил голос погромче. Ничего не поделаешь. Он обернулся. Едва знакомый Уинстону блондин с глуповатой физиономией по имени Уилшер приглашал его, улыбаясь, на свободное место за своим столиком. Отказываться небезопасно. Теперь, когда его узнали, нельзя просто подсесть к девушке, которая за столиком одна. Слишком заметно. Он сел, дружелюбно улыбаясь Уилшеру. Тупой блондин просиял в ответ. Уинстона посетило видение: как он с размаху вонзает кирку прямо в эту улыбку. Через несколько минут за столиком у девушки тоже не осталось мест.

Наверняка она все же заметила, как он шел в ее сторону, — углядит ли она в этом намек? На следующий день он нарочно пришел пораньше. И точно, она снова одна за столиком — примерно в том же месте. Прямо перед Уинстоном занял очередь низенький, шустрый, жукоподобный человечек с подозрительными глазками на плоском лице. Когда Уинстон, подхватив поднос, отвернулся от раздачи, он увидел, что коротышка направляется напрямиком к столику девушки. Надежда снова угасла. За столиком чуть поодаль оставалось свободное

место, но коротышка держался как человек, который ценит комфорт и выберет, где ему будет просторнее. С холодеющим сердцем Уинстон пошел за ним. Непременно нужно остаться с ней один на один, иначе все бесполезно. Вдруг раздался грохот: коротышка стоял на четвереньках, его поднос отлетел в сторону, по полу побежали ручейки супа и кофе. Поднявшись на ноги, человечек кинул злобный взгляд на Уинстона: видимо, заподозрил, что тот дал ему подножку. Но обошлось. Через пять секунд Уинстон сидел за столиком напротив девушки, и сердце его норовило выпрыгнуть из груди.

Не глядя на нее, он переставил тарелку и кружку с подноса на стол и принялся за еду. Важно начать говорить сразу, пока никто к ним не подсел, но его вдруг охватил ужас. Прошла неделя с тех пор, как она подала ему знак. Передумала, конечно, передумала! Не может их роман привести ни к чему хорошему — в жизни так не бывает. Он бы так и не раскрыл рта, если бы не заметил, что Эмплфорт, волосатухий поэт, вяло бродит по залу с подносом в поисках места. Эмплфорт проявлял к Уинстону смутную симпатию: наверняка усядется за его столик, если заметит. Если действовать, то на все есть от силы минута.

И Уинстон, и девушка методично уплетали жидкий фасолевым суп. Уинстон заговорил — тихо, словно себе под нос. Оба, не поднимая глаз, так и зачерпывали ложками водянистое варево, а между делом вели разговор без лишних слов, не повышая голос и без всякого выражения.

- Когда уходишь с работы?
- В восемнадцать тридцать.
- Где встретимся?
- На площади Победы, у памятника.
- Там полно телевидов.
- Ничего, там толпа.

— Условный знак?

— Незачем. Не подходи ко мне, пока не увидишь, что вокруг толпа. И не смотри на меня. Просто держись поблизости.

— Во сколько?

— В девятнадцать.

— Договорились.

Эмплфорт не заметил Уинстона и сел за другой столик. Уинстон и девушка больше не разговаривали и, насколько возможно, избегали смотреть друг на друга. Девушка быстро доела и скрылась, а Уинстон остался выкурить сигарету.

Уинстон пришел на площадь Победы загодя. Он обошел гигантскую псевдоантичную колонну, с вершины которой статуя Старшего Брата, обращенная лицом к югу, смотрит в небо, где его боевые самолеты расправились с евразийскими (а несколько лет назад говорили, что с остазийскими) в Битве за Авиабазу номер один. У подножия колонны — конная статуя, изображающая вроде бы Оливера Кромвеля. В девятнадцать часов пять минут девушка еще не появилась. И снова страх охватил Уинстона. Она не придет, она передумала! Он медленно прошелся по площади и немного приободрился, узнав церковь Святого Мартина: это ее колокола, пока их еще не сняли, вызванивали, напоминая — «Ты мне должен фартинг». А вот и девушка — у основания памятника, читает или притворяется, что читает лозунг на бумажной ленте, спиралью ползущей вверх по колонне. Приближаться к ней небезопасно, пока не соберется толпа побольше. Вокруг постамента повсюду телевиды.

Вдруг откуда-то слева на площади раздались крики и гудение мощных двигателей. Все вокруг куда-то побежали. Девушка ловко проскочила мимо львов у основания колонны и присоединилась к бегущим. Уинстон

последовал за ней. На бегу он понял из выкриков, что это везут евразийских пленных.

На краю площади уже была давка. Уинстон был из тех, кто в толпе всегда дрейфует к краю, но в этот раз заработал локтями и даже головой, протискиваясь в самую гущу. Скоро он оказался на расстоянии вытянутой руки от девушки, но путь ему преграждали огромный мужик из масс и почти такая же огромная бабища — должно быть, жена. Вдвоем они встали перед ним непреодолимой мясной стеной. Уинстон изловчился развернуться к ним боком и кое-как вклиниться между ними плечом. С минуту ему казалось, что эти мясистые бока сейчас расплющат все его внутренности в лепешку, но он прорвался, только немного вспотел — и вот оказался рядом с девушкой, плечом к плечу. Оба смотрели строго перед собой.

Длинная колонна открытых грузовиков медленно двигалась по улице. В кузовах по углам стояли в полный рост немигающие конвоиры с автоматами. Между ними на корточках низкорослые желтолицые люди в изорванной зеленой форме. Их грустные азиатские глаза над бортами грузовиков смотрели вокруг без всякого любопытства. Иногда грузовик дергало, и раздавалось звяканье: все пленные закованы в кандалы. Грузовик за грузовиком печальных лиц. Уинстон слышал, что грузовики проезжают мимо, но пленных видел лишь урывками. Плечо девушки прижалось к его плечу. Ее щека так близко, что он почти чувствует ее тепло. Она тотчас же взяла дело в свои руки, как и до этого, в столовой, и заговорила все так же, без выражения, едва шевеля губами, так что ее бормотание терялось в гомоне толпы и грохоте грузовиков.

— Тебе меня слышно?

— Да.

— Можешь вырваться в субботу вечером?

— Да.

— Тогда слушай внимательно и запоминай. Иди на Паддингтонский вокзал...

С поразительной военной четкостью она описала путь, который ему предстояло проделать. Полчаса на поезде, от станции налево, два километра до ворот без верхней перекладины, потом по тропинке через поле, дальше по заросшей травой дороге и по колее между кустами до мертвого, заросшего мхом дерева. Словно в голове у нее карта.

— Все запомнил? — пробормотала она наконец.

— Да.

— Налево, направо, потом опять налево. Ворота без верхней перекладины.

— Да. Во сколько?

— Примерно в пятнадцать. Может, придется подождать. Я приду другой дорогой. Уверен, что все запомнил?

— Да.

— Тогда уходи поскорее.

Этого она могла бы и не говорить. Впрочем, прямо сейчас им обоим было не выбраться из толпы. Колонна грузовиков еще тянулась, а зеваки все глазели. Поначалу из толпы раздавались выкрики и шиканье, но они исходили только от партийцев и быстро прекратились. В толпе преобладало обычное любопытство. Иностранцы, хоть из Евразии, хоть из Остзии, — как экзотические зверьки. Иначе как в роли пленных их не увидишь, и то лишь мельком. Никто не знает, что будет с ними дальше: только немногих вешают как военных преступников. Остальные просто исчезают — видимо, в каторжных лагерях.

Круглые монголоидные лица сменились более европейскими, грязными, заросшими, измученными. Глаза над

высокими скулами, порой до странности цепкие, встречали взгляд Уинстона и снова скользили мимо. Колонна заканчивалась. В последнем грузовике Уинстон заметил пожилого мужчину. Всклокоченная борода покрывала все его лицо. Он стоял в полный рост, скрестив перед собой запястья, словно уже привык к кандалам.

Пора было расставаться с девушкой. Но в последний момент, пока толпа еще мешала им разойтись, ее рука потянулась к его руке, и Уинстон ощутил легкое пожатие.

Оно длилось не больше десяти секунд, но ему показалось, что они держались за руки очень долго. Ему хватило времени изучить ее руку во всех подробностях. Он исследовал длинные пальцы, аккуратные ногти, натруженную мозолистую ладонь, гладкую кожу выше запястья. Ощупав, он теперь узнал бы ее руку, если бы увидел. Тут ему пришло в голову, что он не знает, какого цвета у девушки глаза. Наверное, карие, но иногда ведь у темноволосых бывают и голубые. Повернуть голову и посмотреть было бы невероятной глупостью. Незримо для всех в этой давке держась за руки, они глядели прямо перед собой, и вместо глаз девушки Уинстона встречали печальные глаза небритого пленного.

2.

Вся в пятнах света и тени вилась тропинка, и под каждым просветом в ветвях над головой Уинстон словно ступал в лужу жидкого золота. Слева от него, под деревьями, нежной дымкой покрывали землю колокольчики. Ветерок ласкал кожу. Было второе мая. Где-то в лесной чаще ворковали горлицы.

Он приехал немного раньше времени. Дорогу нашел легко. Девушка явно знала, что делает, и он боялся меньше, чем можно было бы ожидать. Вообще-то за городом не намного безопаснее, чем в Лондоне. Здесь, конечно, нет телевидов, но всегда остается опасность, что твой голос запишут и распознают скрытые микрофоны. Да и трудно не привлечь лишнее внимание, если путешествуешь один. Когда отъезжаешь не больше чем на сто километров, штамп в паспорте не нужен, но на вокзалах часто ошиваются патрули, проверяют у всех встреченных партийцев документы и задают неудобные вопросы. Однако ему патруль не встретился, а всю дорогу от станции он озирался — не следят ли за ним. Поезд был набит массажи — в праздничном настроении из-за летней погоды. Вагон с деревянными сиденьями, в котором он ехал, заполнила одна огромная семья, от беззубой прабабки до месячного малыша. Ехали они в деревню «к своякам» и, как они объяснили Уинстону, собирались прикупить неучтенного сливочного масла.

Тропинка стала шире, и через минуту он увидел колею, о которой говорила девушка, — не более чем коровью тропку между кустами. Часов при нем не было, но вряд ли уже пробило пятнадцать. Землю так густо покрывали колокольчики, что трудно было на них не наступать. Уинстон наклонился и стал их собирать, отчасти чтобы убить время, но и подумывая при встрече преподнести

девушке букет. Он нарвал уже много. Слабый, чуть тошнотворный запах цветов наполнял его ноздри, как вдруг шум за спиной заставил его замереть — кто-то наступил на ветку, этот хруст ни с чем не перепутать. Он продолжал собирать колокольчики — а что еще делать? Может, это девушка, а может, его все же выследили. Оглянуться — значит признать вину. Уинстон сорвал цветок, за ним еще один. И почувствовал на плече легкое прикосновение.

Он поднял голову. Она! Покачала головой, явно предостерегая, чтобы он ничего не говорил, потом раздвинула кусты и проворно повела его по узкой тропке вглубь леса. Она явно бывала здесь раньше: заболоченные места обходила уверенно, будто привычно. Уинстон шел за ней, все еще сжимая в руке букет. Сначала он испытал облегчение, но, глядя на ее сильное, стройное тело, на красный пояс, затянутый достаточно туго, чтобы подчеркнуть округлые бедра, начал остро чувствовать собственную неполноценность. Даже сейчас он подозревал, что, обернувшись и как следует рассмотрев его, она отпрянет. Ему стало не по себе от сладкого майского воздуха и лесной зелени. Еще по дороге от станции под весенним солнышком он казался себе грязным и каким-то пожухлым — существом, выросшим в четырех стенах и впитавшим черную пыль лондонских улиц всеми порами кожи. Она ведь никогда не видела меня при ярком дневном свете, подумалось ему.

Они добрались до того самого упавшего дерева. Девушка протиснулась сквозь кусты, в которых, казалось, нет просвета. Уинстон последовал за ней и обнаружил за кустами полянку — маленький поросший травой холмик, окруженный высокой молодой порослью, полностью скрывающей его от глаз. Девушка остановилась и повернулась к нему.

— Ну вот, мы пришли, — сказала она.

Он остановился в нескольких шагах от нее и не осмеливался подойти ближе.

— Не хотела ничего говорить на дороге, — продолжала девушка. — Может, там микрофон припрятан. Вряд ли, но кто его знает. Вдруг эти свиньи вычислят тебя по голосу. А здесь мы одни.

Ему все еще не хватало смелости приблизиться.

— Здесь мы одни? — повторил он как дурак.

— Да, посмотри, какие заросли. — Это были ясени толщиной в запястье, когда-то спиленные, но теперь снова разросшиеся в естественный частокол. — Тут и микрофон-то спрятать негде. К тому же я здесь и раньше бывала.

Хоть какой-то разговор завязался. Он смог подойти поближе. Она стояла перед ним очень прямо, с улыбкой, казавшейся чуть насмешливой, будто она недоумевает, почему он так медлит. Колокольчики посыпались на землю: он и не заметил, как их выронил. Он взял ее за руку.

— Поверишь ли, — сказал он, — я до сих пор не знал, какого цвета у тебя глаза.

Светло-карие, с темными ресницами, отметил он про себя.

— Теперь ты меня как следует рассмотрела. Я тебе еще не противен?

— Еще что выдумал.

— Мне тридцать девять лет. У меня жена, от которой я не могу избавиться. У меня варикоз. У меня пять железных зубов.

— Мне наплевать, — ответила девушка.

Неясно, чей порыв был первым, но в следующее мгновение она оказалась в его объятиях. Поначалу он просто не мог поверить, что это происходит с ним, и мало что чувствовал. Девичье тело льнуло к нему, темные волосы касались его лица, она запрокинула голову и — да! — он стал целовать ее мягкие красные губы. Она обнимала его

за шею, называла милым, родным, любимым. Он уложил ее на траву, не ощущая никакого сопротивления, — с ней можно было делать что угодно. Но, сказать по правде, он так ничего и не чувствовал, кроме близости ее тела. Разве что изумление и гордость. Уинстон радовался происходящему, но без вожделения. Он был не готов, испугался ее молодости и привлекательности, он слишком отвык от женщин... он сам не понимал, в чем дело. Девушка села, вытащила из волос синий колокольчик, прижалась к нему, обняв за талию.

— Ничего, хороший мой, не спеши. У нас с тобой весь вечер впереди. Как тебе укромное местечко? Заблудилась как-то во время похода и набрела. Если кто-то явится, мы за сто метров услышим.

— Как тебя зовут? — спросил Уинстон.

— Джулия. А тебя Уинстон. Уинстон Смит.

— Как ты узнала?

— Наверное, милый, я получше тебя умею все раз узнавать. Скажи, что ты обо мне думал до моей записки?

Соблазна солгать не возникло. Наоборот, начать с рассказа о худшем — своего рода свидетельство любви.

— Я тебя люто ненавижу, — сказал он. — Хотел тебя изнасиловать и убить. Две недели назад я всерьез собирался разmozжить тебе голову бульжником. Если хочешь знать, я думал, ты связана с Думнадзором.

Девушка радостно рассмеялась, похоже, принимая его слова как дань уважения ее идеальной маскировке.

— Ну уж прямо-таки с Думнадзором! Правда, ты так думал?

— Ну, может быть, не совсем так. Но по твоей внешности — видишь ли, ты такая молодая, свежая, здоровая — я догадывался, что, наверное...

— Что я добропорядочная партийка. Чистая душой и телом. Знамена, шествия, лозунги, подвижные игры,

походы и все такое прочее. Конечно, ты думал, что при малейшей возможности я тебя сдам за криводум, подведу под расстрел?

— Да, вроде того. Знаешь, ведь многие молодые девушки такие.

— Все из-за этой дряни, — сказала она, срывая с себя алый пояс Молодежного антисексуального союза. Отброшенный в сторону пояс повис на ветке. Тут, словно прикосновение к талии о чем-то ей напомнило, она порылась в кармане комбинезона, вытащила плитку шоколада, разломала пополам и отдала половинку Уинстону. Еще не взяв ее в руки, он понял, что это не простой шоколад: темный, блестящий, в серебристой обертке. Обычно под «шоколадом» понимали мутно-коричневую крошащуюся субстанцию, вкусом больше всего напоминающую дым от мусорного костра. Но когда-то пробовал он и другой шоколад — такой, каким поделилась с ним Джулия. Его аромат пробудил в Уинстоне неясное, но навязчивое и тревожное воспоминание.

— Где ты такой достала? — спросил он.

— На черном рынке, — ответила она равнодушно. — Вообще-то с виду я такая и есть, ты не ошибся. Хорошо играю в подвижные игры. В Лазутчиках была командиром отряда. Три вечера в неделю занимаюсь общественной работой в МАСе. Часами расклеиваю их сраные листки по всему Лондону. На шествиях всегда несу краешек большого транспаранта. Всегда имею бодрый вид и ни от чего не отлыниваю. Все орут — и ты ори, такой у меня принцип. Иначе не уберешься.

Первый кусочек шоколада растаял у Уинстона на языке. Вкус просто потрясающий. Но где-то на границе памяти еще витало воспоминание — что-то связанное с сильными эмоциями, но неоформленное, как предмет, который видишь лишь краешком глаза. Уинстон гнал его из головы,

чувствуя лишь, что это воспоминание о каком-то поступке: он очень о нем жалеет, но не может ничего исправить.

— Ты совсем юная, — сказал он. — Лет на десять-пятнадцать меня моложе. Что ты во мне нашла, что тебя вообще могло привлечь в таком, как я?

— Увидела что-то в твоём лице. И решила рискнуть. Я хорошо распознаю отщепенцев. Как только увидела тебя, поняла, что ты против них.

«Против них» означало, похоже, против Партии — и особенно Внутренней партии, о которой она говорила с такой откровенной издевкой и ненавистью, что Уинстону становилось не по себе, хоть он и знал, что здесь сравнительно безопасно. Его вообще поражало, насколько груба её речь. Партийцам не полагается материться, и сам Уинстон ругался крайне редко — по крайней мере вслух. Но Джулия, похоже, не могла говорить о Партии, особенно о Внутренней партии, не употребляя словечек, какие пишут мелом на стенах у помоек. Это не вызывало у него отторжения: просто такое уж внешнее проявление бунта против Партии и её обычаев. Ничего неестественного или нездорового — так чихает лошадь, учуяв гнилое сено.

Оставив полянку, они отправились гулять в шахматной тени ветвей. Где тропинка была достаточно широка для двоих — шли в обнимку. Он заметил, насколько мягче стала её талия без пояса. Говорили только шепотом. Вне укромной полянки, сказала Джулия, лучше вести себя тихо. Лесок скоро кончился, и они оказались на опушке. Она остановила Уинстона:

— Из леса лучше не выходить — там могут подсматривать. А тут ветки нас прикроют.

Они стояли в тени орешника. Солнечный свет, даже процеженный сквозь бесчисленные листья, все равно согревал их лица. Уинстон взглянул на поле за опуш-

кой, и по спине у него побежали мурашки узнавания. Да, он знает это место: старое, объединенное пастбище, извилистая тропинка, кротовые холмики, на дальнем краю поля — неровная живая изгородь, и ветерок едва колышет ветви вязов, еле заметно перебирает листья в кронах, густых, как женские волосы. И наверняка где-то недалеко, хоть и вне поля зрения, прозрачная, небystрая речушка с зелеными заводами, в которых плещутся плотвички...

— Тут где-то рядом ручей? — прошептал он.

— Верно, есть — на краю соседнего поля. В нем и рыбы водятся, такие крупные, хвостатые, в омутах под ивами.

— Почти Золотое поле, — пробормотал он.

— Золотое поле?

— Ничего особенного. Просто пейзаж, который мне иногда снится.

— Смотри! — прошептала Джулия.

В каких-то пяти метрах от них, почти на уровне глаз, на ветку опустился дрозд. Может, не заметил их: он на солнце, они в тени. Расправил крылья, снова аккуратно сложил, кивнул головой, словно поклонился солнцу, и залился песней, поразительно громкой в предвечернем затишье. Уинстон и Джулия прижались друг к другу, захваченные концертом. Музыка длилась и длилась, минута за минутой, с удивительными вариациями, ни разу не повторяясь, будто птица нарочно щеголяла виртуозностью. Иногда дрозд останавливался на несколько секунд, расправлял и складывал крылья, снова раздувал крапчатую грудку и выдавал новую руладу. Уинстон наблюдал за ним с каким-то неосознанным почтением. Для кого, для чего поет эта птица? Нет здесь ни подруги, ни соперника. Что заставляет дрозда сидеть на уединенной лесной опушке и изливать свою музыку в пустоту? А может быть, подумал он, где-то здесь все же спрятан

микрофон... Они с Джулией общались только вполголоса, их разговоры записаться не могли — другое дело песня дрозда. Может быть, сидит где-то жукоподобный человечек, внимательно слушает — и вот что слышит. Постепенно, впрочем, музыка вытеснила из головы Уинстона все домыслы. На него словно пролился дождь, смешанный с солнечным светом, процеженным сквозь листву. Он перестал думать и только чувствовал. Талия девушки под его согнутой рукой была мягкой и теплой. Он притянул ее, прижал к груди, и она будто слилась с ним. К чему бы он ни прикасался, все было податливым, как вода. Они прильнули друг к другу губами, и поцелуй получился совсем другим, непохожим на прежние, жадные. Когда он закончился, у обоих вырвался глубокий вздох. Вспугнутая птица взлетела, треща крыльями.

Уинстон приблизил губы к ее уху.

— Сейчас, — прошептал он.

— Не здесь, — откликнулась она, тоже шепотом. — Спрячемся. Там безопаснее.

Иногда наступая с треском на сухие ветки, они поспешили назад, на полянку, и снова оказались в защитном кольце кустов. Она повернулась к нему лицом. Оба шумно дышали, но в углах ее рта снова играла улыбка. Пару секунд она смотрела ему в глаза, а потом потянулась к молнии своего комбинезона. И — да! — все случилось почти как в его сне. Почти так же мгновенно, как ему привиделось, она сорвала с себя одежду, а отбросила ее в сторону именно тем величественным жестом, который, казалось, стер с лица земли целую цивилизацию. Ее кожа сияла на солнце белизной. Но он не сразу рассмотрел ее тело: глаза приковывало веснушчатое лицо с легкой дерзкой улыбкой. Он встал перед ней на колени и взял ее за руки.

— У тебя так уже было?

— Конечно. Сотни раз — ну, десятки уж точно.

— С партийцами?

— Да, только с партийцами.

— Из Внутренней партии?

— Нет, с этими свиньями — никогда. Хотя многие бы и не отказались, дай я им шанс. Не такие уж они и святоши, каких из себя корчат.

Его сердце екнуло. У нее было — десятки раз! А ему хотелось — чтобы сотни, тысячи. Любой намек на моральное разложение всегда наполнял его безумной надеждой. Кто знает, вдруг Партия вся прогнила внутри, а ее культ усердного труда и самоотречения — лишь показуха, скрывающая растление. Если бы он мог заразить их всех проказой или сифилисом, с какой радостью он сделал бы это! Что угодно, лишь бы сгноить, ослабить, подорвать! Он притянул ее к себе, так что они оба оказались на коленях лицом друг к другу.

— Послушай. Чем больше у тебя было мужчин, тем больше я тебя люблю. Понимаешь?

— Да, еще как.

— Я ненавижу чистоту, ненавижу добродетель. Хочу, чтобы благодравие отовсюду повывелось. Хочу, чтобы все полностью морально разложились.

— Ну тогда, милый, я тебе подхожу. Я — само разложение.

— Тебе это нравится? Я не про себя говорю, а про само занятие.

— Я от него без ума.

Это он и хотел услышать. Не просто любовь к одному человеку, а животный инстинкт, простое, не слишком переборчивое вождение — вот сила, которая разорвет Партию на куски. Он повалил ее на траву среди рассыпавшихся колокольчиков. На этот раз никаких заминок. Наконец их частое дыхание выровнялось, обоих

одолела блаженная истома, и они отпали друг от друга. Солнце, казалось, припекало сильнее. Обоих клонило в сон. Он потянулся за ее отброшенным комбинезоном, прикрыл ее, и они почти сразу же задремали где-то на полчаса.

Уинстон проснулся первым. Сел и загляделся на ее веснушчатое лицо, под которое она в мирном сне подложила ладонь. Если бы не губы, ее нельзя было бы назвать красивой. Всмотревшись, можно заметить морщинки вокруг глаз. Короткие темные волосы — очень густые и мягкие. Он подумал, что так и не знает ни ее фамилии, ни адреса.

Молодое сильное тело, такое беззащитное во сне, пробудило в нем жалость и желание защитить ее. Но безответная нежность, которую он почувствовал в орешнике под песню дрозда, не спешила возвращаться. Он стянул прикрывавший ее комбинезон и задумчиво рассматривал ее — белую, гладкую, уютно устроившуюся на боку. В прежние времена, думал он, мужчина смотрел на женское тело, находил его желанным — и все, конец истории. Но сейчас не может быть ни чистой любви, ни чистого вожделения. Нет чистых чувств, все перемешано со страхом и ненавистью. Их объятия были как бой, оргазм — как победа. Как удар по Партии. Они совершили политический акт.

3.

— Сюда можно будет приехать еще разок, — сказала Джулия. — Укромные места безопасно использовать два раза. Но только через месяц-другой.

Проснувшись, она вела себя иначе: стала настороженной и деловитой, оделась, повязала красный пояс и принялась расписывать в деталях, как возвращаться. Уинстону казалось естественным возложить эту заботу на нее. Ей, в отличие от него, явно не занимать практичности и хитроумия, к тому же многочисленные походы, по всей видимости, сформировали у нее исчерпывающее представление об окрестностях Лондона.

Она дала ему совсем другой маршрут, не тот, которым он сюда добрался, — с конечным пунктом на другом вокзале. «Никогда не возвращайся той же дорогой, какой приехал», — сказала она, словно провозглашая какой-то важный общий принцип. Она уйдет первой, Уинстону надо подождать полчаса, прежде чем последовать за ней.

Следующее свидание Джулия назначила ему через четыре дня, после работы, на уличном рынке в бедном квартале, где обычно толпа и шумно. Она будет бродить между прилавками как бы в поисках шнурков для ботинок или ниток для шитья. Если удостоверится, что слезки нет, то высморкается при его приближении, в противном же случае надо пройти мимо нее, сделав вид, что не узнал. Но если повезет, в толпе удастся поболтать минут пятнадцать и договориться о новой встрече.

— А теперь мне пора, — сказала она, убедившись, что Уинстон запомнил все инструкции. — Мне в девятнадцать тридцать в МАС — два часа раздавать листовки или что там еще скажут. Вот срань, а? Отряхни меня, пожалуйста. Травинки в волосах не осталось? Уверен? Тогда до новых встреч, любовь моя!

Она кинулась ему на шею, страстно поцеловала, а через мгновение уже пробиралась сквозь кусты и вскоре исчезла в лесу почти бесшумно. Так он и не узнал ни ее фамилии, ни адреса. Впрочем, неважно — все равно о том, чтобы встречаться дома или переписываться, не может быть и речи.

На лесную полянку они так и не вернулись. За весь май им удалось заняться любовью еще только один раз, в другом тайнике Джулии — на колокольне полуразрушенной церкви в почти пустынной местности, где тридцать лет назад упала атомная бомба. Сам по себе тайник отличный, но добираться до него оказалось очень опасно. В остальное время им удавалось встречаться только на улице, каждый раз в новом месте и не больше чем на полчаса. Во время прогулок получалось хоть как-то разговаривать. Толпа влекла их по тротуару, а они, держась на расстоянии и не глядя друг на друга, вели странную, полную пауз беседу — мерцающую, как лучи маяка. Вдруг замолкали, заметив партийную униформу или телевид, через несколько минут возобновляли разговор на полуслове, внезапно его сворачивали, расставаясь в оговоренной точке, а на следующий день продолжали почти с того же места. Джулия, казалось, привыкла к такому способу общения — она называла это «разговоры в расщелку». У нее удивительно ловко получалось говорить, не шевеля губами. Только однажды за месяц ежевечерних встреч они сумели поцеловаться. Шли молча по переулку (в стороне от шумных улиц Джулия всегда молчала), как вдруг раздался оглушающий рев, мостовая вздыбилась и Уинстон оказался на земле. Он лежал на боку, перепуганный и весь в ссадинах. Ракета ударила где-то совсем близко. Вдруг он увидел в нескольких сантиметрах от себя лицо Джулии, смертельно побледневшее, белое как мел. Даже губы у нее побелели. Мертва! Он прижал ее

к себе — и почувствовал, что целует живое, теплое лицо. Только какая-то пыль все время лезла в рот. Их лица покрывал толстый слой осыпавшейся штукатурки.

Бывали вечера, когда, добравшись до места встречи, они вынуждены были расходиться, не обменявшись и знаком: то патрульные покажутся из-за угла, то зависнет над головой вертолет. Даже не будь этих опасностей, находить время для встреч оказалось непросто. Уинстон работал по шестьдесят часов в неделю, Джулия и того больше, свободные дни зависели от загруженности всего подразделения и часто не совпадали. У Джулии вообще редко выдавался полностью свободный вечер. Она тратила удивительно много времени на лекции и демонстрации, распространяла литературу Молодежного антисексуального союза, готовила транспаранты для Недели ненависти, собирала пожертвования — в общем, вела активную общественную работу. Это окупается, говорила она: маскировка. Когда соблюдаешь правила в мелочах, можешь нарушать по-крупному. Она даже уговорила Уинстона пожертвовать еще одним свободным вечером в неделю ради добровольной работы на оборонном предприятии вместе с другими рьяными партийцами. Так что теперь он каждую неделю просиживал четыре часа в ледящей скуке, привинчивая друг к другу металлические детальки — кажется, части взрывателей для бомб — в продуваемом насквозь, полутемном цехе, где стук молотков сливался с музыкой из телевизора в нудную какофонию.

Встреча на колокольне заполнила пробелы в их отрывочных беседах. Стояла слепополуденная жара. В квадратной камере над колоколами застоялся раскаленный воздух, запах голубинового помета бил в нос. Час за часом они сидели на пыльном, замусоренном веточками полу и болтали, иногда по очереди поглядывая в бойницу, не идет ли кто.

Джулии минуло двадцать шесть. Жила она в общезитии с тридцатью другими молодыми женщинами («Вечно эта бабская вонь! Ненавижу баб!» — заметила она мимоходом), а работала, как он и догадывался, на романых станках в секторе художественной литературы. Работа заключалась в основном в обслуживании мощных, но капризных электродвигателей. Ей нравилось этим заниматься: она считала себя «не слишком умной», зато любила работать руками и была на «ты» с техникой. Джулия знала весь процесс создания романа, от общей директивы планового отдела до окончательной доводки в бюро редатуры. Но конечный продукт ее не интересовал. Она «так себе читатель». Книги — лишь товар, который кто-то должен производить, как джем или шнурки для ботинок.

Она ничего не помнила о жизни до начала шестидесятых: единственным, кто часто говорил при ней о дореволюционных временах, был ее дед, исчезнувший, когда ей исполнилось восемь. В школе она была капитаном команды по хоккею на траве и два года подряд выигрывала кубок по гимнастике. В Лазутчиках ее выбрали командиром отряда, в Молодежном союзе — секретарем ячейки. Потом она вступила в Молодежный антисексуальный союз. Характеризовалась везде положительно. Ее даже отобрали для работы в порносеке (верный признак незапятнанности анкеты), подразделении худлитсека, выпускавшем дешевую порнографию для распространения среди масс. Сотрудники, по ее словам, называли порносек не иначе как «навозный домик». Там она проработала год — выпускала книжонки, распространявшиеся в запечатанных пакетах, с названиями вроде «Отшлепай меня» или «Ночь в школе для девочек». Покупали их юнцы из масс, искренне веря, что в руки им попал нелегальный товар.

— И что там, в этих книжках? — спросил Уинстон с любопытством.

— Чушь да мерзости всякие. А на самом деле — скучища. Сюжетов всего шесть, их только чуть-чуть перемешивают. Я, конечно, только на калейдоскопах работала, не в бюро редатуры. По литературной части, милый, я даже для такой работы слабовата.

Уинстон с удивлением узнал, что все сотрудники порносека, кроме начальников отделов, — девушки. Считалось, что для мужчин, чьи половые инстинкты менее управляемы, чем женские, выше риск морального разложения под влиянием грязи, с которой приходится работать.

— Даже замужних женщин туда берут неохотно, — добавила Джулия.

Девушкам же приписывают чистоту и невинность. Это, впрочем, совсем не про Джулию. Первый роман случился у нее в шестнадцать — с шестидесятилетним партийцем, который позже покончил с собой, чтобы избежать ареста. «И правильно сделал, — говорила Джулия, — а то его заставили бы каяться и выбили бы из него мое имя». С тех пор были еще разные мужчины. К жизни она относилась просто. Человек ищет развлечений; «они» — то есть Партия — этому мешают; значит, надо, насколько возможно, нарушать «их» правила. «Их» стремление лишить людей удовольствий казалось ей столь же естественным, сколь и встречное стремление — не попасться. Она ненавидела Партию и говорила об этом в самых грубых выражениях, но не оспаривала ее господства. Партийная доктрина интересовала ее лишь в той степени, в какой затрагивала ее личную жизнь. Уинстон заметил, что она никогда не употребляет новоречные слова, кроме уже вошедших в обиход. Джулия никогда не слышала о Братстве и отказывалась верить

в его существование. Любой организованный бунт против Партии, с ее точки зрения, обречен на провал и потому неразумен. Гораздо умнее — нарушать правила так, чтобы при этом все-таки выжить. А сколько еще, пронеслось в голове Уинстона, — сколько еще в молодом, послереволюционном поколении таких, как она, не знающих никакого другого мира, принимающих Партию как нечто незыблемое, словно небо над головой, не бунтующих против ее власти, а просто ускользающих от нее, как заяц от гончей.

Возможность пожениться они не обсуждали — она казалась слишком призрачной, чтобы всерьез о ней задумываться. Ни одна комиссия никогда не одобрит такой брак, даже если Уинстон как-то избавится от жены, Кэтрин. Даже мечтать об этом безнадежно.

— Какая она была, твоя жена? — спросила Джулия.

— Она была... Знаешь такое новоречное слово — «прямодумная»? То есть, ты понимаешь, правоверная, неспособная на дурные мысли.

— Нет, слова не знала, а людей таких — само собой.

Он принялся было пересказывать ей историю своей семейной жизни, но, как ни странно, она уже знала о ней все самое важное. Джулия описала ему, словно сама это видела или чувствовала, как каменела Кэтрин, едва он к ней прикасался, и как она, казалось, изо всех сил отталкивала его, даже крепко обнимая. С Джулией ему было легко говорить о таких вещах; в любом случае Кэтрин давно превратилась из болезненного воспоминания просто в неприятное.

— Я бы и смирился, да одно мешало... — И он рассказал о короткой ледяной церемонии, в которой Кэтрин заставляла его участвовать еженедельно, в определенный день. — Она терпеть это дело не могла, но ни за что не хотела бросить. Говорила, что это... спорим, не угадаешь?

— Наш партийный долг, — тут же выпалила Джулия.

— Откуда ты знаешь?

— Я тоже ходила в школу, милый. Час полового просвещения раз в месяц — для всех, кому исполнилось шестнадцать. И в Молодежном союзе тоже. Годами вбивают такое в голову. И, по-моему, много на кого действует, но точно не скажешь: люди такие лицемеры.

С этой темы ее было не свернуть. Джулия считала сексуальность основой всего и рассуждала о ней весьма тонко. В отличие от Уинстона, она разгадала скрытый смысл партийного сексуального пуританства. Дело не только в том, что половой инстинкт творит особый мир — неподконтрольный Партии, а потому подлежащий уничтожению. Еще важнее, что половое воздержание приводит к истерии, а она желательна, потому что ее можно превратить в милитаристский психоз и поклонение вождю.

«Когда занимаешься любовью, тратишь энергию, — объясняла она. — А потом ты доволен и тебе на все наплевать. Ты им такой не нужен. Им нужно, чтобы у тебя все время было полно энергии. Строем ходят и флагами размахивают, когда с сексом не сложилось. Если тебе просто хорошо, какое тебе дело до Старшего Брата, Трехлетнего плана, Минуты ненависти и всей их прочей сраной хрени?»

Так и есть, думал Уинстон. Между целомудрием и политической правоверностью прямая связь. Как еще поддерживать нужный Партии градус страха, ненависти, фанатичной веры, если не загонять вглубь какой-нибудь мощный инстинкт, из которого можно черпать силы для всего этого? Половое влечение опасно для Партии, и Партия научилась с ним работать. Такой же фокус она провернула с родительским инстинктом. Семью не отменишь, и любовь к детям, почти такая же, как

в старые времена, поощряется. С другой стороны, детей методично науськивают на родителей, учат шпионить за ними, доносить об их отклонениях. Теперь семья, по сути, стала продолжением Думнадзора. Благодаря семье каждый человек день и ночь окружен стукачами, знающими его как облупленного.

Его мысли снова перескочили на Кэтрин. Она, несомненно, сдала бы его Думнадзору, если бы ей хватило ума уловить неправоверность его взглядов. Но вспомнилась она ему в первую очередь из-за удушливой, потной слепополуденной жары. Он стал рассказывать Джулии, что случилось — или, скорее, не случилось — у них с Кэтрин в такой же раскаленный летний день одиннадцать лет назад.

Они тогда три месяца как поженились. Пошли в турпоход где-то в Кенте и сбились с дороги. Отстали от группы всего минуты на две, но куда-то не туда свернули — и вдруг едва удержались на краю отвесного обрыва над старым известняковым карьером. Глубина его достигала десяти, а то и двадцати метров, на дне — валуны. Осознав, что они заблудились, Кэтрин разнервничалась. Стоило всего на минуту оторваться от шумной толпы туристов — и она уже чувствовала себя виноватой. Она хотела вернуться той же дорогой, которой они пришли к обрыву, и поспешить на поиски. Но в этот момент Уинстон заметил в трещинах скалы у них под ногами кустики плакун-травы. Один был двухцветным — пурпурным и кирпично-красным, хотя цветы росли из одного корня. Уинстон никогда еще такого не видел. Он позвал Кэтрин посмотреть.

— Гляди, Кэтрин, какие цветы! Вон тот кустик, в самом низу. Видишь, два разных цвета?

Она уже повернула обратно, но досадливо поплелась к нему. Даже наклонилась над обрывом посмотреть,

куда он показывает. Он стоял чуть сзади и положил руку ей на талию, чтобы поддержать. Тут он вдруг осознал, что они совсем, полностью одни. Здесь не только безлюдно — листок не шевельнется, птица не крикнет. Риск, что в таком месте спрятан микрофон, почти нулевой, да и будь он здесь, все равно записывал бы лишь звук, а не изображение. Стоял самый жаркий и сонный после-полуденный час, солнце пекло макушку, лицо Уинстона щекотали, стекая, капли пота. И тут ему пришло в голову...

— Что же ты не спихнул ее? — сказала Джулия. — Я бы спихнула.

— Да, любимая, ты бы спихнула. Я бы тоже, будь я тогда таким, как сейчас. Хотя, может, и нет — не знаю.

— Жалеешь, что не спихнул?

— Да. В целом — жалею.

Они сидели бок о бок на пыльном полу. Он притянул ее к себе. Голова Джулии легла ему на плечо, приятный запах ее волос заглушал вонь голубиных испражнений. Она так молода, думал он, и все еще чего-то ждет от жизни, она не понимает, что, столкнув с обрыва того, кто тебе мешает, ничего не решишь.

— На самом деле ничего бы не изменилось, — сказал он.

— Тогда почему ты жалеешь, что не спихнул ее?

— Только потому, что лучше сделать, чем жалеть, что не сделал. В нашей игре победить невозможно. Но проигрыш проигрышу рознь.

Он почувствовал, как она передернула плечами в знак несогласия. Она всегда спорит, когда он говорит что-то подобное. Не желает принимать как закон природы, что личность всегда проигрывает. Джулия в глубине души наверняка понимает, что обречена, что рано или поздно Думнадзор ее поймает и убьет, но при этом другой частью сознания верит в возможность выстроить некий тай-

ный мир и жить там как захочешь. Нужны лишь удача, хитрость и дерзость. Она не понимает, что счастья нет, что победа — дело далекого будущего и что с момента, когда объявляешь Партии войну, лучше всего считать себя трупом.

— Мы покойники, — сказал он.

— Мы еще не умерли, — буднично возразила Джулия.

— Физически — нет. Может, у нас есть еще полгода, год — может, даже пять лет. Я боюсь смерти. Ты моложе, значит, должна бояться еще сильнее. Конечно, будем ее оттягивать, пока сможем. Но особой разницы нет. Пока человек остается человеком, смерть и жизнь — одно и то же.

— Да ну, чушь! С кем лучше спать — со мной или со скелетом? Тебе что, не нравится быть живым? Не нравится чувствовать: вот я, вот моя рука, моя нога, я настоящий, из плоти и крови, я живой! Тебе что, не нравится вот это?

Она повернулась и прижалась к нему. Сквозь комбинезон он почувствовал ее полную, упругую грудь. Она словно передавала ему часть своей молодости и жизненной силы.

— Нравится, — сказал он.

— Тогда хватит говорить о смерти. А теперь, милый, давай договоримся, когда встретимся в следующий раз. Можно снова в тот лесок. Давненько уже мы там не бывали. Но добираться будешь по-другому. Я все спланировала. Поедешь на поезде — хотя погоди, лучше нарисую.

Как всегда, сама практичность, она сгребла пыль в квадратную кучку и веточкой из голубинового гнезда начала рисовать карту.

Уинстон осваивался в запущенной комнатенке над магазином мистера Чаррингтона. Огромная кровать у окна застелена потрепанными одеялами, вместо подушки — диванный валик без наволочки. На каминной полке тикают старомодные часы с двенадцатичасовым циферблатом. В углу на раскладном столе поблескивает в полумраке стеклянное пресс-папье, которое Уинстон купил здесь в прошлый раз.

Возле каминной решетки — побитый примус и любезно выделенная мистером Чаррингтоном посуда: кастрюля и две чашки. Уинстон зажег примус, поставил на него кастрюлю с водой. Он принес с собой пакет кофе «Победа» и несколько таблеток сахара. Стрелки часов показывали семь двадцать, что на самом деле означало девятнадцать двадцать. В девятнадцать тридцать обещала прийти Джулия.

Глупость, глупость, говорило ему сердце, добровольная, неоправданная, самоубийственная глупость. Из всех преступлений, которые мог совершить партиец, такое труднее всего скрыть. Идея пришла к нему в форме видения: стеклянное пресс-папье отражается в полировке раскладного стола. Как он и предвидел, мистер Чаррингтон без проблем сдал ему комнату: он явно был рад этим лишним долларам. Когда стало ясно, что комната нужна Уинстону для встреч с любовницей, это не вызвало у хозяина ни изумления, ни соблазна сказать, подмигивая, какую-нибудь сальность. Он лишь отводил взгляд и поддерживал отвлеченную беседу с видом до того деликатным, что казалось, будто он пытается стать невидимым. Личное пространство, сказал он, это такая ценность. Каждому нужно место, где можно иногда побыть одному. А уж когда завелось у человека такое место,

то каждый, кто об этом знает, должен помалкивать из соображений простой вежливости. Уже почти растаяв в воздухе, мистер Чаррингтон сообщил, что у дома два входа и второй — из соседнего проулка, через задний двор.

Под окном кто-то распевал песню. Уинстон выглянул одним глазком из-за кисейной занавески. Июньское солнце стояло еще высоко. В залитом солнцем дворе великанша в дерюжном переднике, мощная, как норманнская колонна, с мощными красными ручищами, топала от корыта к бельевой веревке и назад, развешивая в ряд белые прямоугольники, в которых Уинстон узнал детские пеленки. Прищепки она держала во рту, а когда доставала их, то пела мощным контральто:

Страсть безнадежная моя
Прошла, как теплый день в апре-эле.
Но сколько счастья и весе-эля
Дарила мне любо-овь твоя.

Уже несколько недель в Лондоне от этой мелодии никуда не спрятаться. Ее, как и множество других подобных песенок, создали для масс в специальном подотделе сектора музыки. Слова для таких песен сочиняет — вообще без участия человека — устройство, называемое «версификатор». Но в выразительном исполнении великанши слушать эту пакость было почти приятно. До Уинстона, кроме пения, доносились шарканье ее башмаков по камням мощеного двора, детские крики с улицы да отдаленный шум машин, но — вот ведь странно — ему казалось, что в комнате тихо: ведь здесь нет телевида.

Глупость, глупость, глупость, подумал он снова. Немыслимо даже и надеяться, что они смогут, не попавшись, встретаться здесь дольше нескольких недель. Но соблазн

завести свое гнездышко — чтобы и не под открытым небом, и недалеко — оказался для них обоих слишком силен. После колокольни у них долго не получалось увидеться. Рабочий день резко удлиннили из-за подготовки к Неделе ненависти. До нее оставалось еще больше месяца, но из-за масштабных и сложных приготовлений, которых она требовала, на всех повесили дополнительную работу. Наконец обоим удалось одновременно выкроить свободный вечер. Договорились встретиться на лесной полянке. За день до свидания ненадолго пересеклись на улице. Как обычно, Уинстон почти не смотрел на Джулию, пока они сближались в толпе, но и быстрого взгляда хватило, чтобы заметить, что она бледнее обычного.

— Все отменяется, — пробормотала она, как только решила, что говорить безопасно. — Я имею в виду, на завтра.

— Что?

— Завтра вечером. Я не могу.

— Почему?

— Так, ничего особенного. Просто в этот раз у меня рано началось.

Сначала он был готов рвать и метать. За месяц знакомства его влечение к Джулии изменилось. Поначалу оно не было по-настоящему чувственным. Заняться с ней любовью в первый раз он заставил себя усилием воли. Но после второго раза все пошло по-другому. Запах ее волос, вкус ее губ, прикосновение ее кожи стали частью самого его существа, воздухом, которым он дышит. Она превратилась в физическую потребность; теперь она не только объект желания, но и его собственность. Когда она сказала, что не сможет прийти, Уинстону будто недодали чего-то положенного по праву. Но в эту минуту толпа прижала их друг к другу, и их руки случайно встретились. Она быстро пожалала ему кончики пальцев — знак скорее

привязанности, чем страсти, — и ему вдруг подумалось: когда живешь с женщиной постоянно, такое разочарование — нормальное, повторяющееся явление. Им вдруг овладела глубокая нежность, какой он никогда не чувствовал к ней раньше. Почему они не супружеская пара с десятью годами совместной жизни за спиной? Ходили бы по улицам вместе, как сейчас, но открыто и без страха, болтали о всякой ерунде, покупали в дом какие-нибудь безделушки. А больше всего ему хотелось завести местечко, где можно вволю побыть вместе, а заниматься любовью при каждой встрече необязательно. Мысль снять комнату у мистера Чаррингтона пришла ему пусть и не в ту же минуту, но вечером того же дня. Когда он предложил это Джулии, она неожиданно охотно согласилась. Оба знали, что идея безумная, и как будто нарочно сделали шаг к могиле. Присев на кровать в ожидании, он снова думал о подвалах Главлюба. Любопытно, как накатывает и откатывает этот неотвратимый ужас. Вот он, намертво впаян в их будущую судьбу, предшествует смерти, как число девяносто девять предшествует числу сто. Его не избежать, можно разве что отложить — но вместо этого ты шаг за шагом, собственными сознательными действиями сокращаешь оставшееся время.

На лестнице послышались быстрые шаги. В комнату впорхнула Джулия, на плече — коричневая холщовая сумка для инструментов, с какой он иногда видел ее в главке. Он поднялся ей навстречу, чтобы обнять, но она торопливо высвободилась, не выпуская сумку из рук.

— Погоди, — сказала она. — Дай сперва покажу, что принесла. Ты же, небось, притащил эту бурду, кофе «Победа»? Так я и знала. Выброси, он нам не понадобится. Гляди!

Встав на колени, она растегнула сумку и сначала вывалила несколько гаечных ключей и отвертку. Под

ними оказались аккуратные бумажные пакеты. Уинстон принял первый пакетик из рук Джулии со странным и в то же время смутно знакомым ощущением. Внутри он нащупал что-то тяжелое, похожее на песок, податливо перетекавшее под его пальцами.

— Уж не сахар ли? — спросил он.

— Самый настоящий сахар. Не сахарин. А вот батон хлеба — нормальный белый хлеб, а не труха, как у нас. И баночка джема. А вот жестянка молока... А вот, смотри, моя гордость. Даже в тряпочку пришлось завернуть, потому что...

Но ей не пришлось объяснять почему. Запах уже наполнял комнату, богатый, знойный аромат словно из самого раннего детства, иногда дразнящий его и теперь из какой-нибудь неплотно закрытой двери в переулке или плывущий неведь откуда над уличной толпой: он внезапно попадал в ноздри, чтобы через секунду улетучиться.

— Кофе, — пробормотал он. — Настоящий кофе.

— Кофе для Внутренней партии. Тут целый килограмм, — сказала она.

— Где ты все это раздобыла?

— Это все паек Внутренней партии. У этих свиней есть все что душе угодно. Но, ясное дело, официанты и прочая обслуга все это тырят. Смотри, у меня и пакетик чая есть!

Уинстон присел рядом с ней на корточки, оторвал уголок пакета.

— Настоящий чай. Не черничные листья.

— Чая в последнее время просто завались. Индию, что ли, захватили... — задумчиво сказала она. — Вот что, милый, отвернись-ка на три минуты. Сядь посиди с другой стороны кровати. К окну слишком близко не подходи. И не оборачивайся, пока я не скажу.

Уинстон рассеянно смотрел в окно сквозь кисею занавески. Во дворе женщина с красными руками все еще курсировала между корытом и бельевой веревкой. Вынув изо рта пару прищепок, она с чувством вывела:

Пусть говорят, что вре-эмя лечит,
Что все забы-вить мне суждено,
Твои улыбки, тва-аи речи
Я буду по-омнить все равно!

Она, похоже, знала весь идиотский романс наизусть. Голос, совершенно лишенный фальши, счастливый и одновременно грустный, взмывал вверх в нежном летнем воздухе. Наверное, она была бы рада, если бы ни июньский вечер, ни одежонка в корыте никогда не кончались — оставаться бы здесь хоть тысячу лет, развешивать пеленки и напевать всякую ерунду. Уинстону подумалось: а он ведь никогда не слышал, чтобы партийные так пели — в одиночестве, без принуждения. Это выглядело бы несколько неправоверно, а то и вовсе как опасная блажь — все равно что говорить самому с собой. Может, людям есть о чем петь, только когда им едва хватает еды?

— Можно смотреть, — сказала Джулия.

Повернувшись, Уинстон в первую секунду едва узнал ее. Он думал, что она разденется. Не тут-то было. Ее преобразование оказалось куда удивительнее. Джулия накрасилась.

Не иначе заскочила в какую-то лавку в квартале, где живут массы, и купила полный набор косметики. На губах — ярко-красная помада, на щеках румяна, нос напудрен, даже глаза чем-то подвела, чтобы они казались ярче. Вышло не очень умело, но Уинстон и не предъявлял высоких требований по этой части. Он никогда раньше не видел, даже не представить себе не мог партийку

с макияжем. Джулия просто изумительно похорошела. Всего несколько мазков в нужных местах — и она стала не только намного привлекательнее, но и прежде всего намного женственнее. Ее коротко стриженные волосы и мальчишеский комбинезон лишь усиливали эффект. Обняв ее, Уинстон утонул в синтетическом аромате фиалок. Вспомнились полутьма подвальной кухни и беззубый женский рот, как пещера. Те же духи! А впрочем, сейчас это не имеет значения.

— Еще и духи! — сказал он.

— Да, милый мой, еще и духи. А знаешь, какой у меня план? Раздобуду где-нибудь настоящее женское платье и стану носить его вместо этих противных штанов. И шелковые чулки, и туфли на каблуках! В этой комнате буду женщиной, а не партийным товарищем.

Они сбросили одежду и забрались на огромную кровать из красного дерева. Уинстон впервые разделся догола в присутствии Джулии. Прежде он слишком стеснялся своего бледного, тощего тела, выступающих на икрах варикозных вен, болячки над лодыжкой. Простыню им заменяло вытертое и потому мягкое одеяло. Обоих поразили размер и упругость кровати. «Тут наверняка полно клопов, ну и черт с ними», — сказала Джулия. Двухспальных кроватей теперь и не бывает, кроме как в домах у масс. Уинстон когда-то, еще в детстве, спал на такой, а вот Джулии не доводилось — по крайней мере насколько она могла припомнить.

Через некоторое время они задремали. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов почти доползли до девятки. Он не пошевелился — Джулия спала, положив голову ему на плечо. Ее косметика большей частью размазалась по его лицу и диванному валику, но бледный след от румян еще подчеркивал ее красивую высокую скулу. Желтый луч заходящего солнца упал поперек кровати и осветил

камин, где в кастрюле докипала вода. Женщина во дворе перестала петь, но с улицы еще приглушенно доносились детские крики. Может быть, подумалось Уинстону, в отмененном прошлом так обычно и валялись вдвоем в кровати в прохладных летних сумерках — голый мужчина и голая женщина, которые могут заняться любовью когда захотят, болтать о чем захотят, а вставать их совсем не тянет, они просто лежат и слушают мирный уличный шум. Разве было время, когда такое казалось чем-то обыденным? Джулия проснулась, протерла глаза, приподнялась на локте.

— Половина воды выкипела, — сказала она. — Сейчас встану, сделаю кофе. У нас еще час. Когда у тебя в доме отключают свет?

— В двадцать три тридцать.

— В общежитии в двадцать три. Но дома надо быть раньше, потому что... Эй! Вали отсюда, гадина!

Она вдруг перевернулась на кровати, схватила с пола туфлю и, замахнувшись по-мальчишески — как когда-то словарем в Гольдштейна во время Минуты ненависти, — запустила ею в угол.

— Что там такое? — спросил он удивленно.

— Крыса. Высунула свою мерзкую морду из-под плинтуса. Там у нее нора. Ничего, я ее вроде спугнула.

— Крысы! — пробормотал Уинстон. — В этой комнате?

— Да они везде, — равнодушно отозвалась Джулия и снова легла. — У нас в общежитии даже на кухне есть. В Лондоне некоторые районы ими просто кишат. Ты знал, что они на детей нападают? Еще как! Есть улицы, где женщины боятся оставить младенца больше, чем на две минуты. Есть такие большущие коричневые крысы, которые на детей охотятся, и, что самое противное, эти гадины всегда...

— Хватит! — взмолился Уинстон, зажмурившись.

— Любимый! Ты же весь белый. Что случилось? Тебя от них тошнит?

— Крыса... да что вообще может быть ужаснее!

Она прижалась к нему, обвила руками и ногами, словно хотела утешить теплом своего тела. Уинстон открыл глаза не сразу. На несколько мгновений ему показалось, что он в кошмарном сне, который то и дело снится ему всю жизнь. Кошмар почти всегда один и тот же: перед ним — тьма стеной, а за ней что-то невыносимое, слишком ужасное, чтобы пережить встречу с ним. Самое сильное чувство во время этого сна — ощущение самообмана: ведь на самом деле он знает, что там, по ту сторону тьмы. Если напрячь все силы, то можно, словно оторвав у себя кусок мозга, даже вытащить это знание на свет. Но он всегда просыпается, так и не узнав, что это за знание. А теперь оно как-то связалось с тем, что говорила Джулия, когда он ее перебил.

— Прости, — сказал он. — Все нормально. Просто не люблю крыс.

— Не волнуйся, милый, мы этих гадин сюда не пустим. Перед уходом заткну нору дерюжкой. А в следующий раз притащу алебаstra и заделаю как следует.

Уинстон уже почти отошел от своего панического помутнения, хотя ему было слегка стыдно. Он сел, прислонился к спинке кровати. Джулия выбралась из-под одеяла, надела комбинезон и сделала кофе. Из кастрюли так сильно и соблазнительно пахло, что они закрыли окно: вдруг учует чей-нибудь любопытный нос на улице. Даже больше, чем вкус кофе, Уинстону понравилась та шелковистая мягкость, которую придавал ему сахар, — напрочь забытая за долгие годы с сахарином. Джулия слонялась по комнате, сунув одну руку в карман, а в другой держа ломоть хлеба с джемом. Окинула равнодушным взглядом книжный шкаф, мимоходом указала, как лучше

починить раскладной стол, плюхнулась на обтерханное кресло, проверяя, удобное ли оно, со снисходительной усмешкой изучила нелепые двенадцатичасовые ходики. Стекло пресс-папье принесла с собой в кровать, чтоб получше рассмотреть при свете лампы. Он взял стекло из ее рук, зачарованный, как всегда, его сходством с мягко поблескивающей каплей дождя.

— Как ты думаешь, для чего эта штука? — спросила Джулия.

— Думаю, ни для чего — в том смысле, что вряд ли ею когда-нибудь пользовались. Это мне в ней и нравится. Просто кусочек истории, который забыли изменить. Послание из прошлого века, только мы не знаем, как его прочесть.

— А вот та картина, — она кивнула в сторону гравюры на противоположной стене, — ей ведь лет сто?

— Больше. Я бы сказал, двести. Точно непонятно. Теперь ведь никак не выяснишь, чему сколько лет.

Она подошла рассмотреть гравюру поближе.

— Вот отсюда эта гадина высовывалась, — сказала она, пнув плинтус прямо под картиной. — Что это за здание? Где-то я его видела.

— Это церковь, бывшая. Святого Климента Датского.

Уинстону вспомнился отрывок песенки, которой его научил мистер Чаррингтон, и он добавил ностальгическим тоном:

— Апельсин да лимон, у Климента слышен звон...

К его изумлению, Джулия подхватила:

— «Отвечает Мартин: ты мне должен фартинг. Когда отдашь, когда? — звонят возле суда»*. Не помню, как там дальше, но помню, чем кончается: «Вот тебе свечка, чтоб кровать найти, а вот и топорик, чтоб голову снести».

* Речь о церкви Гроба Господня в Холборне, возле Центрального уголовного суда Англии и Уэльса, известного также как Олд-Бейли.

Получилось как пароль и отзыв, подумал Уинстон. Но после «звонят возле суда» должна быть еще строчка. Может, ее удастся раскопать в памяти мистера Чаррингтона, если направить его в верную сторону.

— Кто тебя научил этой песенке? — спросил он.

— Дед. Рассказал мне, когда я маленькая была. Его испарили, когда мне было восемь... ну, в общем, он исчез. Интересно, что это за лимон такой, — сменила она тему. — Апельсины я видела. Такие круглые, желтые, толстокожие.

— Лимоны я помню, — сказал Уинстон. — В пятидесятые они часто встречались. Такие кислые, что только понюхаешь, аж скулы сводит.

— Наверняка за картиной полно клопов, — сказала Джулия. — Когда-нибудь сниму ее и хорошенько протру. Пора нам, наверно. И косметику надо смыть. Вот тягомотина! А помаду с твоего лица после сотру.

Уинстон еще несколько минут не вставал. В комнате темно. Он повернулся лицом к свету и стал разглядывать стеклянное пресс-папье. Невозможно оторваться — даже не от кусочка коралла, а от самой толщи стекла. В ней такая глубина, и в то же время она прозрачна, словно воздух. Поверхность стекла — как небосвод над целым маленьким миром с собственной атмосферой. Уинстону казалось, что он может проникнуть туда, что он уже внутри — и он, и кровать красного дерева, и раскладной стол, и часы, и офорт, и само пресс-папье. А оно еще и комната, а коралл — это он и Джулия, навечно запаянные в толщу стекла.

5.

Сайм исчез. Просто не явился утром на работу. Некоторые неосторожные сослуживцы вслух отметили его отсутствие. Назавтра никто о нем не вспоминал. А на третий день Уинстон вышел в вестибюль архивного сектора взглянуть на доску объявлений. Там висел распечатанный список членов шахматной комиссии, в которую входил Сайм. Список выглядел точно так же, как раньше, без всяких зачеркиваний, только стал на одну фамилию короче. Сайм перестал существовать — да и не существовал никогда.

Жара стояла как в печи. В лишенных окон лабиринтах главка кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но снаружи мостовая обжигала ноги, а в метро в час пик жутко воняло. Подготовка к Неделе ненависти была в самом разгаре, во всех главках работали сутками. Готовились шествия, митинги, военные парады, лекции, диорамы, витрины, кинофильмы, программы для телевидения. Строились трибуны, набивались чучела врагов, сочинялись лозунги и песни, распространялись слухи, подделывались фотографии. Подразделение Джулии в секторе художественной литературы перебросили с производства романов на срочный выпуск серии брошюр о вражеских зверствах. Уинстон в дополнение к основной работе часами просиживал над старыми подшивками «Таймс», редактируя и приукрашивая заметки, выбранные для цитирования в речах. Поздними вечерами, когда улицы заполняли подгулявшие массы, в городе царила какая-то горячая атмосфера. Ракеты сыпались с неба чаще, чем обычно, а порой где-то вдалеке слышались мощные взрывы: никто не понимал, что это, и ходили дикие слухи.

Новый гимн Недели ненависти (он так и назывался — «Песня ненависти») уже сочинили и бесконечно крутили

по телевиду. Его отличал варварский, лающий ритм, имевший мало отношения к музыке и больше похожий на барабанный бой. Вырываясь из сотен глоток, этот рев, сопровождаемый грохотом сапог по мостовой, наводил ужас. Песня пришлась массам по вкусу и на полночных улицах уже конкурировала со все еще популярной «Страстью безнадежной». Дети Парсонсов исполняли ее целыми днями — в невыносимой аранжировке для расчески, обернутой туалетной бумагой. Вечера Уинстона теперь были как никогда загружены. Отряды добровольцев, организованные Парсонсом, готовили к Неделе ненависти улицу: шили знамена, рисовали плакаты, водружали на крышах флагштоки и с риском для жизни тянули между крыш проволоку для вымпелов. Парсонс хвастал, что на украшение одних только апартаментов «Победа» ушло четыреста метров ткани. Оказавшись в своей стихии, он излучал счастье. Жара и физический труд дали ему повод обряжаться по вечерам в шорты и рубаху с открытым воротом. Вездесущий Парсонс таскал, толкал, пилил, приколачивал, выдумывал, подбадривал остальных, взывая к их чувству товарищества и щедро делясь неистребимой вонью, источаемой многочисленными потными складками его тела.

По всему Лондону вдруг распространился новый плакат — без подписи, только звероподобный евразийский солдат, ростом три или четыре метра, с ничего не выражающим азиатским лицом, вышагивает в гигантских сапогах, держа у бедра нацеленный вперед автомат. Откуда ни посмотри на плакат, дуло автомата, зияющее благодаря перспективе огромным отверстием, направлено прямо на тебя. Плакаты расклеили повсюду, где нашлось свободное место на стенах, их стало даже больше, чем изображений Старшего Брата. Так у масс,

обычно равнодушных к войне, вызывали очередной регулярный приступ патриотизма. И, словно для гармонии с общим настроением, ракеты убивали больше людей, чем обычно. Одна из них погребла несколько сот человек под руинами кинотеатра в Степни. К бесконечной похоронной процессии, которая вылилась в митинг негодования, присоединился весь район. Другая ракета ударила в пустырь, служивший детской площадкой, и в клочья разорвала несколько десятков детей. И снова гневные демонстрации, на которых жгли чучело Гольдштейна, подкармливая огонь сорванными со стен плакатами с евразийским солдатом. Под шумок разграбили несколько лавчонок. Пронесся слух, что шпионы направляют ракеты с помощью радиосигналов, и одной пожилой паре, заподозренной в иностранном происхождении, подожгли дом. Хозяева задохнулись в дыму.

В комнате над лавкой мистера Чаррингтона, когда удавалось туда добраться, Джулия и Уинстон ложились рядом на незаправленную кровать под открытым окном, спасаясь наготой от жары. Крыса не возвращалась, зато из-за жаркой погоды омерзительно размножились клопы. Но какая разница: чистая, грязная ли, эта комната — их рай. Приходя, они опрыскивали все перцовым отваром, добытым на черном рынке, срывали с себя одежду, занимались любовью, обливаясь потом, засыпали, а проснувшись, обнаруживали, что клопы оправились и собирают войска для контратаки.

Четыре, пять, шесть — целых семь раз они встретились за июнь. Уинстон избавился от привычки пить джин в любое время суток — исчезла потребность. Он нагулял жирок, трофическая язва затянулась, остался лишь коричневый след над лодыжкой. Утренние приступы кашля прекратились. Жизнь перестала быть невыносимой, пропали позывы скорчить рожу телеvidу или

во весь голос выкрикивать ругательства. Теперь, когда они обзавелись безопасным укрытием, почти собственным домом, их уже не тяготило, что встречаться можно лишь изредка и на пару часов. Важно, что комната над лавкой старьевщика вообще существует. Знать, что она где-то есть и никто не может в нее вторгнуться, — почти то же самое, что быть в ней. Эта комната — целый мир, заповедник прошлого, где водятся вымершие животные. Мистер Чаррингтон — тоже такой вымерший вид, думал Уинстон. По пути наверх он обычно задерживался, чтобы пару минут побеседовать с хозяином. Старик, похоже, выходил из дому редко, если вообще выходил. Да и покупатели к нему почти не навдывались. Он вел призрачное существование между темной, тесной лавкой и совсем малюсенькой кухней, где готовил себе еду и где у него хранился среди прочего хлама невообразимо древний граммофон с гигантским ратрубом. Мистер Чаррингтон был рад любой возможности поговорить. Длинноносый, сутулый, в бархатном пиджаке и толстых очках, он расхаживал среди своего жалкого товара и походил скорее на коллекционера, чем на торговца. С каким-то увядшим воодушевлением он касался пальцами то одной кучки мусора, то другой: вот фарфоровая затычка для бутылки, вот эмалированная крышка от разломанной табакерки, а вот латунный медальон с прядкой волос какого-то давно умершего ребенка. Он никогда не предлагал Уинстону что-нибудь купить, просто приглашал вместе с ним оценить красоту. Общаться с ним — словно слушать треньканье изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из пыльных закоулков своей памяти еще несколько обрывков забытых детских стишков — про две дюжины дроздов, про криворогую корову, про смерть несчастного снегиря. «Я тут подумал, вдруг вам будет интересно», — говорил он с застенчивым смешком, прежде чем продекламиро-

вать очередную пару строчек. Больше он ни из одного стишка не помнил.

И Уинстон, и Джулия знали и, в общем, ни на минуту не забывали, что так не может продолжаться долго. Иногда предчувствие смерти казалось таким же материальным, как кровать под ними, и они льнули друг к другу с какой-то отчаянной чувственностью, как обреченная на адские муки душа цепляется за последний сладкий миг, когда часы уже вот-вот пробьют. Иногда, впрочем, возникала иллюзия не только безопасности, но и постоянства. Обоим казалось, что с ними ничего не может случиться, пока они в этой комнате. Добираться сюда трудно и опасно, но сама комната — надежное убежище. Так Уинстон когда-то всматривался в пресс-папье с ощущением, что в его стеклянный мир можно проникнуть, а проникнув — остановить время. Часто они предавались мечтам о спасении. Удача никогда им не изменит, и их роман продлится, пока они не умрут от старости. Или умрет Кэтрин, и они, как-то извернувшись, сумеют пожениться. Или вместе покончат с собой. Или исчезнут, изменят до неузнаваемости внешность, научатся выговору как у масс, устроятся работать на фабрику и станут потихоньку жить в каком-нибудь переулке. Оба знали, что все это чушь и спасения на самом деле нет. Даже единственный осуществимый план — самоубийство — они выполнять не собирались. Выживать день за днем, неделю за неделей, растягивать настоящее без надежды на будущее их, казалось, заставлял непреодолимый инстинкт. Так легкие всегда наполняются воздухом, пока есть воздух.

Говорили они иногда и об активных действиях против Партии, не зная, впрочем, как сделать первый шаг. Даже если легендарное Братство существует, все равно непонятно, как на него выйти. Он рассказал ей о странном

контакте, который у него возник — или ему показалось, что возник, — с О'Брайеном, и о том, как его порой подмывает просто прийти к О'Брайену, объявить себя врагом Партии и потребовать от него помощи. Как ни странно, это не показалось Джулии совсем уж опрометчивым. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, что Уинстон счел О'Брайена достойным доверия на основании какой-то искорки в глазах. Больше того, она принимала как данность, что все или почти все тайно ненавидят Партию и готовы нарушать правила, если им кажется, что это безопасно. Но она отказывалась верить в саму возможность существования разветвленной, организованной оппозиции. Сказки про Гольдштейна и его подпольную армию, говорила она, — чушь, выдуманная Партией для своих целей, и надо лишь притворяться, что принимаешь ее за чистую монету. Несчетное множество раз на партсобраниях и стихийных демонстрациях она голосила что есть мочи, требуя казнить тех, чьи имена слышала впервые и в чьи предполагаемые преступления не верила ни на грош. Когда шли показательные процессы, она стояла с утра до вечера перед судом вместе с товарищами из Молодежного союза, то и дело скандируя «Смерть предателям!». А во время Минуты ненависти никто не мог перещеголять ее по части оскорбительных выкриков в адрес Гольдштейна. Но она лишь смутно представляла себе, кто такой Гольдштейн и что за учение ему приписывают. Джулия выросла уже после Революции и не застала идеологических баталий пятидесятых-шестидесятых. Независимое политическое движение она не могла даже вообразить — да и в любом случае Партия непобедима. Она будет всегда и никогда не изменится. Восставать против нее можно лишь путем тайного неповиновения или отдельных актов насилия — скажем, убийств или взрывов.

В чем-то она была гораздо проникательнее Уинстона, а партийная пропаганда воздействовала на нее гораздо слабее. Однажды, когда он упомянул в каком-то контексте о войне с Евразией, она поразила его, заметив походя, что, по ее мнению, никакой войны нет. А ракеты, которые каждый день падают на Лондон, наверняка запускают власти самой Океании — «просто чтобы держать народ в страхе». Такая мысль никогда — вообще никогда — не приходила Уинстону в голову. А еще ему стало немного завидно, когда Джулия рассказала, что самое трудное во время Минуты ненависти — не рассмеяться. Но она подвергла сомнению учение Партии, лишь когда оно каким-то образом затрагивало ее жизнь. Иногда Джулия с готовностью принимала официальную мифологию просто потому, что ей было все равно, правда это или ложь. Она, например, верила, как ее научили в школе, что Партия изобрела самолет. (А Уинстон помнил, что в его школьные годы, в пятидесятых, Партия приписывала себе лишь изобретение вертолета. Лет через двенадцать, когда училась в школе Джулия, добавился самолет; еще одно поколение — и доберутся до паровой машины.) А когда он рассказал ей, что самолеты существовали до его рождения и задолго до Революции, у нее это не вызвало никакого интереса. В конце концов, какая разница, кто изобрел самолет? Еще сильнее его поразило случайное, по ходу какого-то разговора, открытие, что она не помнит, как четыре года назад Океания воевала с Остазией, а с Евразией пребывала в мире. Конечно, она вообще считала войну враньем — но вот ухитрилась как-то не заметить, что враг сменился. «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», — безразлично заметила она. Это немного напугало Уинстона. Самолет изобрели задолго до ее рождения, но смена врага — дело всего лишь четырехлетней давности, Джулия уже была совсем

взрослой. Он препирался с ней не меньше четверти часа и наконец сумел пробудить в ней смутное воспоминание, что, да, когда-то воевали с Остазией, а не с Евразией. Но это по-прежнему казалась ей не слишком важным. «Да какая разница, — с досадой говорила она. — Одна сраная война за другой, а в новостях один черт все врут».

Иногда он говорил с ней об архивном секторе и о наглых подлогах, которые там совершал. Ее такие вещи не ужасали. Бездна не разверзлась у нее под ногами при мысли о том, что ложь превращают в правду. Он поведал ей про Джонса, Аронсона и Резерфорда и про важную вырезку, которую когда-то держал в руках. Рассказ не произвел на нее особого впечатления. Поначалу она даже не поняла, в чем соль.

— Они были твои друзья? — спросила она.

— Нет, мы даже не были знакомы. Они были из Внутренней партии и к тому же гораздо старше меня. Из старых, дореволюционных времен. Я и в лицо-то их знал не очень.

— Тогда о чем было волноваться? Людей все время убивают, ну и что?

Он попытался объяснить.

— Это был исключительный случай. Дело не только в том, что кого-то убили. Ты вообще понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, по сути, упразднено? Если оно в чем-то и живо, то в бессловесных предметах вроде вот этого куска стекла, да и тех почти не осталось. Мы уже почти ничего не знаем о Революции и о дореволюционной эпохе. Все архивы уничтожены или подделаны, все книги переписаны, все картины перерисованы, все памятники, улицы, здания переименованы, все даты изменены. И это продолжается день за днем, минута за минутой. История остановилась. Нет ничего, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия всегда права.

Я, конечно, знаю, что прошлое сфальсифицировано, но никогда не смогу доказать, хотя сам же, собственными руками и фальсифицировал его. Когда дело сделано, следов не остается. Все улики только у меня в голове, и я очень сомневаюсь, что хоть один человек помнит то же, что и я. И только в тот раз, в первый и последний раз в жизни, у меня было настоящее вещественное доказательство — через много лет после подлога.

— И что, помогло?

— Не помогло, потому что я его выбросил через несколько минут. А попади оно мне в руки сегодня, сохранил бы.

— А я бы нет! — сказала Джулия. — Я вполне готова рисковать, но только ради чего-то стоящего, не ради обрывка старой газеты. Ну, сохранил бы ты его — и что тогда?

— Может, и ничего. Но это было доказательство. Если бы я рискнул кому-нибудь его показать, это могло бы посеять сомнения. Да и вряд ли при нашей жизни мы сможем что-то изменить. Но представь себе, как тут и там появляются маленькие очаги сопротивления, группки людей, они растут, крепнут... глядишь, они и документы после себя оставят, чтобы следующие поколения могли продолжить то, что мы не закончим.

— Меня, милый, не волнуют никакие следующие поколения. Мне интересны только *мы*.

— Ты только ниже пояса бунтарка, — сказал он в ответ.

Джулии это замечание показалось невероятно остроумным, и она радостно обвила Уинстона руками.

Хитросплетения партийной доктрины совершенно ее не трогали. Стоило ему заговорить о принципах англизма, двоедуме, изменяемости прошлого и отрицании объективной действительности, да еще ввернуть новоречные слова, ей делалось скучно и непонятно и она говорила,

что никогда о таких вещах не задумывалась. Ясно же, что это чушь, так зачем из-за нее переживать? И так знаешь, когда кричать «Ура», а когда «Долой», а больше ничего и не нужно. Если он продолжал развивать тему, она попросту засыпала, что всякий раз обескураживало Уинстона. Джулия вообще могла заснуть в любое время и в любой позе. Общаясь с ней, Уинстон начал понимать, как легко казаться правоверным, совершенно не понимая сути вероучения. Лучше всего Партии удастся навязать свой взгляд на мир тем, кто не способен его понять. Их можно заставить уверовать в самые вопиющие искажения действительности, потому что они не осознают всей ненормальности этого и недостаточно интересуются общественной жизнью, чтобы понимать, что происходит. И благодаря непониманию сохраняют рассудок. Все проглотят, что ни дай, но без малейшего вреда — в них просто ничего не задерживается. Так птица может склевать кукурузное зернышко, и оно выйдет непереваренным наружу.

6.

Наконец! Вот оно, послание, которого он ждал! Ждал всю жизнь, как теперь ему казалось.

Уинстон шел по длинному коридору главка. Почти в том же месте, где Джулия когда-то сунула ему в руку записку, он почувствовал, как за ним прямо по пятам кто-то идет — тот, кто выше и крупнее, чем он. Уинстон услышал, как преследователь кашлянул, очевидно, собираясь заговорить с ним. Он резко остановился и обернулся. О'Брайен!

Наконец-то они оказались лицом к лицу, но единственное, чего хотелось Уинстону, — бежать. Его сердце бешено забилося. Он не смог бы выговорить ни слова. О'Брайен же спокойно шагнул к Уинстону и дружески положил руку ему на плечо; теперь они шли бок о бок. О'Брайен заговорил с той особенной любезной серьезностью, что отличала его от большинства членов Внутренней партии.

— Я все ждал, когда же мы сможем поговорить, — сказал он. — Прочел тут на днях твою очередную статью в «Таймс» о новоречи. Я правильно понимаю, что новоречь — сфера твоего научного интереса?

К Уинстону частично вернулось самообладание.

— Что вы, какого научного, — сказал он. — Я всего лишь любитель. Это не моя тема. Я не имею никакого отношения к конструированию языка.

— Однако ты весьма элегантно на нем пишешь, — сказал О'Брайен. — И это не только мое мнение. Говорил недавно с одним твоим другом, настоящим экспертом. Вот только имя его выскочило из головы.

Уинстон почувствовал болезненный укол в сердце. Вне всякого сомнения, речь не о ком-нибудь, а о Сайме. Но Сайм не только мертв, он упразднен, он неперсона.

Все, что может быть истолковано как упоминание о нем, смертельно опасно. Своей репликой О'Брайен явно пытался подать сигнал; она — пароль. Разделив с Уинстоном мелкий криводум, он сделал его сообщником. Они продолжали неторопливое движение по коридору, пока О'Брайен не остановился. С обезоруживающим дружелюбием, которое ему всегда удавалось вложить в этот жест, он поправил очки на носу и продолжал:

— Я что хотел тебе сказать-то: ты в статье, я смотрю, употребил два устаревших слова. Но устаревшими они признаны совсем недавно. Ты видел десятое издание Словаря новоречи?

— Нет. Я не знал, что оно уже вышло. В архивном секторе мы все еще пользуемся девятым.

— Десятое издание выйдет, насколько я знаю, только через несколько месяцев. Но несколько сигнальных экземпляров уже разослали. У меня такой есть. Тебе было бы интересно взглянуть?

— Да, очень, — ответил Уинстон, мгновенно соображая, к чему клонит собеседник.

— Некоторые новые разработки весьма остроумны. Сокращение числа глаголов — тебе это, думаю, будет особенно близко. Как же нам поступить — послать, что ли, словарь с курьером? Но я все время забываю раздать поручения вовремя. Может быть, заберешь у меня дома? В любое удобное для тебя время. Погоди-ка, сейчас напишу тебе адрес.

Они стояли перед телевизором. О'Брайен рассеянно порылся в одном кармане, в другом, извлек маленькую записную книжку в кожаном переплете и золотой чернильный карандаш. Прямо под телевизором, так, чтобы наблюдатель по ту сторону экрана смог прочесть, что он пишет, он нацарапал адрес, вырвал страницу и протянул Уинстону.

— По вечерам я обычно дома, — сказал он. — Но если и не застанешь, персонал тебе передаст.

Он оставил Уинстона с листком в руке. Скрываться на этот раз было ни к чему. Тем не менее Уинстон старательно затвердил адрес наизусть и через несколько часов опустил листок в провал памяти вместе с кипой других бумаг.

Весь разговор продлился не больше двух минут. И у него могло быть лишь одно объяснение. О'Брайен обставил дело так, будто просто хотел сообщить Уинстону свой адрес. Ведь в отсутствие каких бы то ни было справочников узнать, где кто живет, можно, только задав прямой вопрос. Но на самом деле О'Брайен хотел сказать ему следующее: «Захочешь встретиться — знаешь, где меня можно найти». Возможно, Уинстон даже найдет в словаре какую-нибудь записку. Ясно одно: заговор, о котором он мечтал, на самом деле существует и он подобрался к заговорщикам совсем близко.

Уинстон знал, что рано или поздно явится на зов О'Брайена. Может быть, завтра, может быть, немного погодя — он пока не решил. То, что происходит, — лишь развитие процесса, начавшегося много лет назад. Первым шагом стала тайная, невольно проскользнувшая мысль, вторым — дневник. Уинстон перешел от мыслей к словам, теперь пора переходить от слов к делам. Последний шаг приведет его в Главлюб. Он с этим смирился. Финал предрешен с самого начала. Но страх не ушел: Уинстон словно заранее чуял запах смерти и понемногу отдалялся от мира живых. Еще во время разговора, когда он уловил смысл сказанного О'Брайеном, его пробил озноб. Он словно ступил в сырой холод могилы, и от сознания, что могила эта давно его ждет, легче не становилось.

Когда Уинстон проснулся, в глазах его стояли слезы. Джулия сонно перекатилась к нему под бок, бормоча нечто вопросительное — «Что случилось?» или вроде того.

«Мне снилось...» — начал он и запнулся. Слишком сложно, словами не объяснить. Дело не только в самом сне, но и в связанном с ним воспоминании: оно всплыло в его сознании через несколько секунд после пробуждения.

Он лежал на спине с закрытыми глазами, еще погруженный в атмосферу сна, длинного, яркого, — вся его жизнь, казалось, распростерлась перед ним, как вечерний летний пейзаж после дождя. Это происходило внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла представляла собой небесный купол, и под этим куполом все, насколько хватало глаз, было залито мягким прозрачным светом. И при этом весь сон как-то укладывался в один жест его матери, повторенный тридцать лет спустя той еврейской женщиной в новостном кинофильме, что пыталась укрыть мальчугана от пуль перед тем, как сброшенная с вертолета бомба разорвала обоих в клочья.

— А знаешь, — сказал он, — до этой минуты я думал, что убил мать.

— Почему ты ее убил? — спросонья не поняла Джулия.

— Я не убивал. По крайней мере физически.

Во сне он вспомнил, как в последний раз видел мать, а за несколько секунд после пробуждения к нему вернулось и все скопление мелких событий вокруг этого момента. Похоже, он годами сознательно выталкивал все это из своего сознания.

Точной даты он не помнил, но на тот момент ему уже точно исполнилось десять, а то и двенадцать. Отец уже некоторое время как исчез, когда именно — Уинстон вспомнить не мог. Яснее запомнились суматоха

и неуверенность того времени, постоянная паника из-за авианалетов, убежища в метро, горы мусора повсюду, плохо напечатанные прокламации на каждом углу, банды юнцов в одинаковых рубашках, огромные очереди за хлебом, пулеметная трескотня где-то вдалеке — а главное, вечная нехватка еды. Помнились долгие вечера в поисках съестного на помойках и свалках вместе с другими мальчишками, ребристые капустные листья, картофельные очистки, иногда даже черствые хлебные корочки, с которых соскребали золу. Помнилось, как ждали грузовиков с кормом для скота, всегда проезжавших по определенному маршруту. Когда они подскакивали на рытвинах дороги, иногда высыпалось немного жмыха.

Когда исчез отец, мать не выказала ни удивления, ни сильного горя. Просто вдруг изменилась, будто совершенно утратила интерес к жизни. Даже Уинстон чувствовал: она чего-то ждет, того, что кажется ей неизбежным. Она делала что положено — готовила, стирала, штопала, застилала кровать, подметала, вытирала пыль с каминной полки — но всегда очень медленно, совсем без лишних движений, как оживший манекен на шарнирах. Ее высокая, статная фигура, казалось, постепенно цепенеет. Часами она сидела на кровати, почти не шевелясь, и кормила грудью младшую сестру Уинстона, крошечную, болезненную, очень тихую девочку лет двух-трех, из-за худобы похожую на обезьянку. Иногда мать обнимала Уинстона и долго молча прижимала его к себе. И он понимал, несмотря на малолетство и эгоизм: это как-то связано с тем, что должно случиться и о чем никогда не говорят.

Он помнил темную комнату, где они жили, ее спертый воздух, кровать с белой спинкой, которая, казалось, занимает половину пространства. За каминной решеткой — газовая горелка. Еда хранилась на полке. Корич-

невый керамический умывальник, общий на несколько комнат, помещался на лестничной клетке. Мать грациозно наклонялась над горелкой, помешивая что-то в кастрюле.

Но ярче всего он помнил постоянный голод и яростные, отвратительные ссоры за столом. Он вечно ныл, раз за разом спрашивал мать, почему так мало еды, кричал и ругался на нее преждевременно ломающимся, иногда неожиданно басовитым голосом или бил на жалость, пытаясь выклянчить больше положенного. Она и не спорила: считалось само собой разумеющимся, что ему, «будущему мужчине», полагается самая большая порция, но, сколько бы она ему ни давала, Уинстон неизменно требовал еще. Каждый раз, когда садились за стол, она упрашивала его думать не только о себе, помнить, что сестренка болеет и ей тоже нужно есть, — все без толку. Он зверел от злости, когда она переставала разливать суп, пытался вырвать у нее кастрюлю и половник, хватал куски с тарелки сестры. Он знал, что обрекает мать и сестру на голод, но ничего не мог с собой поделать. Ему даже казалось, что он имеет право требовать. Голодные спазмы в желудке оправдывали все. И если мать не караулила, он постоянно таскал еду из жалких запасов на полке.

Однажды они получили по карточкам шоколад — впервые за много недель или даже месяцев. Он хорошо запомнил тот драгоценный кусочек шоколада. Им выдали плитку в две унции (тогда еще мерили вес унциями) на троих. Конечно, ее следовало разделить на три равные части. Вдруг, словно слыша со стороны чей-то чужой голос, Уинстон понял, что это он сам громко требует у матери всю плитку. В ответ мать просила его не жадничать. Последовало долгое, нудное, безнадежное препирательство с криком, визгом, слезами, протестами и торгом. Сестренка, ухватившись за мать обеими ручонками, точь-в-точь как обезьянка, глядела на Уинстона через

плечо большими грустными глазами. В конце концов мать отломилла три четверти плитки и отдала Уинстону, а оставшуюся четверть — его сестре. Девочка схватила свой кусочек и стала тупо его разглядывать, возможно, не понимая, что это такое. Уинстон некоторое время смотрел на нее, а потом внезапно подскочил, выхватил шоколад из ее ручки и припустил к выходу.

«Уинстон, Уинстон! — кричала мать ему вслед. — Вернись! Отдай сестре шоколадку!»

Он остановился, но не вернулся. Мать с тревогой смотрела ему в глаза. Кажется, даже сейчас она думала все о том же, скором и неотвратимом. Сестренка, поняв, что ее обобрали, захныкала. Мать обняла девочку, прижала к груди ее мордашку. По этому жесту он вдруг понял, что сестра умирает. Он развернулся и сбегал вниз по лестнице с тающей в кулаке шоколадкой.

Больше он никогда не видел мать. Жадно проглотив шоколад, он почувствовал легкий стыд и болтался на улице несколько часов, пока голод не загнал его домой. Когда он вернулся, матери уже не было. Тогда это становилось обычным делом. Из комнаты ничего не пропало, исчезли только мать и сестра. Вся одежда осталась на месте, даже пальто матери. Уинстон и теперь был не до конца уверен, что мать погибла. Вполне возможно, ее просто отправили на каторгу. А сестру могли, как и Уинстона, забрать в приют для бездомных детей, один из так называемых «восстановительных центров», во множестве открывшихся во время гражданской войны, или отправить вместе с матерью в лагерь, а то и просто бросить где-нибудь умирать.

Сон все не шел у него из головы, особенно тот ограждающий, оберегающий жест, в котором, казалось, уместается весь его смысл. Уинстон вернулся мыслями к другому сну, двухмесячной давности. Как в нынешнем сне мать

сидела, прижимая к себе ребенка, на кровати с протертым белым лоскутным покрывалом, так же сидела она и на тонущем корабле, уходящем каждую минуту все глубже в пучину у него под ногами, и все смотрела на него сквозь темнеющую толщу воды.

Он рассказал Джулии историю исчезновения матери. Не открывая глаз, она перевернулась и улеглась поудобнее.

— Наверняка ты был в то время противным поросенком, — сказала она едва слышно. — Все дети поросята.

— Да. Но суть в том, что...

По ее дыханию было ясно, что она сейчас опять заснет. Уинстону хотелось еще поговорить о матери. Он не помнил о ней ничего такого, чтобы считать ее необычной женщиной и тем более умной. И все же ее отличали своеобразные благородство и чистота — просто потому, что она всегда следовала своим внутренним правилам. Ее чувства были ее чувствами, на них нельзя было повлиять извне. Ей и в голову бы не пришло, что если действие бесполезно, то оно и бессмысленно. Если любишь кого-то — то просто любишь, а если у тебя больше нечем поделиться, все равно даришь любовь. Когда исчезла шоколадка, мать прижала ребенка к себе. Бесполезный, ничего не изменивший жест — от него не прибыло шоколада, он не уберег от смерти ни ребенка, ни ее саму. Но она сделала то, что ей казалось естественным. Беженка в лодке тоже пыталась закрыть мальчика рукой. С таким же успехом она могла бы защищать его от пуля листком бумаги. Партия, вот в чем ужас, убедила людей, что обычные человеческие порывы, обычные чувства ничего не значат, — и одновременно отобрала у них всякую власть над материальным миром. Когда ты в руках Партии, что бы ты ни делал и ни чувствовал, как бы ни сдерживался — это ни на что, вообще ни на что не влияет. Ты в любом случае исчезнешь, и ни

о тебе, ни о твоих делах никто ничего больше не услышит. Ты будешь выхвачен из потока истории.

А ведь всего два поколения назад это было бы для людей не главное, потому что они не пытались изменить ход истории. Ими управляла личная привязанность, которую они не подвергали сомнению. Были важны отношения между людьми, и совершенно беспомощный жест, объятия, слезы, слово, сказанное умирающему, — все это могло иметь самостоятельную ценность. А массы, подумалось Уинстону, такими и остались. Они верны не Партии, стране или идее, они верны друг другу. Впервые в жизни он не презирал массы и не думал о них лишь как о дремлющей силе, которая когда-нибудь воспрянет к жизни и возродит этот мир. Массы остались людьми, не зачерствели внутренне. Они сохранили простейшие эмоции, которые ему самому приходится осваивать заново, сознательным усилием. Думая об этом, Уинстон вспомнил — вроде бы и некстати, — как несколько недель назад увидел на мостовой оторванную руку и отбросил ее пинком в канаву, словно капустную кочерыжку.

— Массы — это люди, — сказал он вслух. — А мы нет.

— Почему? — спросила Джулия, снова проснувшись.

Некоторое время он думал над ответом.

— Тебе никогда не приходило в голову, — начал он, — что нам лучше всего было бы просто выйти отсюда, пока не поздно, и никогда больше не видеться?

— Да, милый, приходило, и не раз. Но я все равно так не сделаю.

— Пока что нам везло, — сказал он. — Но скоро все закончится. Ты молода. Ты выглядишь нормальной, чистой. Будешь держаться подальше от таких, как я, проживешь, может быть, еще лет пятьдесят.

— Нет. Я все обдумала. Куда ты, туда и я. И не будь таким нытиком. Выживать я неплохо умею.

— Мы пробудем вместе, может, еще полгода, год — сколько, не знаю. Но в конце концов нас точно разлучат. Ты понимаешь, что это будет за одиночество? Когда нас рано или поздно поймают, мы не сможем сделать друг для друга ничего — в буквальном смысле. Если я сознаюсь, тебя расстреляют, если не стану сознаваться, расстреляют все равно. Что бы я ни сказал, о чем бы ни промолчал — это не отсрочит твою смерть и на пять минут. Я не буду даже знать, жива ли ты, а ты — жив ли я. Мы вообще ничего не сможем. Важно только одно — не предавать друга, хотя и это вообще ничего не изменит.

— Сознаться мы будем точно, если ты об этом, — сказала она. — Все всегда сознаются. Тут ничего не поделаешь. пытки есть пытки.

— Я не об этом. Сознаться — не значит предать. Что ты говоришь или делаешь, не имеет значения — значимы только чувства. Если меня заставят разлюбить тебя — вот это будет настоящее предательство.

Она задумалась.

— Это у них не выйдет, — сказала она наконец. — Это единственное, чего они не могут. Сказать заставят все что угодно, абсолютно все. Но поверить в это не заставят. Они же не могут забраться тебе в голову.

— Не могут, — согласился он, чуть повеселев. — Это точно, не могут. В голову не заберутся. Если чувствуешь, что есть смысл оставаться человеком, даже если это бесполезно, ты уже их победил.

Уинстон подумал о вечно наводстренном ухе телевида. За всеми шпионят и ночью, и днем, но, сохраняя присутствие духа, можно перехитрить соглядатаев. При всей хитрости они так и не научились читать мысли. Хотя, может, это и не совсем так, когда ты уже у них в руках; никто точно не знает, что происходит в Главлюбе, но можно догадаться: пытки, наркотики, тончайшие

приборы, фиксирующие твои реакции. Наверняка там ломают — не дают спать, держат в одиночке, постоянно допрашивают. Факты точно скрыть не удастся. Их могут установить путем расследования или выбить под пыткой. Но если цель не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы остаться человеком, какое это, в конце концов, имеет значение? Чувства изменить никто не в силах — даже ты сам, даже если захочешь. Можно выяснить в мельчайших деталях, что ты делал, говорил или думал. Но даже для тебя самого тайна, что творится у тебя в сердце. Оно — всегда твоя крепость.

8.

Решились, наконец решились!

Продолговатая комната освещена мягким светом. Телевид лишь приглушенно бормочет. Роскошный темно-синий ковер — словно бархат под ногами. В дальнем конце комнаты, за столом, О'Брайен. Перед ним лампа с зеленым абажуром и горы бумаг по обе руки. Когда денщик ввел в комнату Джулию и Уинстона, О'Брайен даже не поднял глаз.

Сердце Уинстона билось так сильно, что он сомневался, сможет ли говорить. Решились, решились наконец — только одно и крутилось в голове. Какое безрассудство — прийти сюда, и уж совсем глупо — явиться вместе, хотя, конечно, пришли они разными дорогами и встретились только у О'Брайена на пороге. Но и при других обстоятельствах даже для того, чтобы всего лишь зайти в такой дом, пришлось бы набраться храбрости. Мало кому доводилось увидеть изнутри жилище члена Внутренней партии, да и просто проникнуть в квартал, где они живут. Сама атмосфера огромного дома, его богатство и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, снующие вверх-вниз тихие и невероятно быстрые лифты, спешащая по хозяйским делам обслуга в белых пиджаках — все это внушало трепет. Хотя у Уинстона и имелся хороший предлог для визита, его преследовало жуткое предчувствие: вот-вот из-за угла возникнет охранник в черной форме, потребует документы и прикажет убираться. Денщик О'Брайена, однако, впустил обоих без возражений. Скуластое лицо этого невысокого темноволосого человека совершенно ничего не выражало, как у китайца. Он провел их по коридору с кремовыми обоями, белыми деревянными панелями на стенах и мягким ковром на полу: все сияло

чистотой. Это тоже вызывало благоговение. Уинстон не мог припомнить, видел ли вообще когда-нибудь коридор с незалапанными стенами.

О'Брайен держал в руках лист бумаги и, судя по всему, тщательно его изучал. Грубое лицо с резкой линией носа, склоненное над листом, выглядело свирепым и в то же время умным. Секунд двадцать он сидел неподвижно, потом подтянул к себе речепис и, чеканя слова, начитал сообщение на гибридном жаргоне главков:

Пункты один запятая пять запятая семь одобрить полно точка предложение в пункте шесть плюсплюснелепо на грани криводума отменить точка стройку остано-вить до плюсполной оценки стоимости эксплуатации техники точка отбой.

Он неторопливо поднялся и пошел им навстречу, бесшумно ступая по ковру. Теперь, без новоречи, официальность атмосферы несколько рассеялась, но лицо его казалось мрачнее обычного, будто он досадовал из-за их вторжения. Ужас, который испытывал Уинстон, смешался теперь с заурядным смущением. Возможно, он просто совершил дурацкую ошибку. Какие, в самом деле, у него доказательства, что О'Брайен — политический заговорщик? Никаких, кроме той самой искры в глазах и странной двусмысленной фразы. Кроме этого — только его собственные тайные фантазии, выросшие из сна. Он не мог даже притвориться, что пришел одолжить словарь, — тогда никак не объяснить присутствие Джулии.

Проходя мимо телевида, О'Брайен словно спохватился, подошел к стене и нажал на кнопку выключателя. Раздался щелчок. Голос из телевида замолк.

Джулия едва слышно вскрикнула, скорее даже пискнула от удивления. Уинстон, хоть и в панике, не смог сдержаться и потрясенно вымолвил:

— Вы можете его выключать!

— Да, можем выключать. Есть у нас такая привилегия.

Он остановился, нависая над ними своей высокой грузной фигурой. На его лице по-прежнему не удавалось ничего прочесть. Он ждал с довольно суровым видом, что Уинстон заговорит, но о чем? Даже сейчас это выглядело скорее так: О'Брайен просто занят и с досадой гадает, зачем ему помешали. Никто не прерывал молчания. С выключенным телевидом в комнате стало тихо, как в могиле. Секунды тянулись, бесконечные, словно колонны солдат на марше. Уинстон с трудом заставлял себя смотреть в глаза О'Брайену. Наконец зарождающаяся улыбка смягчила мрачное лицо. Характерным жестом О'Брайен поправил на носу очки.

— Ну что, мне сказать или ты скажешь?

— Я скажу, — тут же откликнулся Уинстон. — А точно он выключен?

— Да, все выключено. Мы одни.

— Мы пришли сюда, потому что...

Он замолчал, впервые осознавая невнятность собственных побуждений. Он ведь и сам не знает, какой помощи ждет от О'Брайена, и не так-то просто объяснить, что его сюда привело. Он продолжал, понимая, что его слова наверняка звучат одновременно просительно и претенциозно:

— Мы считаем, что есть заговор, есть тайная организация, которая борется против Партии, и что вы в ней состоите. Мы хотим в нее вступить, хотим участвовать в борьбе. Мы враги Партии. Мы не верим в принципы англизма. Мы криводумцы. К тому же состоим во вне-

брачной связи. Я говорю вам это потому, что мы хотим верить вам свою судьбу. Если хотите, чтобы мы еще сильнее подставились, мы готовы.

Он снова замолчал и оглянулся — ему показалось, что открылась дверь. И правда, низенький желтолицый денщик вошел без стука. Уинстон увидел у него в руках поднос с графином и бокалами.

— Мартин — один из нас, — бесстрастно сказал О'Брайен. — Неси выпивку сюда, Мартин. Поставь на круглый столик. Стульев нам хватит? Тогда можно и присесть, обсудить все в уютной обстановке. И себе принеси стул. Это деловая встреча. Можешь на десять минут перестать быть денщиком.

Коротышка сел — вполне расслабленно, но все же с видом прислужника, камердинера, допущенного к хозяйскому столу. Уинстон посматривал на него краем глаза. А ведь он всю жизнь играет роль, подумалось Уинстону, и ему опасно выходить из нее хоть на миг.

О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. Уинстону вспомнилось, как он видел когда-то то ли на стене, то ли на рекламном щите гигантскую бутылку из электрических лампочек, которые зажгались и гасли, изображая льющуюся в бокал жидкость. То, что налил О'Брайен, казалось почти черным, если посмотреть сверху, но в графине играло, как рубин. От жидкости исходил кисло-сладкий аромат. Джулия взяла свой бокал и принялась с откровенным любопытством.

— Это называется вино, — сказал О'Брайен с легкой улыбкой. — Вы наверняка читали о нем в книгах. Внешней партии, боюсь, его достается совсем немного.

Лицо его снова посерьезнело, и он поднял бокал.

— Я думаю, будет уместно начать с тоста. За нашего вождя — за Эммануэля Гольдштейна.

Уинстон ухватился за бокал в радостном предвкушении. О вине он читал и мечтал. Как стеклянное пресс-папье или полузабытые стишки мистера Чаррингтона, оно было частью исчезнувшего романтического прошлого — былых времен, как он называл их про себя. Почему-то ему всегда казалось, что вино приторно-сладкое, как черничное варенье, и сразу пьянит. То, что он проглотил, его откровенно разочаровало. Много лет Уинстон не пил ничего, кроме джина, и теперь почти не почувствовал вкуса. Он поставил пустой бокал на стол.

— Значит, Гольдштейн на самом деле существует? — спросил он.

— Да, существует и жив-здоров. Только не знаю, где он.

— А заговор, а организация? Тоже существует? Это не выдумка Думнадзора?

— Не выдумка. Мы называем ее Братством. Но о Братстве ты мало что сможешь узнать, кроме того, что оно существует и ты к нему принадлежишь. Однако к этому мы еще вернемся. — Он посмотрел на часы. — Даже членам Внутренней партии не стоит выключать телевид больше чем на полчаса. Напрасно вы пришли сюда вместе, уйти придется порознь. Ты, товарищ, — он кивнул Джулии, — уйдешь первой. В нашем распоряжении минут двадцать. Как вы понимаете, сперва мне нужно задать вам несколько вопросов. Вообще говоря, что вы готовы делать?

— Все, что сможем, — сказал Уинстон.

О'Брайен слегка повернулся на стуле, чтобы смотреть Уинстону прямо в глаза. Джулию он будто не замечал, полагая, видимо, что Уинстон может говорить и за нее. На мгновение его веки опустились. Потом он начал задавать вопросы тихим, ровным голосом, словно совершая обряд, зачитывая своего рода катехизис, когда ответы ему заранее известны.

— Вы готовы отдать жизнь?

— Да.

— Готовы совершать убийства?

— Да.

— Совершать теракты, в которых могут погибнуть сотни ни в чем не повинных людей?

— Да.

— предавать родину, служить иностранным державам?

— Да.

— Вы готовы обманывать, подделывать документы, шантажировать, растлевать малолетних, распространять наркотики, способствовать проституции, заражать венерическими болезнями — делать все, что может привести к моральному разложению и подрвать власть Партии?

— Да.

— Если это потребуется ради наших целей, готовы ли вы, например, плеснуть серной кислотой в лицо ребенку?

— Да.

— Вы готовы сменить личность и прожить остаток жизни официантами или портовыми рабочими?

— Да.

— Вы готовы совершить самоубийство по нашему приказу?

— Да.

— Вы готовы — вы оба — расстаться и никогда больше не видеться?

— Нет! — вклинулась Джулия.

Уинстону показалось, что он не отвечал вечность. На время он, кажется, вообще лишился дара речи. Язык шевелился беззвучно, складывая то одно слово, то другое. И пока он не услышал сам себя — не знал, что скажет.

— Нет, — выдавил он наконец.

— Хвалю за честность, — ответил О'Брайен. — Нам необходимо знать все.

Он повернулся к Джулии и добавил с несколько большей живостью в голосе:

— Ты понимаешь, что если он и выживет, то, возможно, станет другим человеком? Возможно, нам придется изменить его внешность. Лицо, движения, форма рук, цвет волос, даже голос — все будет другое. Возможно, и тебе придется стать другим человеком. Наши хирурги могут изменить человека до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутуруем руку или ногу.

Уинстон не удержался и украдкой кинул еще один взгляд на монгольскую физиономию Мартина. Видимых шрамов на ней не оказалось. Джулия слегка побледнела, ее веснушки выступили ярче, но она бесстрашно взглянула в глаза О'Брайену. И что-то пробормотала — как будто соглашаясь.

— Хорошо. Значит, договорились.

На столе лежал серебряный портсигар. С довольно рассеянным видом О'Брайен подтолкнул его к гостям, затем сам взял сигарету, встал и начал медленно расхаживать по комнате, будто так ему легче думалось. Сигареты оказались очень хорошие — толстые, плотно набитые, и бумага непривычная, шелковистая. О'Брайен снова взглянул на часы.

— Тебе пора возвращаться в кладовку, Мартин, — сказал он. — Я буду на связи через четверть часа. Посмотри хорошенько на этих товарищей. Ты с ними еще встретишься. А я, может быть, и нет.

Так же, как у входа в квартиру, темные глаза коротышки скользнули по их лицам. Он держался без тени дружелюбия: запоминал их внешность, но никакого интереса не проявлял — по крайней мере видимого. Уинстону подумалось, что искусственное лицо, может быть, и не способно менять выражение. Ничего не сказав на прощание, Мартин вышел и бесшумно закрыл за собой дверь.

О'Брайен продолжал ходить по комнате, сунув одну руку в карман черного комбинезона, а в другой держа сигарету.

— Вы должны понимать, — сказал он, — что сражаться придется в темноте. В полном неведении. Будете получать и выполнять приказы, не зная зачем. Позже я пришлю вам книгу, которая донесет до вас правду о том обществе, в котором мы живем, и стратегию, с помощью которой мы его уничтожим. Прочтя книгу, вы станете полноправными членами Братства. Но ничего, кроме общих целей, к которым мы стремимся, и конкретных текущих заданий, вы никогда не узнаете. Я сказал вам, что Братство существует, но не могу сказать, сколько в нем членов — сто или десять миллионов. Лично вы познакомитесь от силы с десятью–двенадцатью. У вас будут три или четыре контактных лица, они будут меняться по мере исчезновения. Поскольку я — ваше первое контактное лицо, так будет и дальше. Приказы, которые вы получите, будут исходить от меня. Если нам потребуется с вами связаться, сделаем это через Мартина. Когда вас в конце концов поймают, вы сознаетесь. Это неизбежно. Но вы мало о чем сможете рассказать, кроме собственных действий. Вы предадите лишь горстку не особенно важных людей. Вероятно, вы даже не сдадите меня. К тому времени я, наверное, буду мертв или стану другим человеком с другим лицом.

Он продолжал вышагивать туда-сюда по мягкому ковру. Его массивное тело двигалось удивительно грациозно. Эта грация проявлялась, даже когда он совал руку в карман или жестикулировал сигаретой. В его облике преобладала не грубая сила, а уверенность в себе, основанная на несколько ироническом мироощущении. Несмотря на всю серьезность О'Брайена, в нем не было прямолинейности фанатика. Об убийстве, самоубийстве, венерических болезнях, ампутированных конечностях

и измененных лицах он говорил слегка насмешливо. «Это неизбежно, — слышалось в его голосе. — Да, вот что нам приходится делать, никаких отговорок. Но когда заживем по-новому, займемся другими, более достойными делами». Уинстон послал О'Брайену волну восхищения, почти благоговения. О призрачной фигуре Гольдштейна он на время забыл. При взгляде на мощные плечи О'Брайена, его честное лицо, такое некрасивое, но одухотворенное, не верилось, что над таким человеком можно взять верх. Нет такой хитрости, которую он не сможет разгадать, такой опасности, которую он не в силах предвидеть. Уинстону показалось, что даже Джулия под впечатлением. Ее сигарета погасла, она ловила каждое слово. О'Брайен продолжал:

— До вас наверняка доходили слухи, что есть такое Братство. И, конечно, у вас сложилось о нем собственное представление. Вы вообразили себе целый подпольный мир с заговорщиками, тайные встречи в подвалах, послания, нацарапанные на стенах, обмен паролями или условными знаками при встрече. Ничего подобного нет. У членов Братства нет возможности узнать друг друга, и каждому лично знакомы, может быть, лишь несколько человек. Сам Гольдштейн, попади он в руки Думнадзора, не смог бы выдать полный список организации да и вообще рассказать то, что могло бы вывести на полный список. Такого списка не существует. Братство нельзя истребить, потому что оно не есть организация в обычном смысле слова. Ничто не сплачивает его, кроме идеи, а идею невозможно уничтожить. У вас не будет никакой поддержки — только идея. Не будет ни чувства локтя, ни моральной поддержки. Когда в конце концов вас поймают, не ждите помощи. Мы никогда не помогаем членам Братства. Самое большее — можем иногда передать в камеру лезвие, если совершенно

необходимо чье-то молчание. Вам придется привыкнуть жить без результатов и без надежды. Поработаете какое-то время, попадетесь, сознаетесь, умрете. Вот и все ваши результаты, других не увидите. Никакие ощутимые перемены при нашей жизни невозможны. Мы мертвецы. Наша истинная жизнь — лишь в будущем. Попадем туда и мы — горстками пепла, осколками костей. Далекое ли это будущее, нам знать не дано. Может, оно придет через тысячу лет. А сейчас мы просто понемногу расширяем пространство здравого смысла. Нам нельзя действовать коллективно. Мы можем лишь передавать наше знание — от человека к человеку, от поколения к поколению. Когда нам противостоит Думнадзор, другого пути нет.

Он остановился и в третий раз посмотрел на часы.

— Тебе уже почти пора, товарищ, — сказал он Джулии. — А, нет, погодите-ка — графин еще наполовину полон.

Он наполнил бокалы и поднял свой, держа за ножку.

— За что теперь выпьем? — спросил он все с той же легкой иронией. — За то, чтоб Думнадзор сбился со следа? За смерть Старшего Брата? За человечество? За будущее?

— За прошлое, — сказал Уинстон.

— Да, прошлое важнее, — серьезно кивнул О'Брайен.

Они выпили до дна, и Джулия тут же собралась уходить. О'Брайен потянулся к шкафу с папками для бумаг, достал небольшую коробочку и выдал ей плоскую белую таблетку, приказав положить на язык. Важно, сказал он, чтобы никто не учуял запах вина: операторы лифтов очень наблюдательны. Как только за Джулией закрылась дверь, О'Брайен, казалось, забыл о ее существовании. Он еще раз прошелся по комнате, остановился.

— Утрясем детали, — сказал он. — Предполагаю, что у вас есть какое-то тайное место для встреч, так?

Уинстон объяснил про комнату над лавкой мистера Чаррингтона.

— Пока этого хватит. Потом придумаем вам что-то другое. Убежища важно менять почаще. А пока pošлю вам как можно скорее книгу. — Даже О'Брайен, заметил Уинстон, произносит это слово с особым нажимом. — Книгу Гольдштейна, как ты понимаешь. Мне нужно несколько дней, чтобы ее раздобыть. Как ты, наверное, догадываешься, на свете не так-то много экземпляров. Думнадзор их разыскивает и уничтожает почти так же быстро, как мы печатаем новые. Все без толку. Книгу невозможно уничтожить. Даже если исчезнет последний экземпляр, мы сможем воспроизвести ее почти дословно. Ты на работу ходишь с портфелем?

— Как правило, да.

— Как он выглядит?

— Черный, сильно потертый. С двумя ручками.

— Черный, две ручки, сильно потертый — отлично.

В скором времени, точно не могу сказать когда, ты получишь сообщение по работе — в нем будет слово с опечаткой. Тебе придется попросить, чтобы сообщение прислали заново. На следующий день пойдешь на работу без портфеля. К тебе подойдет на улице человек, прикоснется к твоему плечу и скажет: «По-моему, вы уронили портфель». В портфеле, который он тебе даст, будет экземпляр книги Гольдштейна. Вернешь через четырнадцать дней.

Наступило недолгое молчание.

— Через пару минут тебе пора, — сказал О'Брайен. — Встретимся — если встретимся...

Уинстон поднял на него глаза.

— Там, где нет тьмы? — сказал он нерешительно.

О'Брайен кивнул, не выказывая удивления.

— Там, где нет тьмы, — повторил он, словно этот образ был ему понятен. — А пока — не хочешь ничего мне сказать, прежде чем уйти? Сообщить? Спросить?

Уинстон задумался. Вопросов вроде бы не осталось. Еще меньше хотелось произносить пафосные общие фразы. Совершенно вне всякой связи с О'Брайеном и Братством в голове у него сложилась мозаика, собранная из темной спальни, в которой провела свои последние дни мать, комнатки над лавкой мистера Чаррингтона, стеклянного пресс-папье и офорта в раме из розового дерева. И он ни с того ни с сего спросил:

— Вы когда-нибудь слышали старую детскую песенку — «Апельсин да лимон, у Климента слышен звон»?

О'Брайен снова кивнул. Со своей любезной серьезностью он закончил четверостишие:

— Апельсин да лимон, у Климента слышен звон,
Отвечает Мартин: ты мне должен фартинг.
Когда отдашь, когда? — звонят возле суда.
С первого миллиарда, звонят у Леонарда*.

— Вы знали последнюю строчку! — воскликнул Уинстон.

— Да, знал. А теперь, боюсь, тебе пора. Погоди, дам тебе тоже таблетку.

Уинстон поднялся, О'Брайен протянул руку и чуть не раздавил ему ладонь крепким пожатием. В дверях Уинстон оглянулся, но О'Брайен уже, кажется, начал о нем забывать. Он ждал, держа палец на кнопке выключателя. За его спиной Уинстон видел письменный стол с зеленой лампой, речеписом и проволочными лотками, полными бумаг. Через полминуты, подумал он, О'Брайен вернется к прерванной работе на благо Партии.

* Речь о церкви Св. Леонарда на Шордич-Хай-стрит.

9.

От усталости Уинстон весь сделался кисельным — вот какое слово вдруг пришло ему в голову. Во всем теле он ощущал не только слабость, но и какую-то желеобразную полупрозрачность. Казалось, поднимешь руку — и увидишь сквозь нее свет. И кровь, и лимфу высосала, как многодневный запой, работа: Уинстон теперь лишь хрупкий остов из нервов, костей и кожи. Все чувства многократно обострились. Комбинезон натирал плечи, мостовая щекотала ступни, даже просто сжать и разжать кулак было тяжело — от усилия скрипели суставы. За последние пять дней он отработал больше девяноста часов, как и все в главке. Но все закончилось, и вот ему буквально нечем заняться — до завтрашнего утра никакой партийной работы! Можно провести шесть часов в убежище и еще девять — в собственной постели. Под ярким послеполуденным солнцем он брел по грязной улочке в сторону лавки мистера Чаррингтона, поглядывая одним глазом, не идет ли патруль, но пребывая в какой-то смутной уверенности, что сегодня никто его не тронет. Тяжелый портфель у него в руке с каждым шагом бился о колено, отчего по ноге пробежали мурашки. В портфеле — книга, которую он получил шесть дней назад и даже еще не открыл, даже одним глазком в нее не заглянул.

На шестой день Недели ненависти, после шествий, речей, речовок, песен, знамен, плакатов, фильмов, диорам, барабанного боя и визга труб, топота марширующих ног, лязга танковых гусениц, рева авиации и буханья пушек — после шести дней всего этого, на самом пике оргазма, ненависть к Евразии достигла такого градуса безумия, что, доберись толпа до двух тысяч евразийских военных преступников, которых собирались повесить в последний



EAT LESS

Делай свое дело! Береги еду! Ешь меньше, чтобы сохранить ее для армии и наших союзников

DO YOUR BIT!

SAVE FOOD



TO SAVE FOR THE ARMY
AND OUR ALLIES

день мероприятия, непременно разорвала бы их в клочья. И именно в этот момент объявили, что Океания, оказывается, не воюет с Евразией, а воюет с Остазией. Евразия — союзник.

Конечно, нигде не было объявлено, что все поменялось. Просто стало известно, совершенно внезапно и сразу повсюду, что враг — Остазия, а не Евразия. Когда это случилось, Уинстон участвовал в демонстрации на одной из центральных лондонских площадей. Уже спустилась ночь, в свете прожекторов белые лица и алые знамена выглядели жутковато. Площадь загромодила толпа из нескольких тысяч человек, включая примерно тысячную колонну школьников в форме Лазутчиков. На обтянутом кумачом помосте оратор из Внутренней партии, малорослый и худощавый, с непропорционально длинными руками и огромной лысиной, прикрытой жидкими прядями, заводил толпу. Скрюченный от ненависти, он смахивал на Румпельштильцхена: в одной руке сжимал микрофон, а другой, огромной и костлявой, как грабли, угрожающе размахивал над головой. Голосом, которому репродуктор придавал металла, он изливал на головы толпы бесконечный список зверств, массовых убийств, депортаций, грабежей, пыток, бомбардировок мирного населения, нарушенных договоров, примеров лживой пропаганды и неоправданной агрессии. Как тут не проникнуться убеждением, что все это правда, и не вознегодовать? Ярость толпы иногда переливалась через край, и голос оратора тонул в зверином реве, что самопроизвольно рвался из тысяч глоток. Самые дикие вопли издавали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, когда на сцену взбежал гонец и передал оратору записку. Тот развернул ее и прочитал, не прерывая выступления. Ни в его манере и голосе, ни в содержании речи ничего не поменялось — только имена собственные вдруг пошли

другие. Без лишних слов в толпе волной распространилось озарение: Океания воюет с Остазией! Тут поднялась безумная суматоха. Транспаранты и плакаты, которыми украшена площадь, неправильные! На половине из них совсем не те лица! Вредительство! Тут не обошлось без агентов Гольдштейна!

Последовало несколько минут бесчинства — плакаты срывали со стен, транспаранты раздирали на мелкие клочки и топтали ногами. Лазутчики являли чудеса ловкости, взбираясь на крыши и срезая с печных труб веревки с трепещущими вымпелами. Но через две-три минуты все закончилось. Оратор, все еще сжимая микрофон, подаваясь вперед и загребая воздух свободной рукой, продолжал выступление. Еще минута, и звериный рев возмущения снова вырвался у толпы. Ненависть изливалась как и прежде — сменилась только цель.

Вспоминая ту ночь, Уинстон не мог не подивиться, как оратор переключился с одной установки на другую буквально посреди предложения: не просто без паузы, но даже не споткнувшись на запятой. Но тогда Уинстона больше беспокоило другое. Как раз в тот момент, когда началась суматоха со срыванием плакатов, некто — лица Уинстон не видел — похлопал его по плечу и сказал: «Извините, по-моему, вы уронили портфель». Он рассеянно принял портфель, ничего не сказав в ответ и зная, что сможет заглянуть в него лишь через несколько дней. Как только закончилась демонстрация, он отправился напрямиком в Главист, хотя дело шло к двадцати трем часам. Все сотрудники главка сделали то же самое. В указаниях возвращаться на рабочие места, уже звучавших из телевида, они не нуждались.

Океания воюет с Остазией; Океания всегда воевала с Остазией. Немалая часть политической литературы, выпущенной за последние пять лет, полностью уста-

рела. Отчеты и архивные материалы всех видов, газеты, книги, брошюры, фильмы, аудиозаписи, фотографии — все это нужно молниеносно исправить. Хотя никакой директивы на этот счет не поступало, стало известно, что начальство архивного сектора хотело бы, чтобы уже через неделю нигде не осталось ни одного упоминания о войне с Евразией или союзе с Остазией. Работа предстояла огромная, осложненная к тому же невозможностью называть вещи своими именами. Все в архсеке трудились по восемнадцать часов в день с двух-трехчасовыми перерывами на сон. Из подвалов принесли и раскидали по коридору матрасы. Из еды — только бутерброды да кофе «Победа» с тележек, которые развозили работники столовой. Каждый раз, когда Уинстон уходил поспать, он убирал все бумаги со стола, и каждый раз, приползая снова на рабочее место со слипающимися глазами и ломотой во всем теле, находил на столе сугроб из цилиндриков с заданиями, укрывавший речепис и стеклавший на пол, так что первым делом приходилось складывать их в более или менее аккуратные кучки, чтобы освободить место для работы.

Самое противное, что работа была отнюдь не механическая. Нет, порой достаточно было лишь заменить одно имя на другое, но любой подробный отчет о событиях требовал тщательности и воображения. Даже чтобы просто перенести войну из одной части мира в другую, нужны были существенные познания в географии.

К третьему дню глаза болели невыносимо, а очки приходилось протирать каждые несколько минут. Это выматывало, словно какая-то тяжелая физическая работа: вроде бы ты имел право от нее отказаться, но с невротической тревогой стремишься закончить. Уинстон, насколько хватало сил, осознавал: его ничуть не беспокоит, что каждое слово, которое он бормочет

в речепис, каждая закорючка его чернильного карандаша представляют собой сознательную ложь. Как и все в архивном секторе, он беспокоился лишь о совершенстве подделки. Наутро шестого дня дождь из цилиндров стал утихать. Целых полчаса из пневмотрубы ничего не вываливалось, потом еще один цилиндр — и снова ничего. Примерно в то же время вал работы начал спадать повсюду. По всему сектору глубоко и, естественно, украдкой выдохнули. Совершен подвиг, о котором никогда нельзя будет никому рассказать. Теперь ни один человек не докажет с документами в руках, что Океания когда-то воевала с Евразией. В двенадцать часов неожиданно объявили, что все сотрудники главка свободны до завтрашнего утра. Все еще не расставаясь с портфелем, который все эти дни он ставил между ног, пока работал, и подкладывал под себя, устраиваясь спать, Уинстон сходил домой. Там он побрился и чуть не заснул в ванне с еле теплой водой.

Вовсю скрипя суставами, он взобрался по лестнице в комнату над лавкой мистера Чаррингтона. Усталость никуда не делась, зато расхотелось спать. Он открыл окно, зажег грязный примус и поставил на него кастрюлю воды для кофе. Скоро придет Джулия, а пока — за книгу. Он уселся в продавленное кресло и расстегнул портфель.

Толстый том в любительском черном переплете, на обложке — ни названия, ни фамилии автора. Набор выглядит слегка неровным. Страницы истерлись по краям и легко выпадают, будто книга прошла через множество рук. Надпись на титульном листе гласит:

Эммануэль Гольдштейн

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА

Уинстон начал читать:

Глава I

Незнание есть сила

С тех пор, как существует письменность, а вероятно, еще с эпохи позднего неолита мир населяют люди трех типов — Верхние, Средние и Нижние. Их делили на несчетное число подтипов, называли разными именами; от эпохи к эпохе различались процентное соотношение этих типов, а также способы взаимодействия между ними, но базовая структура общества оставалась неизменной. Даже после великих потрясений и, казалось бы, необратимых перемен прежняя схема восстанавливалась. Так маятник всегда приходит в равновесие, куда его ни качни.

Цели этих групп непримиримо противоречивы...

Уинстон перестал читать — просто чтобы насладиться самой ситуацией: вот, сидит себе, читает в комфорте и безопасности. Никого вокруг, ни телеvida, ни чьего-нибудь уха у замочной скважины и совсем не тянет нервно оглядываться через плечо или заслонять ладонью страницу. Нежный летний ветерок треплет по щеке. Откуда-то издали еле слышны детские голоса, но в самой комнате ни звука, только часы тикают, словно стрекочет сверчок. Он уселся в кресле поглубже, положил ноги на каминную решетку. Блаженство, вечное блаженство. Как иногда бывает с книгами, в которых непременно прочтут каждое слово и будут еще перечитывать, Уинстон открыл том в случайном месте — оказалось, на третьей главе. И продолжал читать:

Глава III

Война есть мир

Разделение мира на три гигантских супергосударства можно было предсказать — да и предсказывали — еще в первой половине XX века. С поглощением Европы Россией, а Британской империи Соединенными Штатами фактически оформились две из трех ныне существующих держав — Евразия и Океания. Третья, Остазия, сложилась в единое целое лишь через десятилетие хаоса и войн. Границы трех супергосударств в некоторых местах произвольны, в других изменяются в зависимости от военных успехов, но в целом географически обусловлены. Евразия занимает всю северную часть континентальной Европы и Азии, от Португалии до Берингова пролива. Океания включает в себя Северную и Южную Америку, атлантические острова, включая Британские, Австралазию и южную часть Африки. Остазия меньше двух других и не имеет столь определенной западной границы. В нее входят Китай и страны к югу от него, Японские острова и большая, но постоянно изменяющаяся часть Маньчжурии, Монголии и Тибета.

В тех или иных сочетаниях три супергосударства вот уже двадцать пять лет находятся в перманентном состоянии войны. Война, однако, уже не та отчаянная борьба на уничтожение, какой она была в первые десятилетия XX века. Это ограниченные боевые действия между противниками, неспособными уничтожить друг друга и не имеющими ни экономических причин воевать, ни каких-либо существенных идеологических противоречий.

Это не значит, что методы ведения войны или ее восприятие в обществе стали менее кровавыми и более рыцарственными. Наоборот, милитаристская истерия в трех странах не прекращается и затрагивает всех и каждого, и такие действия, как изнасилование, мародерство, убийство детей, обращение в рабство целых народов и жестокость к пленным, которых варят или хоронят заживо, рассматриваются как норма и даже как геройство — если, конечно, их совершают свои, а не враги. Но в военных действиях как таковых задействовано совсем небольшое число людей, в основном хорошо подготовленных профессионалов, и потери относительно немногочисленны. Когда бои все же идут, они имеют место на спорных границах, о местоположении которых обычный гражданин может лишь догадываться, и вокруг плавающих крепостей, охраняющих стратегические точки морских путей. В центрах цивилизации война отзывается лишь постоянным дефицитом потребительских товаров да взрывами ракет, от которых за раз может погибнуть несколько десятков человек. Характер войны изменился. Точнее, изменился порядок приоритетности тех причин, по которым ведется война. Мотивы, в малой степени уже присутствовавшие в войнах начала XX века, теперь доминируют, признаются и определяют действия сторон.

Чтобы понять природу нынешней войны — ибо, несмотря на происходящую каждые несколько лет перегруппировку, это всегда одна и та же война, — нужно первым делом осознать, что в ней невозможен решительный исход. Ни одно из трех супергосударств не может быть завоевано даже двумя

другими вместе. Силы слишком равны, а естественные фортификации слишком неприступны. Евразию защищают ее огромные пространства, Океанию — просторы Атлантического и Тихого океанов, Остасию — плодovitость и трудолюбие населения. К тому же материальных ценностей, за которые стоит воевать, больше нет. С возникновением самодостаточных экономических систем, в которых производство и потребление привязаны друг к другу, борьба за рынки сбыта — главная причина прежних войн — прекратилась, а конкуренция за источники сырья перестала быть вопросом жизни и смерти. Как бы то ни было, каждое из трех супергосударств так огромно, что располагает всеми необходимыми ресурсами на собственной территории. Если и есть у войны прямой экономический смысл, то это борьба за рабочую силу. Между границами супергосударств и вне юрисдикции какого-либо из них находится неровный четырехугольник с углами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге. Внутри него сосредоточена примерно одна пятая населения Земли. Три державы постоянно борются за контроль над этими густонаселенными регионами и арктической ледяной шапкой. На практике ни одна из них никогда не контролирует всю спорную территорию. Части ее постоянно переходят из рук в руки, и возможность внезапно предательски захватить тот или иной кусок диктует бесконечные перемены в составе альянсов.

Все спорные территории богаты ценными полезными ископаемыми, а некоторые обеспечивают важным растительным сырьем, например каучуком, который в более холодных климатических

поясах приходится синтезировать сравнительно затратными способами. Но, что самое важное, эти территории — бездонный резервуар дешевой рабочей силы. Держава, контролирующая экваториальную Африку, страны Ближнего Востока, Южную Индию или острова Индонезии, получает в свое распоряжение десятки, сотни миллионов привычных к тяжелому труду и подневольных работников. Население этих мест, низведенное — более или менее откровенно — до рабского положения, постоянно переходит от захватчика к захватчику. Они расходный материал, вроде нефти и угля, в гонке вооружений и завоеваний, в борьбе за контроль над трудовыми ресурсами, необходимыми для гонки вооружений и завоеваний... и так далее без конца. Следует заметить, что военные действия ведутся лишь на рубежах спорных территорий. Границы Евразии перемещаются между бассейном реки Конго и северным берегом Средиземного моря. Острова Индийского и Тихого океанов постоянно переходят от Океании к Остзии. На территории Монголии в вечном движении находится разделительная линия между Евразией и Остзией. Все три державы претендуют на огромные полярные территории, по большей части необитаемые и неисследованные. Но примерное равновесие сил всегда сохраняется, а основная территория — сердце каждого супергосударства — остается неприкосновенной. Более того, труд эксплуатируемых народов по обе стороны экватора не является необходимым для мировой экономики. Благодаря ему не прирастает благосостояние, поскольку он направлен на военные цели, а основная задача войны заключается

в поддержании военного преимущества. Своим трудом порабощенное население позволяет наращивать темп непрерывных военных действий. Но если бы этого населения не существовало, глобальное устройство и процессы, поддерживающие его незыблемость, остались бы, в сущности, прежними.

Основная цель современной войны (в соответствии с принципами джордана, эта цель одновременно признается и не признается мозговым центром Внутренней партии) — использовать прирост производительности от автоматизации, не повышая уровень жизни населения. Еще с конца XIX века индустриальное общество сосуществует с латентной проблемой переизбытка потребительских товаров. Но в настоящее время, когда многим не хватает даже продуктов питания, эта проблема, конечно, не стоит так остро и, возможно, не стояла бы, даже если бы остановился процесс искусственного уничтожения продуктов человеческого труда. Нынешний мир — убогий, голодный, обветшалый и по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, и особенно по сравнению с воображаемым будущим, о котором мечтали люди того времени. В начале XX века картина общества будущего — невообразимо богатого, праздного, упорядоченного и эффективно устроенного, живущего в сверкающем чистотой мире из стекла, стали и ослепительно белого бетона — рисовалась каждому грамотному человеку. Наука и технологии развивались опережающими темпами, и казалось естественным, что они продолжают развиваться и впредь. Этого не произошло — отчасти из-за всеобщего обнищания, вызванного долгой

чередой войн и революций, а отчасти потому, что в основе научно-технического прогресса лежит эмпирическое мышление, несовместимое со строго иерархическим обществом.

В целом мир сейчас более примитивен, чем пятьдесят лет назад. Некоторые отсталые регионы продвинулись вперед, разработаны разнообразные устройства, исключительно для военных и полицейских нужд, но научно-исследовательская работа практически прекратилась, а последствия атомной войны пятидесятых годов все еще не преодолены. Тем не менее автоматизация все еще таит в себе опасности. С тех пор, как появились машины, всем думающим людям стало очевидно, что исчезает необходимость в тяжелом монотонном труде — а следовательно, во многом и почва для неравенства. Голод, переутомление, грязь, неграмотность и болезни можно было бы победить за несколько поколений, если сознательно поставить машины этому на службу. Впрочем, хотя машины и не применялись для этого целенаправленно, а просто производили ценности, которые иногда невозможно было не распределить, автоматизация все же весьма значительно повысила средний уровень жизни в течение пятидесяти лет в конце XIX — начале XX века.

Однако при этом стало ясно, что повышение всеобщего благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью: собственно, это и есть его гибель. В мире, где у всех короткий рабочий день, достаточно еды, есть дом с туалетом и холодильником, автомобиль или даже самолет, самая очевидная и, возможно, самая важная форма неравенства уже устранена. Богатство, если им

обладает каждый, больше не означает исключительности. Конечно, можно представить себе общество, в котором *богатство* — предметы как первой необходимости, так и роскоши — распределено равномерно, тогда как *власть* остается в руках небольшой привилегированной касты. Но на практике такое общество не может долго оставаться стабильным. Ведь если свободное время и безопасность есть у всех, огромные массы людей, ранее отупляемых бедностью, станут грамотными и научатся думать самостоятельно. А когда это произойдет, они рано или поздно осознают, что привилегированное меньшинство не выполняет никакой полезной функции, и сметут его. В долгосрочной перспективе иерархическое общество может существовать лишь на фундаменте бедности и невежества.

Вернуться к сельскохозяйственному прошлому, как мечтали некоторые мыслители в начале XX века, не представлялось реалистичным: такое решение пошло бы наперекор тенденции к автоматизации, ставшей во всем мире уже почти безотчетной. Более того, индустриально отсталая страна оказалась бы беспомощной в военном плане и попала бы в прямую или косвенную зависимость от более продвинутых конкурентов.

Неудовлетворительным оказалось и другое решение — удерживать массы в бедности, ограничивая выпуск товаров. В значительной мере именно это и происходило на завершающей стадии капитализма, примерно между 1920 и 1940 годами. Экономика многих стран стагнировала, земля перестала обрабатываться, основные средства производства не обновлялись, широкие слои

населения были лишены возможности трудиться, но и не умирали с голода благодаря подачкам от государства. Однако и этот путь вел к ослаблению военного потенциала, и, поскольку население при этом подвергалось явно неоправданным лишениям, неизбежно нарастало сопротивление.

Проблема заключалась в том, чтобы заставить шестеренки промышленной машины вращаться без повышения благосостояния людей во всем мире. Единственным практичным решением оказались непрерывные военные действия.

Основная функция войны — уничтожение, необязательно человеческих жизней, но продуктов человеческого труда. Война крушит, отправляет в стратосферу, топит в океанских глубинах ресурсы, которые в ином случае можно было бы использовать, чтобы обеспечить массам комфортную жизнь, отчего они в долгосрочной перспективе стали бы слишком разумны.

Даже если оружие не уничтожается, в любом случае его производство — удобный способ задействовать трудовые ресурсы так, чтобы при этом не производилось ничего пригодного для потребления. Например, одна плавучая крепость пожирает столько труда, сколько было бы достаточно для строительства нескольких сотен грузовых кораблей. И в итоге она, не принеся никому никакой ощутимой пользы, идет на лом как устаревшая, и вновь огромные трудовые ресурсы вкладываются в создание очередной плавучей крепости.

В теории военные действия всегда планируются так, чтобы поглотить любые излишки, остающиеся после удовлетворения минимальных потребностей населения. Но на практике эти потребности

всегда недооцениваются. Результат — хроническая нехватка половины товаров первой необходимости, однако она рассматривается как благо. Даже привилегированные группы населения сознательно держат на грани нищеты, поскольку общая обстановка нехватки всего необходимого повышает значимость мелких привилегий и таким образом усиливает иерархические различия. По меркам начала XX века даже член Внутренней партии живет аскетично и много работает. Однако и те немногие признаки роскошной жизни, что ему доступны, — большая, хорошо обставленная квартира, одежда из хорошей ткани, более высококачественные еда, алкоголь и табак, обслуга из двух-трех человек, машина или вертолет в личном пользовании — уже делают его существом из другого мира по сравнению с членами Внешней партии, а те обладают подобным преимуществом по сравнению с подавляемым пролетариатом, который мы называем массами. Атмосфера в обществе — как в осажденном городе, где кусок конины уже становится признаком богатства. В то же время благодаря ощущению опасности, связанному с жизнью в воюющей стране, передача всей власти небольшой общности людей кажется естественным и неизбежным условием выживания.

Как можно заметить, война производит необходимые разрушения, к тому же психологически приемлемым способом. Строго говоря, было бы нетрудно израсходовать избыточные трудовые ресурсы на строительство храмов и пирамид или на рытье и закапывание котлованов, даже на производство огромного количества товаров, которые вскорости просто сжигались бы. Однако таким

способом можно создать только экономическую, но не эмоциональную базу для иерархического общества. Здесь важны настроения не масс — их эмоции не имеют значения, пока они загружены работой, — но самой Партии. Самый что ни на есть рядовой партиец должен быть компетентным, трудолюбивым, даже умным в прикладном смысле слова, но вместе с тем необходимо, чтобы он оставался легковерным, невежественным фанатиком, чьи преобладающие эмоции — страх, ненависть, благоговение и первобытный восторг. Другими словами, от него требуется менталитет, соответствующий военному положению. Неважно, идет ли война на самом деле, и, поскольку окончательная победа невозможна, не имеет значения, хорошо она идет или плохо. Важно само состояние войны.

Двойственность мышления, которой Партия требует от своих членов и которая легче всего достигается в атмосфере войны, теперь наблюдается почти у всех, но чем выше в иерархии, тем она более заметна. Именно во Внутренней партии царит самая сильная милитаристская истерия, именно здесь сильнее всего ненависть к врагу. Как управленец, член Внутренней партии зачастую не может не знать, что та или иная военная сводка — неправда. Зачастую он осведомлен и о том, что вся война фальшивая и либо не ведется вовсе, либо ведется ради иных целей, чем объявлено. Однако это знание легко нейтрализуется техникой двоедумия.

В то же время ни один член Внутренней партии не способен поколебаться ни на минуту в своей сверхъестественной вере, что война реальна и должна закончиться победой, в результате чего во

всем мире установится безраздельное владычество Океании. Для всех членов Внутренней партии это грядущее завоевание — своего рода символ веры. Оно будет достигнуто или посредством все новых и новых территориальных приобретений, что приведет к подавляющему превосходству, или благодаря какому-то новому непобедимому оружию.

Разработка новых видов вооружения продолжается беспрестанно, и это один из немногих видов деятельности, в которых может найти себе применение изобретательный и беспокойный ум. В сегодняшней Океании наука в прежнем смысле слова практически перестала существовать. В новоречи нет слова «наука». Эмпирическое мышление, на котором основаны все научные достижения прошлого, противоречит самым фундаментальным принципам англизма. Даже технический прогресс сейчас возможен лишь в том случае, если его плоды можно так или иначе использовать для ограничения свобод. А во всех общественно полезных отраслях мир либо остановился, либо откатывается назад. Поля пахут на лошадях, а книги пишут машины. Между тем в вопросах жизненной важности — то есть, строго говоря, в вопросах войны и слежки — эмпирический подход все еще поощряется или по крайней мере не наказывается.

У Партии две цели — завоевать весь мир и навсегда погасить независимую мысль, устранив саму ее возможность. Отсюда две титанические задачи, которые Партия стремится решить. Одна — научиться узнавать против воли человека, о чем он думает, вторая — научиться уничтожать несколько сотен миллионов человек за несколько секунд и без предупреждения. Научные исследо-

вания продолжают лишь в этих направлениях. Нынешний ученый — либо гибрид психолога с инквизитором, скрупулезно изучающий значение мимики, жестов, интонаций и испытывающий медикаменты, средства шоковой терапии, гипноз и пытки для извлечения информации, либо химик, физик или биолог, специализирующийся лишь в тех областях своей науки, которые связаны с истреблением людей.

В огромных лабораториях Главмира, на экспериментальных базах, скрытых в лесах Бразилии, в австралийских пустынях или на затерянных островах Антарктики неутомимо трудятся исследовательские группы. Одни просто планируют логистику будущих войн. Другие проектируют все более разрушительные ракеты, все более мощные взрывчатые вещества, все более непробиваемую броню. Третьи ищут новые, более действенные отравляющие газы, растворимые яды, которые можно произвести в таких количествах, чтобы уничтожить растительность на целых континентах, выводят вирусы со стойким иммунитетом к любым антителам. Четвертые работают над транспортными средствами, способными перемещаться под землей, как подводные лодки в океане, или над самолетами, столь же независимыми от баз, как парусники. Пятые исследуют совсем фантастические возможности — такие, как фокусирование солнечных лучей через линзы, размещенные в космосе в тысячах километров от Земли, или создание искусственных землетрясений и цунами с помощью энергии земного ядра.

Однако ни один из этих проектов и близко не подошел к стадии реализации, и ни одному

из трех супергосударств не удастся намного обогнать другие. Большого внимания заслуживает тот факт, что все три уже обладают оружием более мощным, чем все, что может вырасти из их нынешних исследований, — атомной бомбой. Хотя Партия по обыкновению ставит ее изобретение себе в заслугу, атомные бомбы впервые появились еще в 1940-е годы, а их масштабное применение произошло примерно через десятилетие. Тогда были сброшены сотни бомб на промышленные центры, по большей части в европейской части России, Западной Европе и Северной Америке. Последствия убедили правящие круги всех стран, что еще несколько атомных бомб могут положить конец организованному обществу, а значит, и их собственной власти. С тех пор, хотя нет и намека ни на какое формальное соглашение, атомные бомбы больше не применялись. Все три державы просто продолжают производить их и складировать на случай, если представится возможность одержать окончательную победу, — а все они верят, что рано или поздно такая возможность представится. Тем временем искусство войны в последние тридцать–сорок лет стоит на месте. Стали чаще, чем прежде, применяться вертолеты, бомбардировку с самолетов в основном заменили ракетные удары, а уязвимые подвижные боевые корабли уступили место практически непотопляемым плавучим крепостям — но в общем и целом развитие прекратилось. Танк, подводная лодка, торпеда, пулемет, даже винтовка и ручная граната до сих пор не вышли из употребления. И, несмотря на бесконечные сообщения о побоищах в прессе и по телевиду, отчаянные сражения предыдущих

войн, когда за считанные недели часто гибли сотни тысяч, а то и миллионы людей, больше не повторяются. Ни одно из трех супергосударств не решается на действия, связанные с риском серьезного поражения. Если крупные операции и проводятся, это, как правило, внезапные нападения на союзника. Все три державы следуют — или убеждают себя, что следуют, — одной и той же стратегии. План состоит в том, чтобы, сочетая боевые действия, переговоры и вовремя нанесенные удары в спину, создать кольцо баз вокруг любого из государств-соперников, а затем заключить с ним пакт о дружбе и жить в мире достаточно долго, чтобы усыпить его бдительность. А тем временем установить во всех стратегически важных точках ракеты с ядерными боеголовками, дабы одновременно запустить их с таким разрушительным эффектом, чтобы исключить ответный удар. А там уже пора заключать пакт с оставшейся мировой державой для подготовки к новому нападению.

Стоит ли говорить, что эта схема — лишь нереализуемая мечта. Более того, военные действия ведутся лишь в спорных районах возле экватора и Северного полюса: вражескую территорию никогда не захватывают. Этим и объясняется расплывчатость некоторых границ между супергосударствами. Евразия, например, легко могла бы захватить Британские острова, географически являющиеся частью Европы; с другой стороны, Океания могла бы раздвинуть свои границы до Рейна или даже Вислы. Но это нарушило бы принятый всеми сторонами, пусть и неофициально, принцип культурной целостности. Если бы Океания завоевала территории, ранее известные как Фран-

ция и Германия, ей пришлось бы или уничтожить жителей, что на практике трудновыполнимо, или ассимилировать население примерно в сто миллионов человек, находящееся примерно на том же уровне технического развития, что и сама Океания.

Эта проблема стоит перед всеми тремя супергосударствами. Для их внутренней стабильности совершенно необходимо отсутствие контакта с иностранцами, кроме небольшого числа военнопленных и цветных рабов. Даже к текущему официальному союзнику относятся с глубоким подозрением. Помимо военнопленных, граждан Океании в глаза не видел ни одного жителя Евразии или Остзии, а иностранные языки ему знать запрещено. Если разрешить ему общение с иностранцами, он обнаружит, что они похожи на него, а рассказы о них — по большей части ложь. Закупоренный мир, в котором он живет, расколется, а страх, ненависть и чувство собственной правоты, поддерживающие его боевой дух как гражданина, улетучатся. Поэтому все стороны сознают: как бы часто ни переходили из рук в руки Персия, Египет, Ява или Цейлон, основные границы должны пересекать лишь ракеты.

В основе этого единодушия — редко упоминаемый, но молчаливо признаваемый, в том числе на стратегическом уровне, факт: условия жизни во всех трех супергосударствах совершенно одинаковы. В Океании господствующую философию называют англизмом, в Евразии — небольшевизмом, в Остзии — китайским словом, которое обычно переводят как «культ смерти», но правильнее, возможно, было бы перевести как «стирание личности». Гражданам Океании запрещают изучать

положения двух других учений, но внушают ненависть к ним как к варварским надругательствам над моралью и здравым смыслом. На самом деле все три философии едва отличимы друг от друга, а социальные системы, опирающиеся на них, неотличимы вовсе. Везде одна и та же пирамидальная структура, то же поклонение вождю как полубожественному существу, та же экономика, живущая непрерывной войной и поставленная ей на службу. Отсюда следует, что три супергосударства не только не могут завоевать друг друга, но и не получили бы никакого преимущества, сумей они это сделать. Напротив, продолжая конфликтовать, они подпирают друг друга, как три снопа пшеницы. А правящие круги всех трех держав, по обыкновению, одновременно сознают и не сознают, что делают. Их жизнь посвящена завоеванию мирового господства, но в то же время они понимают, что им необходима вечная война без победы. А отсутствие угрозы быть завоеванными делает возможным отрицание реальности. Это особенность как англизма, так и конкурирующих учений. Здесь необходимо повторить уже сказанное выше: перманентность войны фундаментально изменила ее характер.

В предыдущие эпохи война, практически по определению, рано или поздно должна была закончиться — обычно однозначным поражением или победой. Поэтому в прошлом война была одним из основных инструментов, с помощью которых человеческие общества поддерживали связь с объективной реальностью. Все правители во все века пытались навязать своим подданным ложные взгляды на мир, но не могли позволить им

какие бы то ни было иллюзии, способные негативно отразиться на боеспособности. Пока поражение означало потерю независимости или другой исход, всеми признающийся нежелательным, следовало делать все возможное для его предотвращения. Факты приходилось признавать. Пусть в философии, религии, этике, политике дважды два — пять, но при конструировании автомата или самолета дважды два все же должно было равняться четырем. Неэффективное государство рано или поздно проигрывает, а борьба за эффективность была несовместима с иллюзиями. Более того, чтобы сохранять эффективность, приходилось учиться у прошлого, а значит, довольно точно представлять себе прежние события. Газеты и учебники истории, конечно, всегда отличались идеологической окрашенностью и необъективностью, но фальсификация, практикуемая ныне, была невозможна. Война помогала сохранять здравомыслие — и, пожалуй, в первую очередь правящие классы сохраняли его благодаря войне. Пока войны выигрывались и проигрывались, ни одно правительство не могло позволить себе полное безрассудство.

Но когда война становится в буквальном смысле перманентной, она более не опасна. В условиях непрерывной войны отсутствует такое понятие, как военная необходимость. Технический прогресс может прекратиться, а самые неоспоримые факты становятся безопасно отрицать или игнорировать. Как мы видели, исследования, которые можно назвать научными, все еще ведутся в военных целях, но по сути представляют собой своеобразные мечтания, и никого не тревожит их фактическая безрезультатность. Эффективность, даже военная,

больше не нужна. В Океании эффективен только Думнадзор.

Поскольку ни одно из трех супергосударств невозможно завоевать, каждое из них представляет собой как бы отдельную вселенную, в которой любые иллюзии не представляют опасности. Объективная реальность берет свое лишь в повседневных потребностях — необходимость есть и пить, иметь крышу над головой и одежду, не глотать яд, не выходить из окон верхних этажей и так далее. Сохраняется различие между жизнью и смертью, физиологическим удовольствием и болью, но других ограничений нет. Отрезанный от внешнего мира и прошлого, гражданин Океании — как человек в открытом космосе, не знающий, где верх, а где низ. Правители в таком государстве обладают более абсолютной властью, чем у фараонов и римских императоров. Они обязаны не допускать, чтобы их подданные слишком уж массово умирали от голода, и поддерживать столь же низкий уровень военной оснащенности, как у конкурентов. За пределами этого минимума им позволено искривлять реальность как заблагорассудится.

Таким образом, нынешняя война, если подходить к ней с мерками прежних войн, не более чем подделка. Она напоминает драку жвачных животных, у которых рога растут под таким углом, что они неспособны ранить себе подобных. Но, хотя она ирреальна, ее нельзя назвать бессмысленной. Она сжирает излишки потребительских товаров и помогает сохранять особый менталитет, востребованный иерархическим обществом. Война, как мы увидим далее, теперь исключительно внутрен-

нее дело. В прошлом правящие элиты, сознавая общность интересов, ограничивали разрушительную силу войн, но все же воевали друг с другом, и победитель всегда разорял побежденного. В наши дни они воюют вовсе не друг с другом. Войну ведет правящая элита каждого государства против собственных подданных, и цель войны не в захвате территорий или его предотвращении, но в сохранении структуры общества. Поэтому само слово «война» лишь сбивает с толку. По-видимому, можно утверждать, что, став перманентной, война перестала существовать. Специфическое давление, которое она оказывала на людей с эпохи неолита до начала XX века, исчезло и заменено чем-то принципиально иным. Того же эффекта три супергосударства добились бы, перестав конфликтовать и договорившись о мирном сосуществовании в нынешних нерушимых границах. В этом случае каждое из них также осталось бы изолированной вселенной, навсегда освобожденной от отрезвляющего воздействия внешней опасности. По-настоящему вечный мир ничем не отличался бы от вечной войны. В этом и заключается глубинный смысл партийного лозунга «Мир есть война», хотя подавляющее большинство партийцев понимают его более примитивно...

Уинстон оторвался от книги. Где-то вдалеке гроыхнул взрыв ракеты. Блаженство от общения один на один с запретным трактатом в комнате без телеvida не проходило. Он прямо-таки физически чувствовал уединение и безопасность, и эти ощущения смешивались с усталостью, уютной мягкостью кресла, прикосновением к щеке легкого ветерка из окна. Книга увлекла его — или, ско-

рее, укрепила его уверенность. В каком-то смысле она не говорила Уинстону ничего нового, но в этом часть ее притягательной силы. Он и сам написал бы то же самое, если бы смог упорядочить разрозненные мысли. Эта книга — труд единомышленника, но наделенного более мощным, системным, свободным от страха умом. Лучшие книги, вдруг понял Уинстон, рассказывают о том, что уже знаешь.

Только он вернулся к первой главе, как услышал на лестнице шаги Джулии. Уинстон поднялся с кресла ей навстречу. Она скинула на пол коричневую сумку с инструментами и бросилась ему на шею. Они не виделись уже больше недели.

— У меня книга, — сказал он, когда они разжали объятия.

— А, тебе принесли? Хорошо, — сказала она без особого интереса и почти сразу склонилась над примусом, чтобы сварить кофе.

— Нам нужно ее прочитать, — сказал Уинстон. — Тебе тоже. Это обязательно для всех членов Братства.

— А ты читай, — сказала она, закрывая глаза. — Читай вслух. Так лучше всего. Будешь по ходу дела мне объяснять.

Часы показывали шесть, то есть восемнадцать. Значит, у них часа три-четыре. Уинстон положил книгу на колени и прочел:

Глава I

Незнание есть сила

С тех пор, как существует письменность, а вероятно, еще с эпохи позднего неолита мир населяют люди трех типов — Верхние, Средние и Нижние. Их делили на несчетное число подтипов, называли

разными именами; от эпохи к эпохе различились процентное соотношение этих типов, а также способы взаимодействия между ними, но базовая структура общества оставалась неизменной. Даже после великих потрясений и, казалось бы, необратимых перемен прежняя схема восстанавливалась. Так маятник всегда приходит в равновесие, куда его ни качни...

— Джулия, ты что, заснула?

— Нет, любимый, я слушаю. Продолжай. Это так здорово!

И он стал читать дальше:

Цели этих групп непримиримо противоречивы. Цель Верхних — сохранить свое положение. Цель Средних — поменяться местами с Верхними. Цель Нижних, когда она у них вообще есть — ведь обычно Нижние слишком задавлены нудной тяжелой работой и проявляют разве что эпизодический интерес к чему бы то ни было за пределами своей повседневной жизни, — отменить все различия и создать общество, в котором все равны. На протяжении всей истории человечества раз за разом воспроизводится одна и та же схема конфликта. Бывает, что долгое время власть Верхних кажется стабильной, но рано или поздно наступает момент, когда они утрачивают либо веру в себя, либо способность к эффективному управлению, либо и то и другое сразу. Тогда их свергают Средние, которые привлекают на свою сторону Нижних, имитируя борьбу за свободу и справедливость. Достигнув цели, Средние загоняют Нижних обратно в рабство, а сами становятся Верхними. Вскоре из оставшихся

групп выделяются новые Средние, и борьба возобновляется. Из всех трех групп только Нижние никогда, даже временно, не достигают своей цели.

Было бы преувеличением сказать, что за всю историю человечество не продвинулось вперед в материальном плане. Даже сейчас, в период упадка, обычный человек живет лучше, чем несколько столетий назад. Но ни рост благосостояния, ни смягчение нравов, ни какие-либо реформы и революции не приблизили всеобщее равенство и на миллиметр. С точки зрения Нижних, все исторические трансформации означали лишь смену хозяев.

К концу XIX века повторяющаяся схема стала очевидной для многих наблюдателей. Возникли целые философские школы, которые подходили к истории как к циклическому процессу и доказывали, что неравенство — непреложный закон бытия. У этой доктрины, конечно, были сторонники всегда, но теперь она формулировалась совершенно по-новому.

В прошлом необходимость иерархического общественного устройства была доктриной исключительно Верхних. Ее проповедовали короли и аристократы, а также все, кто на них паразитировал: священники, законники и им подобные, а суровость доктрины смягчалась обещаниями награды в воображаемом загробном мире.

Средние, борясь за власть, всегда брали на вооружение такие понятия, как «свобода», «справедливость» и «братство». Теперь же на идею всеобщего братства восстали те, кто еще не захватил власть, а лишь надеялся это сделать как можно скорее. В прошлом Средние устраивали революции под

знаменем равенства, а потом устанавливали новую тиранию, едва свергнув прежнюю. Новые группы Средних, по сути, заявили о своей тирании заранее.

Социализм, который возник в начале XIX века как последнее звено в мировоззренческой традиции, протянувшейся от античных восстаний рабов, все еще был заражен старинным духом утопизма. Но все варианты социализма, появившиеся примерно с 1900 года, все более и более открыто отбрасывали свободу и равенство как цели движения. Новые течения середины века — англизм в Океании, неолевизм в Евразии, культ смерти, как его обычно называют, в Остзии — сознательно стремились увековечить НЕсвободу и НЕравенство. Эти новые течения, конечно, выросли из старых, сохраняли их названия и на словах отдавали дань уважения прежней идеологии. Но все они имели целью остановить прогресс и заморозить историю на текущем моменте. Пресловутый маятник должен был качнуться в последний раз и замереть. Как обычно, Средние намеревались свергнуть Верхних и встать на их место. Но на этот раз сознательная стратегия подразумевала, что подобное положение будет удерживаться вечно.

Новые учения возникли отчасти благодаря накоплению исторических знаний и историческому мышлению, практически не существовавшему до XIX века. Циклический ход истории теперь было возможно проследить, а раз он прослеживается, то и поддается изменению.

Но главной, глубинной причиной, вызвавшей к жизни эти учения, стала возникшая уже в начале XX века техническая возможность всеобщего равенства. Люди по-прежнему обладали разными

природными способностями, и распределение общественных ролей по-прежнему происходило в пользу одних и в ущерб другим. Но необходимость в классовых различиях или значительном имущественном неравенстве отпала.

В прежние эпохи классовые различия были не только неизбежны, но и полезны. Неравенством расплачивались за цивилизацию. Однако в результате механизации производства ситуация изменилась. Хотя люди по-прежнему занимались разными видами работы, существование различных социальных и экономических уровней было уже ни к чему. Поэтому в глазах новых групп, собиравшихся захватить власть, всеобщее равенство превратилось из идеала, к которому стоит стремиться, в опасность, которую надо предотвратить.

В более примитивные времена, при полной невозможности построить справедливое и мирное общество, в идеал равенства довольно легко верилось. Идея рая на земле, где все люди братья и нет ни законов, ни изнурительного труда, тысячами дразнила воображение человечества. Этот образ в какой-то мере привлекал даже группы, которые выигрывали от каждой исторической трансформации. Наследники французской, английской и американской революций сами отчасти верили собственным лозунгам о правах человека, свободе слова, равенстве перед законом и так далее. Эти идеи даже до некоторой степени влияли на их поведение. Но к четвертому десятилетию XX века из основных течений политической мысли остались только авторитарные. Идея рая на земле оказалась опорочена как раз тогда, когда ее стало можно воплотить. Каждая новая политическая тео-

рия, невзирая на название, возвращалась к идеям иерархии и строгого подчинения. Примерно к 1930 году утвердилось всеобщее ожесточение нравов, и обычаи, отринутые давным-давно, иной раз даже столетия назад, — тюремное заключение без суда, публичные казни, пытки для выбивания признаний, взятие заложников и депортация целых народов — получили не только повсеместное распространение, но и молчаливую, а то и активную поддержку людей, считавших себя просвещенными и прогрессивными.

Англизм и соперничающие с ним политические учения окончательно оформились лишь спустя десятилетие повсеместных международных конфликтов и гражданских войн, революций и контрреволюций. Но благодаря их идейным предшественникам — различным системам, появившимся в начале века и известным как тоталитарные, — основные контуры мира, которому предстояло возникнуть из этого хаоса, давно просматривались со всей очевидностью, равно как и то, кому предстоит получить власть в этом мире.

Новая аристократия состояла в основном из чиновников, ученых, инженеров, профсоюзных деятелей, специалистов по связям с общественностью, социологов, преподавателей, журналистов и профессиональных политиков. Этих людей, происходивших из среды служащих или высококвалифицированных рабочих, сформировала и свела вместе бесплодная система монопольного производства и централизованной власти. По сравнению с предшественниками из былых эпох они, будучи менее алчными, меньше поддавались соблазну роскошной жизни, но главное — яснее

понимали, чего хотят, и намеревались решительно раздавить оппозицию. Это последнее различие стало ключевым. Разница между сегодняшней тиранией и тираниями прошлого — нерешительность и неэффективность последних. Правящие группы всегда несли в себе либеральную заразу и не стремились закрутить все гайки. Их занимали только поступки, но не мысли подданных. Даже средневековая католическая церковь по нынешним меркам показалась бы толерантной.

Отчасти дело в том, что в прошлом ни одно правительство не имело возможности установить за гражданами непрерывную слежку. Изобретение печати, однако, упростило манипуляцию общественным мнением, а кино и радио позволили сделать еще один шаг в этом направлении. С развитием телевидения и изобретением устройства, позволяющего одновременно передавать и принимать сигнал, частная жизнь как таковая перестала существовать. У полиции появилась возможность двадцать четыре часа в день наблюдать за каждым гражданином — по крайней мере за каждым, кто заслуживает наблюдения, — и одновременно пичкать его пропагандой, перекрывая все прочие каналы коммуникации. Впервые удалось обеспечить не только абсолютное подчинение воле государства, но и абсолютное единообразие мнений по всем вопросам.

После революционных пятидесятых и шестидесятых общество, как всегда, вновь разбилось на группы — Верхних, Средних и Нижних. Но новые Верхние, в отличие от предшественников, не действовали по наитию, а точно знали, как защитить свои позиции. Давно известно, что

единственная прочная основа для олигархии — коллективизм. Проще всего защитить богатство и привилегии, когда они в совместном владении. Так называемая отмена частной собственности в середине нынешнего века означала, в сущности, сосредоточение собственности в руках гораздо более узкой, чем прежде, группы людей, с той лишь разницей, что новые хозяева представляли собой именно группу, а не множество отдельных личностей. Каждый отдельный член Партии не владеет ничем, кроме личных вещей. Коллективно же Партия владеет всем в Океании, потому что она всем управляет и распоряжается продуктами труда по своему усмотрению.

В послереволюционные годы ей удалось добиться господства, почти не встретив сопротивления, потому что сам процесс шел под знаменем коллективизации. Раньше всегда считалось, что стоит экспроприировать капиталистов, и наступит социализм. И экспроприация, несомненно, свершилась. У капиталистов отобрали все — заводы, шахты, землю, дома, транспорт, — и осталось лишь записать отобранное в общественное достояние, поскольку оно было выведено из частной собственности. Англизм, выросший из социалистического движения и унаследовавший его фразеологию, и в самом деле выполнил главный пункт социалистической программы — с заранее известным и просчитанным результатом: экономическое неравенство стало вечным.

Однако для окончательного утверждения иерархического общества этого недостаточно. Существуют всего четыре причины, по которым правящая группа может потерять власть: победа

внешнего врага; восстание масс в результате неэффективного правления; формирование сильной и недовольной группы Средних; утрата уверенности в себе и жажды власти. Эти причины не встречаются сами по себе — как правило, в том или ином виде присутствуют все четыре. Правящий класс, способный защитить себя по всем этим пунктам, остается у власти вечно. В конечном счете определяющий фактор — внутренний настрой самого правящего класса.

В середине прошлого столетия первая опасность практически исчезла. Каждая из трех поделивших мир держав застрахована от завоевания другими; к нему могут привести лишь медленные демографические изменения, которые власть, обладающая настолько широкими полномочиями, легко может предотвратить.

Вторая опасность тоже существует лишь в теории. Массы никогда не восстают сами по себе и просто потому, что их угнетают. Если им не с чем сравнивать, они и не чувствуют гнета. В повторяющихся экономических кризисах прошлого теперь нет никакой необходимости, так что их попросту не допускают, но другие, не менее серьезные встряски происходят без малейших политических последствий, поскольку недовольство не находит внятного выражения.

Что касается проблемы перепроизводства, в латентной форме существовавшей со времен промышленной революции, то она решается посредством перманентной войны (см. главу III), которая полезна и для поддержания в обществе боевого духа.

Таким образом, с точки зрения наших нынешних правителей, остаются только две реальные

опасности: зарождение новой группы способных, не задавленных работой, жадных до власти людей — и нарастающий либерализм и скепсис в рядах самой же власти. Иными словами, решение проблемы лежит в образовательной плоскости. Требуется постоянная лепка сознания как управляющей группы, так и находящейся в ее непосредственном подчинении более широкой группы исполнителей. Массам хватит и негативного воздействия на сознание.

Даже если не знать, как устроено общество Океании, вышеизложенного должно быть достаточно, чтобы представить его себе в общем виде. На вершине пирамиды — Старший Брат. Старший Брат непогрешим и всемогущ. Считается, что все успехи, достижения, победы, научные открытия, знания, вся мудрость, все счастье и добро либо проистекают напрямую из его руководства, либо им вдохновлены. Никто никогда не видел Старшего Брата. Он — лицо на уличных щитах, голос в телевиде. Можно быть практически уверенным, что он никогда не умрет, и уже не совсем ясно, когда он родился. Старший Брат — это образ, персонифицирующий Партию для всех остальных. Его функция — сосредоточить на себе любовь, страх и почтение, все те чувства, которые легче испытывать в отношении личности, чем организации.

Ступенькой ниже Старшего Брата находится Внутренняя партия. Ее численность ограничена шестью миллионами человек, то есть двумя процентами населения Океании. Ниже Внутренней партии, которую можно назвать мозгом государства, расположена Внешняя — его руки. Еще ниже — бессловесный пролетариат, который мы обычно

называем массами: это примерно 85 процентов населения. В терминах классификации, о которой шла речь выше, массы — это Нижние, поскольку порабощенное население экваториальных стран, постоянно переходящее от завоевателя к завоевателю, не является неотъемлемым или даже необходимым элементом структуры.

В принципе, принадлежность к этим трем группам не передается по наследству. Ребенок родителей из Внутренней партии не рождается ее членом. В оба круга Партии принимают по результатам экзамена, который сдают в 16 лет. Нет никакой расовой дискриминации, ни одна провинция не доминирует над другими. Евреи, негры, чистокровные южноамериканские индейцы — все они представлены в высшем руководстве Партии, а администрация каждого региона всегда состоит из его жителей. Ни в одной части Океании население не чувствует себя как в колонии, управляемой из отдаленной столицы. В Океании вообще нет столицы, а где находится ее номинальный глава, вообще никому не известно. Единственные признаки централизации — использование английского в качестве *lingua franca*, то есть языка общения, и новоречи в качестве официального языка. Правители Океании объединены не узами крови, а приверженностью общей доктрине.

Конечно, наше общество стратифицировано, причем жестко, и на первый взгляд принадлежность к разным социальным слоям кажется наследственной. Социальный лифт работает не так активно, как при капитализме или даже в доиндустриальную эпоху. Определенный взаимообмен идет между двумя партийными кругами, но лишь в той мере,

в которой он необходим Внутренней партии для отсева слабаков и нейтрализации амбициозных членов Внешней партии посредством карьерного продвижения. Пролетариям на деле не позволяют дорасти до членства в Партии. Самых одаренных из них, вокруг кого могли бы сформироваться очаги сопротивления, берет на карандаш и затем уничтожает Думнадзор.

Но такое положение дел отнюдь не является ни неизбежным, ни принципиальным. Партия — не класс в прежнем понимании этого слова. Ее лидеры не стремятся передать власть собственным детям: если бы не существовало другого способа поставить на руководящие должности самых способных, она не отказалась бы и набрать целое новое поколение лидеров из рядов пролетариата. В годы ее становления тот факт, что Партия — не потомственная организация, в значительной мере помог нейтрализовать оппозицию. Старорежимные социалисты, которых готовили к борьбе против так называемых «классовых привилегий», решили, что власть, не передающаяся по наследству, не может быть вечной. Они не увидели, что преемственность олигархии — необязательно династическая, не задумались о том, что наследственные аристократии всегда недолговечны, тогда как организации, которые подпитываются свежей кровью, — такие, например, как католическая церковь — иногда существуют столетиями, а то и тысячелетиями. Суть олигархического правления — не в передаче наследства от отца к сыну, но в господстве определенного мировоззрения и образа жизни, навязанного мертвыми живым. Правящая группа остается у власти до тех пор,

пока она способна назначать преемников. Партия озабочена не продолжением рода, а собственным воспроизводством. Что за личности у власти — неважно, если неизменна сама иерархическая структура.

Все верования, привычки, вкусы, эмоции, воззрения, характерные для нашего времени, на самом деле сконструированы для поддержания священного статуса Партии, а потому мешают понять истинную природу нынешнего общества. Революционное насилие или какая бы то ни было подготовка к нему на сегодня невозможны. Пролетариев бояться нечего. Предоставленные сами себе, они продолжают жить как сейчас — поколение за поколением, столетие за столетием: работать, плодиться и умирать, не только не дерзая бунтовать, но даже не понимая, что мир может быть каким-то другим. Они станут опасными, только если прогресс в производственной сфере заставит давать им более полноценное образование. А поскольку военное и коммерческое соперничество утратило актуальность, уровень народного образования фактически падает. Каких мнений придерживаются массы, Партии безразлично. Им можно даровать интеллектуальную свободу, потому что они лишены интеллекта. Зато от партийца не потерпят ни малейшего отклонения во взглядах даже по самому незначительному вопросу.

Партиец с рождения до смерти живет под наблюдением Думнадзора. Даже когда он остается в одиночестве, он не может быть в этом уверен. Где бы он ни был — спит он или бодрствует, работает или отдыхает, в ванне или в кровати, — он может без предупреждения подвергнуться проверке и даже

не узнать об этом. Партию интересуют любые подробности его жизни. Его друзья, привычки, поведение с женой и детьми, выражение на его лице, когда он один, слова, которые он бормочет во сне, даже его характерные жесты — все это скрупулезно изучается. Не только любое нарушение с его стороны, но и малейшая странность, какое-то изменение в привычках, даже нервный тик, который можно принять за признак внутренней борьбы, — все это непременно будет замечено. Партиец ни в чем не имеет свободы выбора.

С другой стороны, его поведение не регламентируется законом или каким-то четким моральным кодексом. Законов в Океании нет. Мысли и действия, которые гарантированно караются смертью, формально не запрещены, и постоянные чистки, аресты, пытки, посадки и испарения не наказывают за уже совершенные преступления, а лишь устраняют тех, кто, возможно, мог бы совершить преступление в будущем.

От партийца требуются не только правильные взгляды, но и правильные инстинкты. Многие элементы его мировоззрения четко не сформулированы — ведь это обнажило бы внутренние противоречия англизма. Если партиец от природы правоверен (прямодумец, выражаясь на новоречи), он при любых обстоятельствах знает, не задумываясь, во что следует верить и что желательно чувствовать. Но в любом случае тщательная обработка сознания партийца, которую проводят с самого детства в соответствии с новоречными понятиями «кривостоп», «чернобел» и «двоедум», затрудняет слишком глубокие размышления о чем бы то ни было.

У партийца не должно быть личных чувств, а его энтузиазм не знает передышек. Его жизнь — непрерывный пароксизм ненависти к иностранным врагам и внутренним предателям, торжества по поводу побед и преклонения перед властью и мудростью Партии. Недовольство убогой, безрадостной жизнью сознательно направляется вовне и выплескивается во время Минут ненависти. Раздумья, из которых могут вырасти скептицизм или мятежные настроения, убивает в зародыше внутренняя дисциплина, которую прививают с самого раннего возраста.

Первая и простейшая форма этой дисциплины, которую способны освоить даже маленькие дети, на новоречи называется кривостопом. Кривостоп означает умение почти инстинктивно остановиться на пороге любой опасной мысли. Он подразумевает способность не замечать явных аналогий и логических ошибок, не понимать простейших аргументов, если они враждебны англизму, испытывать скуку или отвращение, как только мысль начинает двигаться в потенциально еретическом направлении. Иными словами, кривостоп — это защитная глупость. Но одной глупости недостаточно. Напротив, для полноценной правоверности надо так же безупречно управлять мыслями, как цирковой гимнаст владеет своим телом.

Общественный строй Океании держится в конечном счете на вере во всемогущество Старшего Брата и непогрешимость Партии. Но, поскольку на самом деле Старший Брат не всемогущ, а Партия способна совершать ошибки, требуется неутомимая, ежеминутная гибкость в обращении с фактами. Здесь ключевое слово — «чернобел». Как и многие новоречные слова, этот термин имеет два противо-

положных значения. Применительно к оппоненту он означает манеру нагло утверждать, противореча общеизвестным фактам, что черное — это белое. Применительно к члену Партии — лояльную готовность признать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но чернобел также означает способность *поверить*, что черное — это белое, более того, *знать* это и забыть, что когда-то думал иначе. Такой подход требует непрерывной трансформации памяти о прошлом с помощью системы, включающей в себя все вышеописанные приемы. На новоречи она называется «двоедум».

Изменение прошлого необходимо по двум причинам, одна из которых — вспомогательная. Можно назвать ее предосторожностью. Состоит она в том, что партиец, как и пролетарий, терпит текущие условия отчасти потому, что не обладает базой для сравнения. Его следует отрезать от прошлого так же, как он отрезан от других стран, — ведь необходимо, чтобы он верил, будто ему живется лучше, чем предкам, а средний уровень бытового комфорта постоянно повышается.

Но гораздо более важная причина для пересмотра прошлого — необходимость поддерживать веру в непогрешимость Партии. Мало того, что официальные речи, статистику и всяческие архивные материалы необходимо постоянно корректировать, чтобы показать, что прогнозы Партии всегда сбываются. Ни в коем случае нельзя признавать, что доктрина или политические установки когда бы то ни было менялись. Передумать или даже сменить курс — это признание в слабости. Если, допустим, Евразия (или Остазия, неважно) — сегодняшний враг, то именно эта страна всегда и была вра-

гом. А если факты этому противоречат — нужно изменить факты. Так непрерывно переписывается история. Каждодневная фальсификация прошлого в Главном комитете истины так же необходима для стабильности режима, как репрессии и слежка силами Главного комитета любви.

Изменяемость прошлого — ключевой постулат англизма. Он утверждает, что прошлые события не являются частью объективной реальности, а существуют лишь в письменных свидетельствах и памяти людей. Прошлое — продукт взаимного соответствия архивов и памяти. А раз Партия полностью контролирует и все архивы, и сознание партийцев, следовательно, прошлое таково, каким его хочет видеть Партия.

Другое логическое следствие заключается в том, что прошлое, пусть изменяемое, никогда не меняли ни в одном конкретном случае. Ведь если оно воссоздано в той форме, которая требуется на текущий момент, эта новая версия и есть прошлое, и никакого другого прошлого никогда не существовало. Это правило действует, даже когда одно и то же событие приходится менять до неузнаваемости несколько раз в течение года. Партия в любой момент является носителем абсолютной истины, и, конечно же, эта истина никогда не могла быть иной.

Следует понимать, что управление прошлым сильнее всего зависит от укрощения памяти. Приведение архивных материалов в соответствие с требованиями момента — действие чисто механическое. Но необходимо также *помнить*, что события соответствовали нужной схеме. И если тебе приходится корректировать собственные вос-

поминания или подделывать архивные записи, то нужно и забывать, что ты все это проделал. Этому фокусу можно научиться, как и любому другому умственному приему. Его умеет выполнять большинство партийцев, и уж точно те из них, кто не только правоверен, но и умен. На староречи этот навык вполне откровенно называют «управление реальностью». На новоречи — «двоедум», хотя двоедум — гораздо более емкое понятие.

Двоедум означает способность удерживать в голове два противоречащих друг другу мнения и разделять оба. Партийный интеллектуал знает, в каком направлении изменять воспоминания; следовательно, он знает, что занимается искажением реальности; но, применяя двоедум, он также убеждает себя, что реальность не пострадала. Эта манипуляция должна быть сознательной, иначе ее не удастся выполнить с достаточной точностью, но также и бессознательной, иначе она вызовет ощущение фальши и, следовательно, чувство вины.

Двоедум лежит в основе англизма, ибо основной метод Партии — сознательный обман при сохранении целеустремленности, невозможной без абсолютной честности. Намеренно лгать и искренне верить этой лжи; забывать факты, ставшие неудобными, а потом, по мере надобности, извлекать их из забвения и снова выбрасывать из памяти; отрицать существование объективной реальности, одновременно делая поправки на отрицаемую реальность, — все это совершенно необходимо.

Даже само употребление слова «двоедум» требует применения двоедума. Ведь, произнося его, признаешь, что искажаешь реальность, и лишь путем двоедума стираешь это знание — и так без

конца, причем ложь всегда оказывается на шаг впереди правды. В конечном счете именно посредством двоедума Партия смогла и не исключено, что сможет еще на тысячи лет остановить ход истории.

Все олигархии прошлого пали, либо закованных в стены, либо размякнув. Или они по глупости и самоуверенности перестали приспособливаться к обстоятельствам и были сметены — или сделались слишком либеральными и трусливыми, пошли на уступки там, где требовалось применить силу, и опять-таки были сметены. Иначе говоря, они пали либо от несознательности, либо от излишней сознательности. Партия же сумела внедрить в умы людей систему, позволяющую одновременно находиться в обоих состояниях. Ее господство было бы невозможно ни на какой другой интеллектуальной базе. Чтобы получить и сохранить власть, надо уметь воздействовать на чувство реальности. Ведь секрет владычества в том, чтобы совместить веру в собственную непогрешимость со способностью учиться на прошлых ошибках.

Стоит ли говорить, что самые хитроумные мастера двоедума — сами изобретатели двоедума, понимающие, что он — мощная система самообмана. В нашем обществе тот, кто лучше всех понимает происходящее, меньше всего склонен видеть мир таким, каков он есть. Чем глубже понимание, тем масштабнее самообман. Чем умнее человек, тем он безумнее.

Яркая иллюстрация к этому тезису — нарастание милитаристской истерии по мере повышения социального статуса. Рациональнее всех

относятся к войне поработанные народы спорных территорий. Для них это лишь непрекращающееся бедствие, среди которого они барахтаются, как в бурном море. Какая из сторон побеждает, им совершенно безразлично. Они знают, что смена верховной власти означает лишь одно: им придется выполнять все ту же работу для новых хозяев, которые будут обращаться с ними так же, как прежние.

Те, кому повезло чуть больше — рабочие, которых мы называем массами, — замечают войну лишь время от времени. У них можно, когда потребуется, вызывать припадки страха и гнева, но, предоставленные самим себе, они способны надолго забывать, что страна воюет. Настоящий энтузиазм можно встретить лишь среди партийцев, особенно членов Внутренней партии. В завоевание мира особенно твердо верят те, кто знает, что оно невозможно.

Странное единство противоположностей — знания и невежества, цинизма и фанатизма — одна из главных отличительных особенностей Океании. Официальная идеология изобилует противоречиями, даже если они бессмысленны. Например, Партия отрицает и охаивает все до единого принципы, которые исходно отстаивало социалистическое движение, — и делает это во имя социализма. Она проповедует такое презрение к рабочему классу, какого он веками не видел, — и одевает партийцев в униформу, которая когда-то была рабочей одеждой: потому-то ее и выбрали. Она систематически разрушает семейные ценности — и называет своего вождя именем, прямо вызывающим к родственным чувствам. Даже назва-

ния четырех главков, управляющих нами, бесстыдно переворачивают факты с ног на голову. Главмир занимается войной, Главист лжет, Главлюб пытается, Главбог морит голодом. Эти противоречия не случайны и не вызваны обычным лицемерием. Они — примеры сознательной практики двоедума. Только примиряя противоречия, можно бесконечно сохранять власть. Древний цикл иначе не прервать. Чтобы навсегда исключить наступление всеобщего равенства, чтобы Верхние, как мы их назвали, всегда были выше всех, необходимо, чтобы в головах преобладало управляемое безумие.

Остается, однако, вопрос, который мы до сего момента почти полностью игнорировали. Зачем, собственно, предотвращать всеобщее равенство? Допустим, механику процесса мы описали верно. Но ради чего такими мощными и продуманными усилиями замораживать ход истории?

Здесь мы подходим к разгадке главной тайны. Как уже говорилось, святость Партии, и в первую очередь Внутренней партии, зиждется на двоедуме. Но еще глубже лежит исходная мотивация, никогда не подвергаемый сомнению инстинкт, который изначально привел к захвату власти и вызвал к жизни и двоедум, и Думнадзор, и перманентную войну, и все прочие необходимые атрибуты строя. Эта мотивация заключается...

Уинстон вдруг услышал тишину — как слышишь резкий звук. Ему показалось, что Джулия слишком уж долго не шевелится. Полураздетая, она лежала на боку, положив голову на руку. Прядь темных волос упала ей на глаза. Грудь мерно вздымалась и опускалась.

— Джулия?

Молчание.

— Джулия, ты спишь?

Молчание. Уснула-таки. Уинстон закрыл книгу, аккуратно положил ее на пол, улегся и натянул на них с Джулией покрывало. Главную тайну-то так и не узнал, подумал он. Понял как — но еще не понял почему. В первой главе, как и в третьей, не оказалось для него ничего нового, она лишь привела в систему то, что ему и так было известно. Но, прочитав ее, он पुще прежнего уверился, что не сошел с ума. Быть в меньшинстве, даже в одиночестве, не значит быть сумасшедшим. Есть правда — и есть неправда, и если держишься за правду, пусть и против всего мира, ты не безумен.

Желтый косой луч заходящего солнца проник в окно и упал на подушку. Уинстон закрыл глаза. Теплый луч на лице и близость гладкого женского тела рождали в нем какую-то сонную, мощную уверенность. Он в безопасности, все в порядке. Уинстон уснул, бормоча: «Здравомыслие — не вопрос статистики» — ему отчего-то чудилось, что в этой фразе заключена вековая мудрость.

10.

Проснулся он с ощущением, что выключался надолго, но, если верить старомодным часам, было всего двадцать тридцать. Он еще полежал в полудреме, пока со двора не донесся привычный густой голос:

Страсть безнадежная моя
Прошла, как теплый день в апре-эле.
Но сколько счастья и весе-эля
Дарила мне любо-овь твоя.

Дурацкий шлягер, похоже, не терял популярности. Он по-прежнему звучал из каждого утюга, пережив «Песню ненависти».

Пение разбудило Джулию. Она сладко потянулась и вылезла из постели.

— Есть хочу, — сказала она. — И кофе. Давай еще сварим. Черт! Примус погас, вода остыла. — Она подняла с пола примус, встряхнула. — И керосин кончился.

— Можем, наверно, у Чаррингтона попросить по дружбе.

— Странно — я специально доливала. Оденусь, пожалуйста, — добавила Джулия. — Похолодало что-то.

Уинстон тоже встал и оделся. Неутомимый голос все выводил:

Пусть говорят, что вре-эмя лечит,
Что все забы-ыть мне суждено,
Твои улыбки, тва-аи речи
Я буду по-омнить все равно!

Застегивая ремень, Уинстон подошел к окну. Солнце, похоже, опустилось за дома: во двор его лучи больше

не проникали. Вымощенный каменной плиткой двор блестел от влаги, словно его только что вымыли. Свежевымытым показалось Уинстону и небо — такой нетронутой выглядела его бледная голубизна в обрамлении печных труб. Женщина внизу без устали шаркала туда-сюда, то затыкая себе рот прищепками, то доставая этот своеобразный кляп, то напевая, то замолкая, — и вывешивала все новые и новые пеленки, еще и еще. Берет стирку на дом или горбатится на двадцать-тридцать внуков?

Джулия встала с ним рядом. Как зачарованные, следили они за крепкой фигурой прачки. Глядя на нее в самой характерной позе — мускулистые руки тянутся к бельевой веревке, мощный круп выпячен, — Уинстон вдруг понял, что она красива. Раньше ему никогда не приходило в голову, что тело пятидесятилетней женщины, разбухшее до гигантских размеров от многочисленных родов, натренированное постоянным трудом и загрубевшее до состояния перезрелой редьки, может быть красивым. Однако может — да и почему бы нет, подумал Уинстон. Плотное, бесформенное, как гранитная глыба, туловище и грубая, покрасневшая кожа — как плод шиповника по сравнению с розой девичьего тела. Чем, собственно, плод хуже цветка?

— Она красивая, — пробормотал Уинстон.

— Метра два в обхвате, не меньше, — сказала Джулия.

— Такая вот красота.

Он обнял ее за тонкую талию. Джулия прижалась к нему бедром. Чего у них никогда не будет, так это детей. Им не позволено. Они живут, чтобы передавать тайну из уст в уста, от думающего человека к думающему человеку. А женщина там, во дворе, не думает — у нее есть только сильные руки, доброе сердце и плодovitая утроба. Скольких она родила? Может, и пятнадцать — легко. Цвета дикой розой какой-нибудь год, потом внезапно раздалась,

как фрукт от удобрений, огрубела, сделалась красной, шершавой, и остались в ее жизни лишь стирка, уборка, штопка, готовка, глажка, починка, уборка, стирка — сперва для детей, потом для внуков, и так тридцать лет без передышки. И после всего этого — еще и поет! Необъяснимое благоговение, которое он к ней испытывал, слилось с ощущением бесконечности: бледно-голубое безоблачное небо простиралось над трубами в необъятную даль. А ведь небо одно для всех, не только здесь, но и в Евразии, и в Остазии. И люди под этим небом более или менее одинаковые — везде, во всем мире, сотни миллионов, миллиарды таких же людей, не знающих о существовании друг друга, разделенных стенами ненависти и лжи и все равно почти одинаковых. Людей, так и не научившихся думать, но копящих в сердцах, утробах и мышцах силу, которая однажды перевернет мир.

Если и есть надежда, то на массы! Даже не дочитав *книгу*, он знал, что в этом и состоит главная мысль Гольдштейна. Будущее принадлежит массам. И откуда ему знать — вдруг мир, который они построят, окажется таким же чуждым для него, Уинстона Смита, как и мир Партии? Но нет, не окажется — ведь это будет мир здравого смысла. Где равенство, там есть место и здравомыслию. Рано или поздно это случится — сила перейдет в самосознание. Массы бессмертны, в этом невозможно усомниться, глядя на эпическую фигуру во дворе. В конце концов они пробудятся. А до тех пор, хоть тысячу лет, надо выживать наперекор всему, как птицы, и передавать по цепочке жизненную силу, которой Партия не обладает и которую не может подавить.

— А помнишь, — сказал он, — дрозда, который нам пел, в тот первый день, на опушке?

— А он не нам пел, — ответила Джулия. — Пел, чтобы себя порадовать. Или даже нет — просто пел.

Птицы поют, поют и массы. Это Партия не поет. А по всему миру, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в заграничных землях, далеких и таинственных, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних русских просторах, на базарах Китая и Японии — повсюду высится эта крепкая непобедимая фигура, изуродованная работой и родами, фигура женщины, обреченной трудиться с детства и до смерти, но все равно поющей. Эти мощные чресла когда-нибудь произведут на свет новую, мыслящую породу людей. Ты — мертвец, будущее — за ними. Ты можешь разделить с ними это будущее, только если сохранишь разум, как они сберегли тело, — и если передашь будущим поколениям тайное учение о том, что дважды два — четыре.

— Мы покойники, — сказал он.

— Мы покойники, — послушно откликнулась Джулия.

— Вы покойники, — произнес металлический голос у них за спиной.

Они отпрянули друг от друга. Уинстону показалось, что внутренности у него превратились в лед. Глаза Джулии так расширились, что стали видны белки вокруг радужек. Ее лицо сделалось каким-то молочно-желтым. Румяна на скулах выступили так ярко, будто не касались кожи.

— Вы покойники, — повторил металлический голос.

— Он был за картиной, — выдохнула Джулия.

— Он был за картиной, — подтвердил голос. — Оставайтесь на месте. Не двигайтесь без приказа.

Началось, вот и началось! Им оставалось лишь смотреть в глаза друг другу. Бежать, спастись, выскочить из дома, пока не поздно, — это даже не пришло им в голову. Как послушаться металлического голоса из стены? Раздался щелчок, словно открылась щеколда, и тут же — звон разбитого стекла. Картина рухнула на пол и обнажила скрытый за ней телевид.

— Теперь они нас видят, — сказала Джулия.

— Теперь мы вас видим, — сказал голос. — Встаньте в центре комнаты спина к спине. Руки за голову. Не дотрагивайтесь друг до друга.

Они и не дотрагивались, но Уинстону казалось, что он чувствует дрожь Джулии. А может, свою собственную. Он едва мог заставить зубы не стучать, но колени ему не подчинялись. Снизу послышался топот сапог — и в доме, и снаружи. Двор заполнился людьми. Что-то потащили по камням. Пение внезапно прекратилось. Раздался долгий, раскатистый звон, словно корыто для стирки пнули через весь двор, потом какофония ругани. Ее оборвал крик боли.

— Дом окружен, — сказал Уинстон.

— Дом окружен, — подтвердил голос.

Уинстон услышал, как лязгнули зубы у Джулии.

— Наверное, нам пора попрощаться, — сказала она.

— Наверное, вам пора попрощаться, — сказал голос.

И тут же сменился другим, высоким, интеллигентным, и Уинстон, кажется, где-то его уже слышал: — И кстати, раз уж зашла речь о прощаниях, — вот тебе свечка, чтоб кровать найти, а вот и топорик, чтоб голову снести!

За спиной у Уинстона что-то с грохотом упало на кровать. Это в окно просунули лестницу, высадив раму. В проем кто-то лез. На лестнице топали сапоги. В комнату набилась толпа крепких мужчин с дубинками в руках, в черной форме и кованых сапогах.

Уинстон перестал дрожать и уставился в одну точку. Теперь только стоять на месте, стоять неподвижно, не давать им повода бить! Один из вошедших, с гладко выбритым подбородком боксера и ртом, как узкая щель, остановился перед Уинстоном, задумчиво поигрывая дубинкой. Уинстон встретился с ним взглядом. Невыносимо это чувство наготы — руки на затылке, голова

и тело ничем не защищены. Человек в черном высунул белый кончик языка, облизал невидимые губы и прошел мимо.

Снова грохот: кто-то взял со стола пресс-папье и разбил его вдребезги об основание камина. Кусочек коралла, похожий на кремовую розочку с торта, покатился по полу. Какой маленький, подумал Уинстон, а казался больше!

Резкий выдох за спиной, звук падающего тела. От удара ногой по лодыжке Уинстон чуть не потерял равновесие. Это один из вошедших ударил Джулию кулаком в солнечное сплетение, и она, сложившись, как карманная линейка, корчилась на полу, пытаясь вдохнуть. Уинстон не осмеливался повернуть голову ни на миллиметр, но иногда в его поле зрения попадали ее посиневшее лицо и ловящий воздух рот. Даже парализованный страхом, он словно чувствовал ее боль собственным телом, жуткую боль, сильнее которой лишь мучительное удушье. Он знал, каково это — когда подступает ужасная, терзающая боль, но ее еще нельзя прочувствовать, потому что первым делом необходимо вдохнуть.

Двое подняли ее за руки, за ноги и вынесли из комнаты, как мешок. Перед Уинстоном проплыло ее лицо, перевернутое, желтое, искаженное гримасой, с закрытыми глазами — и все еще с пятнами румян на щеках. Больше он ее не видел.

Он стоял без движения. Никто пока его не бил. Сами собой в голову полезли мысли, совершенно неинтересные. А что мистер Чаррингтон, взяли его? Что сделали с женщиной во дворе? Ему вдруг сильно захотелось в туалет — странно, ведь уже сходил каких-то два-три часа назад. Он заметил, что часы на каминной полке показывают девять, то есть двадцать один час. Как-то слишком светло — разве не должно уже смеркаться в августе в двадцать один час? А может, они с Джулией

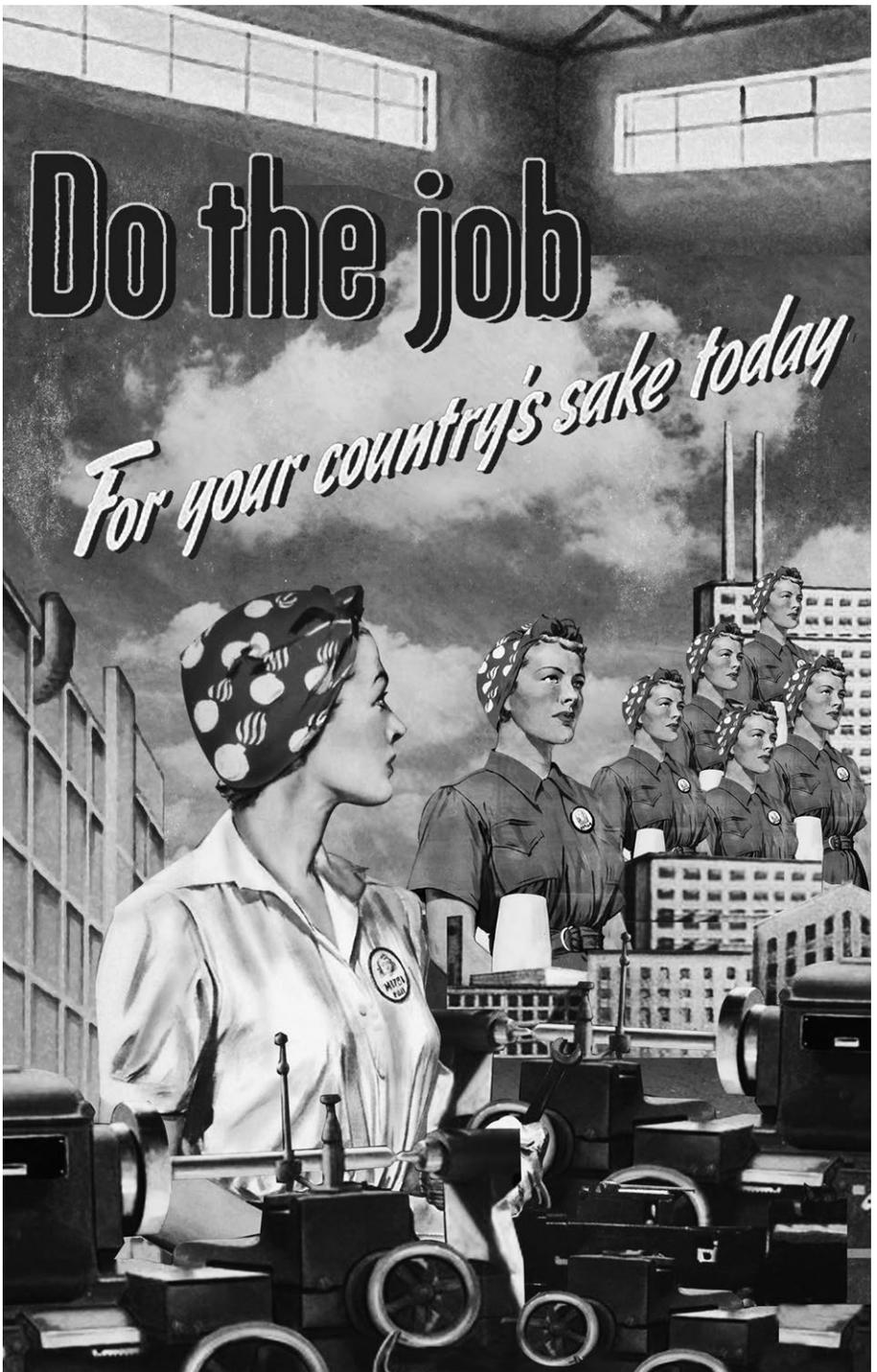
перепутали время — проспали весь день и всю ночь и думали, что проснулись в двадцать тридцать, а на самом деле — в восемь тридцать на следующее утро? Но Уинстон решил не думать об этом дальше — неинтересно.

В коридоре послышались еще чьи-то шаги, на этот раз легкие. Вошел мистер Чаррингтон. Люди в черном сразу приутихли. Мистер Чаррингтон выглядел иначе, чем обычно. Его взгляд упал на разбитое пресс-папье.

— Соберите осколки, — резко сказал он.

Один из людей в черном наклонился, выполняя приказ. Он был отдан без простонародного лондонского выговора, и Уинстон понял, чей голос слышал несколько минут назад из телевида. Мистер Чаррингтон изменился, хоть и не снял черный бархатный пиджак. Его волосы, прежде почти совсем седые, были теперь черными. Исчезли очки. Он бросил на Уинстона быстрый, острый взгляд, словно убеждаясь, что перед ним именно Уинстон, и перестал обращать на него внимание. Все еще узнаваемый, мистер Чаррингтон превратился в другого человека — распрямился, как будто стал выше. В лице произошли лишь мелкие, но полностью преобразившие его изменения: черные брови стали менее кустистыми, пропали морщины, изменились сами очертания лица — даже нос казался короче. Проступили холодные черты человека лет тридцати пяти. Уинстон впервые в жизни точно знал, что перед ним — сотрудник Думнадзора.

Часть III



Работай ради своей страны сегодня

1.

Куда его привезли, Уинстон не знал. Видимо, в Главлюб, но удостовериться в этом невозможно. Его поместили в камеру без окон, со стенами из сверкающего белого кафеля и высоким потолком. Невидимые лампы заливали ее холодным светом. Слышалось тихое монотонное гудение — наверное, вентиляция. Скамья, или, скорее, полка едва достаточной ширины, чтобы на ней усидеть, опоясывала камеру по периметру. Ее разрывали только дверной проем и унитаз без сиденья, установленный напротив двери. На каждой стене — по телевизиду.

С тех пор, как Уинстона затолкали в фургон без окон и увезли, его мучила тупая боль в животе. Но одновременно он испытывал какое-то гложащее, нездоровое чувство голода. Он не ел, может, двадцать четыре часа, а может, тридцать шесть. Уинстон так и не понял, утром его арестовали или вечером. Но с тех пор, как арестовали, так и не покормили.

Уинстон сидел на узкой скамье насколько мог неподвижно, скрестив руки на коленях. Он уже научился сидеть смирно. На неожиданные движения телевид раздражается окриками.

Голод, однако, начинал одолевать. Больше всего хотелось кусок хлеба. Уинстону казалось, что в кармане комбинезона у него завалились хлебные крошки. Возможно, там даже найдется кусочек корочки: ногу что-то щекочет. Наконец, соблазн выяснить, что там, оказался сильнее страха; Уинстон сунул руку в карман.

— Смит! — заорал телевид. — Номер шесть тысяча семьдесят девять, Смит У.! Руки из карманов!

Он снова сел, сложив руки на коленях. Прежде чем его привезли сюда, он побывал в каком-то другом месте — в тюрьме или каком-то временном изоляторе,

куда свозили арестантов патрульные. Сколько он там пробыл, непонятно, но никак не меньше нескольких часов. Не видя солнечного света, трудно ориентироваться во времени. Тюрьма оказалась шумной и вонючей. Его посадили в камеру вроде нынешней, но омерзительно грязную и набитую людьми — в ней все время теснилось человек десять–пятнадцать. Большинство — уголовники, но и несколько политических. Он сидел молча, прислонясь к стене, терпя тычки и вонь немых тел. От страха и боли в животе он не слишком интересовался, что делается вокруг, но все же не мог не заметить, как разительно отличается поведение партийцев и прочих заключенных. Перепуганные партийцы сидели тихо, уголовники же никого не боялись — материли охрану, яростно отбивались, когда у них забирали вещи, царапали на полу ругательства, поедали хитроумно припрятанные в складках одежды продукты, даже отвечали криком на крик телеvidу, когда тот требовал порядка. С другой стороны, некоторые из них, похоже, наладили отношения с охранниками — те отзывались на клички, и заключенные пытались уговорить их просунуть сигареты сквозь дверной глазок. Охранники обращались с уголовниками довольно терпеливо, даже когда приходилось применить силу.

В камере много говорили о каторжных лагерях, куда ждало отправки большинство арестантов. В лагерях, насколько понял Уинстон, «нормально», если есть связи и знаешь, как все работает. Там взятки, кумовство, вымогательство всех видов, однополый секс и проституция, даже подпольный самогон из картошки. На всех теплых местах — только уголовные, особенно убийцы и люди из организованных банд, своего рода аристократия. Всю грязную работу выполняют политические.

В камере не прекращался круговорот самых разнообразных арестантов — торговцев наркотиками, воров,

бандитов, фарцовщиков, пьяниц, проституток. Некоторые пьяные так буйнили, что прочим заключенным приходилось общими силами умирять их. Толстую, расхристанную женщину лет шестидесяти, с огромными обвислыми грудями и густыми седыми волосами, собранными в растрепавшуюся при борьбе косу, внесли, держа за руки, за ноги четыре охранника. Женщина кричала, вырывалась, пыталась их лягнуть. Охранники стащили с нее боты и швырнули арестантку прямо на колени Уинстону, чуть не переломав ему ноги. С трудом приподнявшись, она проводила их воплем «Сволочи, твари!» и только тогда — очевидно, почувствовав, что сидит на чем-то неровном, — сползла с колен Уинстона на скамью.

— Прости, друг, — сказала она. — Я б на тебя не села, если б не эти гады. Ваше не умеют себя с дамой вести, а? — Она ненадолго замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. — Извини, не в себе я чуток.

Она наклонилась вперед, и ее обильно вырвало на пол.

— Вот, так-то лучше, — сказала она, откидываясь назад и закрывая глаза. — Я всегда говорю — не держи в себе. Скинь, пока свеженькое.

Арестантка ожила, обернулась еще раз на Уинстона, и он, похоже, сразу ей понравился. Она положила жирную ручищу ему на плечо и притянула его к себе, дыша в лицо пивом и рвотой.

— Как звать тебя, друг?

— Смит.

— Смит? — переспросила женщина. — Надо же. И меня Смит. Могла бы твоей мамой быть, — добавила она сентиментально.

А ведь и могла бы, подумал Уинстон. По возрасту и по фигуре вполне подходит, да и я, наверное, поменяюсь после двадцати лет каторжных лагерей.

Больше никто с ним не заговаривал. Уголовные обращали на политических удивительно мало внимания. Называли их с ленивым презрением «политиками». Партийные заключенные, казалось, вообще боялись разговаривать, особенно между собой. Только однажды, когда двух женщин-партиек притиснули друг к другу на скамье, он услышал сквозь гул голосов их торопливый шепоток, в котором разобрал лишь слова о какой-то «комнате сто один».

Сюда его доставили часа два-три назад. Тупая боль в животе не проходила, но порой становилось чуть лучше, порой чуть хуже, и мысли Уинстона то ускорялись, то замедлялись в этом ритме. Когда делалось хуже, он мог думать только о боли и о том, как хочется есть. Когда наступало облегчение, его охватывала паника. Иногда будущее представлялось ему с такой ясностью, что сердце пускалось в галоп, а дыхание останавливалось. Он чувствовал удары дубинок по локтям и кованых сапог по лодыжкам, видел будто со стороны, как катается по полу, умоляя беззубым ртом о пощаде. Он почти не думал о Джулии — не мог на ней сосредоточиться. Он ее любит и не предаст — но это не более чем данность, вроде правил арифметики. Он не чувствовал любви к ней, даже не думал о том, что с ней сейчас происходит. Чаще его мысли обращались к О'Брайену, и тогда возникали проблески надежды. Возможно, О'Брайен знает, что Уинстон арестован. Да, он говорил, что Братство своим никогда не помогает. Но могут ведь прислать лезвие, пришлют ведь, если сумеют. У него будет секунд пять, прежде чем в камеру ворвется охрана. Лезвие вопьется в него, обожжет холодом, даже пальцы, которыми Уинстон сожмет его, оно порежет до кости. Измученное тело Уинстона отказывалось это чувствовать, сжималось при малейшей мысли о боли. Вопрос еще, воспользуется ли

он лезвием, даже если получит такую возможность. Куда более естественно — длить свое существование миг за мигом, хвататься еще за десять минут жизни, даже если они неизбежно закончатся пыткой.

Иногда он пытался считать кафельные плитки на стенах камеры. Казалось бы, ничего сложного, но он все время сбивался со счета. Но чаще Уинстон силился понять, куда его привезли и сколько сейчас времени. Уверенность, что снаружи солнечный день, сменялась столь же отчетливым ощущением: нет, на дворе непроглядная ночь. Здесь, интуитивно чувствовал Уинстон, свет не выключат никогда. Место, где нет тьмы, — вот оно: теперь он понял, почему ему показалось, что этот образ знаком О'Брайену.

В Главлюбе нет окон. Возможно, его камера в самом сердце здания, возможно, у самой внешней стены, в десяти этажах под землей или в тридцати над уровнем улицы. Уинстон мысленно перемещался по зданию главка, пытаясь понять по ощущениям, высоко ли его камера или он погребен в подземелье.

Снаружи раздался мерный грохот нескольких пар сапог. Стальная дверь, лязгнув, отворилась. Стройный молодой офицер — черная форма, сверкающая полированной кожей, подчеркивает выправку, бледное правильное лицо похоже на восковую маску — ступил в камеру. Он подал знак ожидавшим снаружи конвойным, и в камеру прошаркал поэт Эмплфорт. Дверь снова захлопнулась.

Эмплфорт ткнулся в одну сторону, в другую, словно в поисках еще одной двери, через которую отсюда можно выйти, потом стал слоняться по камере. Он еще не видел Уинстона. Беспокойные глаза поэта уставились в стену в метре над его головой. Эмплфорта привели без ботинок. Из дыр в носках торчали крупные, грязные большие пальцы. Он несколько дней не брился, и лицо

его по самые глаза заросло клочковатой бородой. Она придавала ему хулиганский вид, плохо сочетавшийся с хилой долговязой фигурой и нервными движениями.

Уинстон стяхнул оцепенение. Надо обязательно заговорить с Эмплфортом, даже рискуя вызвать окрик из телевида. А вдруг Эмплфорт — гонец с лезвием?

— Эмплфорт! — позвал Уинстон.

Окрика не последовало. Эмплфорт замер, словно его вспугнули. Его взгляд медленно сфокусировался на Уинстоне.

— А, Смит! — сказал он. — И ты тут!

— За что тебя?

— Правду сказать... — он неуклюже сел на скамью напротив Уинстона. — Преступление-то всегда одно, верно?

— И ты его совершил?

— Видимо, да.

Поэт прижал ладонь ко лбу, на секунду сжал пальцами виски, словно пытаясь что-то вспомнить.

— Такое случается, — начал он туманно. — Я вспомнил один случай — возможный случай. Очевидный прокол. Мы работали над окончательным текстом стихотворений Киплинга. Я оставил в конце одной строчки слова «Господня доброта». Ничего не мог поделывать! — добавил он почти с возмущением, поднимая глаза на Уинстона. — Эту строчку никак не изменить. Там нужна рифма к слову «винта»*. Ты понимаешь, что к слову «винта» есть шесть десятков точных рифм? Я промучился много дней — ни одна не подходит по смыслу!

Эмплфорт изменился в лице: досада исчезла, на какой-то миг он показался почти довольным. Радость

* Речь идет о стихотворении «Гимн Макэндрию» в переводе Г. Зельдовича: «От шатуна до вала, от вала до винта — // Все предопределяла Господня доброта».

интеллектуальной победы, счастье педанта, обнаружившего какой-то бесполезный факт, блеснули сквозь грязь и щетину.

— Тебе когда-нибудь приходило в голову, что вся история английской поэзии — следствие скудости английской рифмы?

Нет, конкретно эта мысль Уинстону никогда не приходила. При нынешних обстоятельствах она не казалась ему ни особенно важной, ни интересной.

— Не знаешь, который час?

Вопрос застал Эмплфорта врасплох.

— Я и не думал об этом. Меня арестовали... дня два, может быть, три назад. — Он оглядел камеру, словно ожидал найти где-нибудь окно. — Здесь нет разницы между днем и ночью. Не понимаю, как тут вычислить время.

Они еще несколько минут вяло перекидывались фразами. Вдруг, без всякой видимой причины, из телевида раздалась команда молчать. Уинстон снова сложил руки на коленях. Эмплфорт, слишком длинный, чтобы с комфортом разместиться на узкой скамейке, ерзал туда-сюда, сцепляя длинные пальцы то на одном колене, то на другом. Телевид гаркнул на него: «Сидеть смирно!» Время тянулось. Сколько прошло — двадцать минут, час? Поди пойми. Снаружи снова раздалась тяжелые шаги. У Уинстона внутри все сжалось. Скоро, очень скоро, может, через пять минут, может, прямо сейчас люди в таких кованых сапогах придут и за ним.

Дверь отворилась. В камеру вошел молодой офицер с холодными глазами и небрежным жестом указал на Эмплфорта.

— В сто первую, — скомандовал он.

Неуклюже переваливаясь, Эмплфорт побрел прочь между двух охранников. Лицо его выражало смутную тревогу; он явно не понимал, куда его ведут.

Прошло еще довольно много времени. Боль в животе снова проснулась. Мысли Уинстона проваливались в одни и те же ямы, как шарик в пинболе. Мыслей осталось всего шесть. Боль в животе; кусок хлеба; кровь и стоны; О'Брайен; Джулия; лезвие. Очередной спазм сдавил ему внутренности: тяжелые шаги приближались. Когда открылась дверь, в камеру первым ворвался острый запах стылого пота. Вошел Парсонс в шортах цвета хаки и футболке.

Это явление так поразило Уинстона, что он обо всем забыл.

— Ты! Здесь! — воскликнул он.

Парсонс посмотрел на него без интереса и без удивления. Взгляд его выражал лишь страдание. Он заходил по камере каким-то дерганным шагом — явно не мог успокоиться. Каждый раз, когда распрямлялись его пухлые коленки, было видно, что они дрожат. Широко раскрытыми глазами Парсонс неотрывно смотрел куда-то вдаль.

— За что тебя? — спросил Уинстон.

— За криводум, — ответил Парсонс. Казалось, он вот-вот разрыдается, его голос выражал одновременно и полное раскаяние, и неверие — неужели к нему, Парсонсу, применимо это ужасное слово? Он остановился напротив Уинстона и жалобно заговорил: — Меня ведь не расстреляют, как считаешь, а, старичок? Если ты ничего такого не сделал, только думал, за это же не расстреливают? Ведь с мыслями-то как сладишь? Там разберутся, я точно знаю. Не доверять нельзя! Они же знают мой послужной список. Да вот и ты знаешь, что я за человек. По-своему неплохой ведь. Не то чтобы умник, но старательный. Работал как мог на дело Партии, верно? Пятерку дадут, не больше, как думаешь, а? Ну, может, десятку. Такой, как я, в трудовом лагере пригодится. Не расстреляют ведь за то, что разок оступился?

— Так ты виновен? — спросил Уинстон.

— Конечно, виновен! — воскликнул Парсонс, заискивающе поглядывая на телевид. — Не может же Партия допустить арест невиновного, а?

Его лягушачья физиономия приняла более спокойное, даже немного ханжеское выражение.

— Криводум — страшная штука, старичок, — изрек он напыщенно. — Коварная штука. Ты знать не знаешь, а уже в его лапах. Знаешь, как это со мной вышло? Во сне! Как есть тебе говорю. Работал себе, работал, делал, что от меня требовалось, — даже не знал, что у меня в голове чего-то не то. А потом начал во сне разговаривать. Знаешь, что я сказал, на чем попался?

Он понизил голос, словно собирался, в чисто медицинских целях, произнести нечто неприличное.

— «Долой Старшего Брата!» Так и сказал! Да еще повторил много раз, как мне рассказали. Между нами, старичок, я даже рад, что меня взяли, пока дело дальше не зашло. Знаешь, что я на суде скажу? «Спасибо, — скажу, — спасибо, что спасли меня, пока не поздно».

— Донес-то на тебя кто? — спросил Уинстон.

— Дочка, — сказал Парсонс печально, но и с гордостью. — У замочной скважины подслушивала. Услышала меня — и наутро бегом к патрульным. Недурно для семилетки, а? Я на нее зла не держу. Горжусь ею на самом деле. Значит, правильно я ее воспитал.

Он еще прошелся своим дерганым шагом по камере, с нетерпением поглядывая на унитаз, и вдруг резко стянул с себя шорты.

— Извини, старичок, не могу больше, — сказал он. — Ждать такая мука.

Парсонс плюхнулся широким задом на унитаз. Уинстон закрыл лицо руками.

— Смит! — раздался голос из телевида. — Номер шесть тысяч семьдесят девять, Смит У.! Открыть лицо! Закрывать лицо в камере запрещается!

Уинстон убрал руки. Парсонс испражнялся громко и обильно. Тут же выяснилось, что слив не работает, и в камере еще много часов омерзительно воняло.

Парсонса увели. Приводили и уводили других заключенных, согласно какому-то непонятному плану. Одну женщину отправили в комнату сто один, и Уинстон заметил, как она, услышав это, вся сжалась и изменилась в лице. Если его привезли сюда утром, уже миновал полдень, если днем — полночь. В камеру впихнули еще пять заключенных, мужчин и женщин. Все сидели неподвижно. Напротив Уинстона — мужчина почти без подбородка, с большими зубами, как у крупного безобидного грызуна. Его жирные рябые щеки свисали мешочками, так что казалось, будто у него там запасы еды. Он робко поглядывал на сокамерников бледносерыми глазами и быстро отворачивался, встретившись с кем-то взглядом.

Открылась дверь, и ввели еще одного арестанта, при виде которого Уинстон испытал холодный ужас. Обычный человек с недобрым лицом, может быть, какой-то механик или техник. Поражало, однако, насколько изможденным выглядело это лицо — будто череп. Из-за худобы рот и глаза казались огромными, и эти глаза наполняла убийственная, неутолимая ненависть.

Новичок уселся на скамью чуть поодаль от Уинстона. Тот больше не смотрел на него, но измученное, похожее на череп лицо так его поразило, что по-прежнему стояло у него перед глазами. Вдруг он догадался, в чем дело. Этот человек умирает от голода. Уинстону показалось, что та же мысль одновременно пришла и всем остальным в камере. По всей скамье прошло легкое шевеле-

ние. Человек без подбородка все бросал беглые взгляды на кощег, виновато отворачивался и снова смотрел, словно не мог противиться соблазну. В конце концов он заерзал на скамье, встал, пересек камеру, нелепо переваливаясь, сунул руку в карман и протянул кощегу грязноватый кусочек хлеба.

Из телевида раздался гневный, оглушительный рев. Человек без подбородка в ужасе отпрыгнул. Кощей быстро убрал руки за спину, словно демонстрируя всем вокруг, что отказывается принять дар.

— Бамстед! — ревел голос. — Номер две тысячи семьсот тринадцать, Бамстед Дж.! Хлеб на пол!

Человек без подбородка уронил хлеб.

— Стоять на месте лицом к двери, — продолжал голос. — Не двигаться.

Человек без подбородка послушно выполнил приказ. Его щеки-мешочки неконтролируемо дрожали. Лязгнула дверь, молодой офицер вошел и отступил в сторону, пропуская невысокого, коренастого охранника с широченными плечами и мускулистыми руками. Тот встал напротив человека без подбородка и по сигналу офицера нанес сокрушительный удар в челюсть. Уинстону показалось, что арестант пролетел несколько метров по воздуху, прежде чем приземлиться возле унитаза. Несколько секунд он лежал оглушенный — изо рта и из носа бежали струйки крови. Потом тоненько застонал, скорее даже пискнул, перекатился и поднялся на четвереньки. С потоком крови и слюны изо рта у него вывалились половинки сломанного зубного протеза.

Арестанты сидели неподвижно, положив руки на колени. Человек без подбородка вскарабкался на свое место. Половину его лица занимал багровеющий кровоподтек. Распухшие губы превратились в бесформенную, вишневого цвета массу с чернеющим посередине отвер-

стием. Время от времени кровь капала на комбинезон. Взгляд серых глаз все перепрыгивал с лица на лицо, еще более виновато, чем прежде, — словно человек без подбородка силился понять, насколько остальные презирают его за только что пережитое им унижение.

Дверь снова открылась. Едва заметным жестом офицер указал на кощера.

— В сто первую, — сказал он.

Уинстон услышал судорожный вздох, и по скамье будто пробежала дрожь. Вызванный арестант упал на колени, молитвенно сжимая руки.

— Товарищ офицер! — завопил он. — Не уводите меня туда! Разве я еще не все вам рассказал? Что еще вы хотите знать? Я во всем, во всем сознаюсь! Просто скажите, в чем, и я сразу сознаюсь. Подпишу любую бумагу, любую! Только не в сто первую!

— В сто первую, — сказал офицер.

Лицо арестанта и без того очень бледное приобрело какой-то совсем нечеловеческий зеленоватый оттенок.

— Делайте со мной что хотите! — кричал он. — Которую неделю голодом морите. Так добейте уже. Застрелите. Повесьте. Дайте двадцать пять лет. Кого еще я должен вам выдать? Просто назовите, я скажу все, что захотите. Мне плевать, кто это и что вы с ними сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему и шести нет. Забирайте их, перережьте им горло у меня на глазах, я буду стоять и смотреть. Только не в сто первую!

— В сто первую, — сказал офицер.

В панике арестант переводил глаза с одного лица на другое, словно надеясь отправить кого-то вместо себя. Наконец его взгляд остановился на человеке без подбородка. Он выкинул вперед тощую руку.

— Вот его, его вам надо, не меня! — закричал он. — Вы бы слышали, что он говорил, когда ему рожу разбили!

Дайте мне шанс, я все расскажу как есть. Это он против Партии, а не я!

Охранники выступили вперед. Голос арестанта сорвался на визг.

— Вы не слышали! — твердил он. — У вас телевид поломался. Его берите, его, не меня!

Двое крепких охранников подхватили его под руки, но он вырвался, нырнул вперед, вцепился в металлические ножки скамьи и завыл — уже без слов, как животное. Охранники схватили его и попытались отцепить, но он держался на удивление крепко. Секунд двадцать они сосредоточенно тянули. Арестанты сидели тихо, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой. Вой прекратился: кощею хватало дыхания лишь на то, чтобы цепляться. Вдруг снова раздался крик — на этот раз крик боли: это охранник ударом кованого сапога сломал кощею пальцы на руке. Его рывком подняли на ноги.

— В сто первую, — повторил офицер.

Арестанта вывели. Он шел, шатаясь, опустив голову, держась здоровой рукой за сломанную. Воля к сопротивлению у него иссякла.

Прошло еще много времени. Если кощея забрали в полночь, значит, настало утро, если утром — день. Уинстон уже несколько часов провел в камере один. Сидеть на узкой скамье стало так больно, что он часто вставал пройтись. Телевид не возражал.

Кусочек хлеба по-прежнему лежал там, где его уронил человек без подбородка. Поначалу, чтобы не смотреть на него, требовалось усилие, но вскоре голод сменился жаждой. Во рту у Уинстона все слиплось и появился гнусный вкус. Тихое жужжание и неизменный белый свет вогнали его в какое-то предобморочное состояние, в голове сделалось пусто. Уинстон вставал, потому что больше не мог терпеть ломоту в костях, и почти сразу

снова садился — кружилась голова, на ногах он чувствовал себя неуверенно. Как только все эти ощущения немного утихали, возвращался страх. Иногда с ускользящей надеждой Уинстон думал об О’Брайене и лезвии, которое могут, например, передать в еде, если его когда-нибудь покормят. Посещала его и более смутная мысль — о Джулии. Она непонятно где и, возможно, страдает намного сильнее. Может быть, прямо сейчас кричит от боли. «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив мою боль, я бы это сделал? — думал он. — Да, сделал бы». Но решение он принял лишь умом — просто зная, что так надо. Он не чувствовал этого решения. Здесь вообще невозможны никакие чувства, кроме боли и предощущения боли. Да и можно ли, когда страдаешь, желать усиления этих страданий — во имя чего бы то ни было? На этот вопрос у него пока не было ответа.

Сапоги снова приближались. Дверь открылась. На пороге стоял О’Брайен.

Уинстон вскочил. Ошеломление отбило у него всякую осторожность. Впервые за много лет он забыл о присутствии телевида.

— И вас взяли!

— Меня-то давным-давно, — сказал О’Брайен с мягкой иронией, почти с сожалением. Он шагнул в сторону. Из-за его спины выступил широкоплечий охранник с длинной черной дубинкой в руке.

— Ты же все знаешь, Уинстон, — сказал О’Брайен. — Не обманывай себя. Ты и раньше всегда все знал.

Да, вдруг понял Уинстон, он всегда все знал. Но времени обдумать эту мысль не осталось. Он не мог оторвать глаз от дубинки в руке охранника. Она может опуститься куда угодно — на макушку, ухо, плечо, локоть...

Локоть! Он рухнул на колени, почти парализованный, схватился рукой за взорвавшийся болью локоть.

В глазах — вспышка желтого света. Невероятно, просто невероятно, что один удар может причинить такую боль! Вспышка угасла, зрение вернулось, и он увидел, как те двое глядят на него сверху вниз. Эх его скрючило, посмеивался охранник. По крайней мере на один вопрос ответ получен. Никогда, ни по какой мыслимой причине, не пожелаешь, чтобы боль стала сильнее. Желать можно лишь одного: чтобы она прекратилась. Ничего хуже физической боли на свете нет. Перед лицом боли нет героев, не бывает героев, вертелось у него в голове, пока он корчился на полу, бессмысленно держась за отбитую левую руку.

2.

Уинстон лежал на чем-то вроде раскладушки, только высокой и с креплениями, из-за которых он не мог пошевелиться. В лицо бил свет, более яркий, чем обычно. Рядом стоял О'Брайен и пристально смотрел на него. По другую сторону — человек в белом халате и со шприцем в руке.

Даже открыв глаза, он осваивался в новой обстановке лишь постепенно, словно вплыл в эту комнату из какого-то другого мира — подводного, скрытого глубоко внизу. Сколько он там пробыл, Уинстон не знал. С момента ареста он не видел ни темноты, ни дневного света. К тому же в памяти образовались провалы. Иногда сознание — даже такое, какое бывает во сне, — напрочь отключалось и лишь через некий промежуток времени запускалось снова. Как долго длились эти промежутки — по несколько дней, недель или всего лишь секунд, — Уинстон не понимал.

Кошмар начался с того первого удара по локтю. Позже Уинстону стало ясно: то был лишь предварительный, рутинный допрос, которому подвергаются почти все арестанты. Существует длинный список злодеяний — шпионаж, вредительство и так далее, — в которых непременно должны сознаться все. Признание — лишь формальность, хотя попытки ему предшествуют настоящие.

Сколько раз его били и как долго, Уинстон не помнил. Каждый раз им занимались пять-шесть человек в черной форме. В ход шли то кулаки, то дубинки, то металлические прутья, то сапоги. Случалось, он катался по полу, как животное, потеряв всякий стыд, извиваясь во все стороны в бессмысленных, бесконечных попытках увернуться от ударов ногами, а на самом деле лишь напрашиваясь на новые пинки — по ребрам, животу, локтям, лодыжкам, в пах, по яичкам, по копчику.

Случалось, избиение продолжалось бесконечно, и самым жестоким, подлым и непростительным казалось ему не то, что охранники продолжают его бить, а то, что не получается усилием воли потерять сознание.

Случалось, смелость настолько покидала его, что он молил о пощаде еще до того, как начинали бить, и тогда одного вида занесенного кулака было довольно, чтобы заставить его истово каяться в реальных и выдуманных преступлениях.

Случалось, он набирался решимости ни в чем не сознаваться, и каждое слово приходилось тянуть из него с криком боли. Но бывали и жалкие попытки компромисса с собой: «Сознаюсь, но не сразу. Продержусь, пока боль не станет невыносимой. Еще три пинка, еще два, и скажу им все, что они хотят».

Иногда его избивали так, что он едва мог стоять, швыряли, как мешок картошки, на каменный пол камеры, оставляли на несколько часов, чтобы пришел в себя, потом выводили и снова били. Бывали и более долгие передышки, но их он помнил смутно, потому что спал или впадал в ступор. Запомнилась камера с нарами вроде полки и жестяным умывальником: в ней кормили горячим супом и хлебом, а иногда давали кофе. Запомнились хамоватый парикмахер, приходивший соскрести ему щетину с подбородка и коротко остричь волосы, и бесчувственно-деловые люди в белых халатах, которые щупали Уинстону пульс, проверяли рефлексы, поднимали веки, жесткими пальцами искали переломы и тыкали его шприцами, чтобы он заснул.

Бить стали реже, оставалась лишь опасность, что кошмар может в любой момент вернуться, если ответы Уинстона перестанут их удовлетворять. Допрашивали его теперь не костоломы в черной униформе, а партийные интеллектуалы, кругленькие, суетливые, в поблескивающих

очочках. Его передавали от одного к другому, как эстафетную палочку, часов, наверное, по десять–двенадцать подряд — так ему казалось, а точнее он сказать не мог. Эти новые дознаватели старались сделать так, чтобы ему все время было немного больно, но полагались в основном не на боль. Они давали ему оплеухи, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не отпускали в туалет, светили яркой лампой, пока из глаз не начинали литься слезы, но все это — лишь чтобы унижить, отбить способность и желание спорить, приводить рациональные доводы. Главное оружие, которое применяли дознаватели, — сам безжалостный, бесконечный допрос. Час за часом Уинстона пытались подловить, загнать в капкан, извратить все, что он говорит, убедить его, что он на каждом шагу лжет и сам себе противоречит, пока он не начинал плакать — больше от стыда, чем от нервного истощения. Иногда он плакал раз по шесть за один допрос.

Чаще всего на него орали, осыпали оскорблениями, а стоило ему замешкаться с ответом, угрожали снова отдать охранникам. Но иногда вдруг меняли тон, величали товарищем, зывали к нему во имя англизма и Старшего Брата, печально вопрошали, неужели и сейчас он недостаточно предан делу Партии, чтобы постараться загладить совершенное им зло. После многочасовой нервозности даже эти призывы заставляли его хлюпать носом. В конце концов надоедливые голоса сломали его так, как не смогли кулаки и сапоги охранников. От Уинстона осталось немного: рот, чтобы говорить, что требуют, и рука, чтобы подписывать, что требуют. Он хотел одного — выяснить, в чем следует сознаться, и поскорее сознаться, пока не возобновились издевательства.

Он сознался в покушениях на видных членов Партии, распространении подрывной литературы, растрате государ-

ственных средств, продаже военных тайн, разнообразном вредительстве. Он признался, что еще в 1968 году начал за деньги шпионить в пользу Остзии. Он признался, что верит в бога, чтит капитализм и предается сексуальным извращениям. Он признался, что убил жену, хотя знал — и дознаватели, скорее всего, тоже знали, — что она жива. Он признался, что многие годы лично поддерживал связь с Гольдштейном и состоял в подпольной организации, в которую входили почти все его знакомые. Каяться и сдавать всех — так проще. К тому же все обвинения, в сущности, правдивы: он и в самом деле враг Партии, а Партия все равно не видит разницы между мыслью и поступком.

Остались и другие воспоминания, разрозненные, словно отдельные картины на черной стене.

Вот он в камере, и непонятно, темно здесь или светло, потому что видит он только чьи-то глаза. Неподалеку медленно, размеренно тикает какое-то устройство. Глаза увеличиваются, источают все больше света. Вдруг он отрывается от стула, поднимается в воздух, ныряет в эти глаза и пропадает в них.

Вот он на стуле под ярчайшими лампами, а вокруг какие-то датчики, за которыми следит человек в белом халате. Снаружи стук тяжелых сапог. Лязгает дверь, входит офицер с восковым лицом, с ним двое охранников.

— В сто первую, — говорит офицер.

Человек в белом халате не оборачивается, не смотрит и на Уинстона — только на свои датчики.

Вот его катят по просторному коридору в километр шириной, наполненному золотым сиянием, а он заливается смехом и во всю глотку выкрикивает признания. Он сознается во всем, даже в том, что удержал в себе под пыткой. Рассказывает всю свою жизнь слушателям, которые и так обо всем знают. С ним охранники, другие

дознаватели, люди в белых халатах, О'Брайен, Джулия, мистер Чаррингтон — все едут с ним по коридору и громко смеются. Уготованное ему ужасное будущее как-то проскочили, отменили. Все в порядке, боли нет, вся его жизнь как на ладони, его поняли и простили.

Вот он вскакивает с нар, почти уверенный, что услышал голос О'Брайена. Ни на одном допросе Уинстон его не видел, но всегда чувствовал, что О'Брайен рядом, просто вне поля зрения. Это О'Брайен всем управляет. Это он напустил на Уинстона охранников и не дал им его убить. Это он решает, когда Уинстону кричать от боли, когда отдыхать, есть, спать, какими веществами его накачивать. Это он задает вопросы и предлагает ответы. Он и мучитель, и защитник, и инквизитор, и друг. Однажды — Уинстон не мог вспомнить, под снотворным ли, во время обычного сна или даже наяву, — голос прошептал ему на ухо: «Не волнуйся, Уинстон, ты под моей защитой. Семь лет я наблюдал за тобой. Теперь настал переломный момент. Я спасу тебя, сделаю совершенным». Уинстон не уверен, что это голос О'Брайена, но это — тот же голос, который говорил ему в том, другом сне семь лет назад: «Встретимся там, где нет тьмы».

Как закончился допрос, Уинстон не помнил. Просто на какое-то время стало темно, а потом он оказался в этой камере, или комнате, которая постепенно материализовалась вокруг него. Он лежал навзничь и не мог пошевелиться — все его тело сковывали крепления, даже затылок что-то сжимало. О'Брайен смотрел на него сверху вниз серьезно и печально. Его лицо казалось грубым и утомленным — под глазами мешки, между носом и подбородком глубокие морщины. Он выглядел старше, чем раньше казалось Уинстону, — лет на сорок восемь — пятьдесят. Его рука лежала на каком-то устройстве с циферблатом и рычажком.

— Я ведь говорил тебе, — начал О'Брайен, — что если мы снова встретимся, то именно здесь?

— Да, — сказал Уинстон.

Внезапно — если не считать предупреждением легкое движение руки О'Брайена — боль наполнила все тело Уинстона. Эта боль напугала его, ведь он не видел, что ее вызвало, и ему показалось, что с ним делают нечто непоправимое. Что бы ни вызвало этот эффект — какие-то инструменты или электрический ток, — тело Уинстона неестественно выгнулось, и ему показалось, что суставы вот-вот разорвутся. От боли на лбу выступил пот, но еще мучительнее оказался страх, что позвоночник сейчас переломится надвое. Он сжал зубы и с усилием дышал через нос, стараясь как можно дольше не издать ни звука.

— Боишься, — сказал О'Брайен, наблюдая за его лицом, — что еще секунда — и что-нибудь сломается. Особенно тебе страшно, что это будет твой хребет. Ты прямо видишь, как позвонки отрываются друг от друга, как вытекает спинномозговая жидкость. Вот о чем ты думаешь, да, Уинстон?

Уинстон не ответил. О'Брайен отвел рычажок назад. Боль утихла почти так же быстро, как появилась.

— Это было сорок делений, — сообщил О'Брайен. — Видишь, на этой шкале их сто. Пока мы будем разговаривать, помни, пожалуйста, что в моей власти в любой момент сделать тебе больно, так больно, как я захочу. Хорошо? Если будешь мне врать, попытаешься уклониться от ответа или даже просто притвориться глупее, чем ты есть на самом деле, сейчас же заорешь от боли. Это понятно?

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен чуть смягчился. Он задумчиво поправил очки, прошелся по комнате и заговорил мягко и терпеливо,

как врач, учитель или даже священник, стремящийся объяснить и убедить, а не покарать.

— Вожусь тут с тобой, Уинстон, — сказал он, — потому что ты того стоишь. Ты отлично знаешь, что с тобой не так. Знаешь уже много лет, хотя и пытался бороться с этим знанием. Ты душевнобольной. У тебя расстройство памяти. Ты не помнишь реальных событий и убеждаешь себя, что помнишь другие события, которых никогда не было. К счастью, это излечимо. Ты не лечился, потому что не хотел. Требовалось небольшое усилие воли, но ты был к нему не готов. Даже сейчас — и я это прекрасно вижу — ты держишься за свою болезнь, считая ее добродетелью. Вот, к примеру, с какой страной воюет в настоящий момент Океания?

— Когда меня арестовали, Океания воевала с Остазией.

— С Остазией. Хорошо. Океания и всегда воевала с Остазией, верно?

Уинстон глубоко вдохнул, открыл рот, чтобы заговорить, и ничего не сказал. Он не мог отвести глаз от круговой шкалы-циферблата.

— Скажи правду, Уинстон. Свою правду. Скажи, что ты, по-твоему, помнишь.

— Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы воевали вовсе не с Остазией. С ней мы состояли в союзе. А воевали с Евразией. Так было четыре года. А до этого...

О'Брайен жестом остановил его.

— Еще пример, — сказал он. — Несколько лет назад у тебя был очень серьезный эпизод бреда. Ты решил, что некие трое, три бывших члена Партии по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд, которых позже казнили за измену и вредительство — злодеяния, в которых они полностью сознались, — невиновны в том, в чем их обвинили. Тебе показалось, будто ты видел неоспоримое документальное доказательство, что их признания ложны.

Тебя посетила галлюцинация в виде некоей фотографии. Тебе показалось, что ты держал ее в руках. Фотография была примерно такая.

В руке у О'Брайена возникла прямоугольная газетная вырезка. Секунд пять она находилась в поле зрения Уинстона. Вне всякого сомнения, фотография та самая. Еще один экземпляр фото Джонса, Аронсона и Резерфорда на партийном мероприятии в Нью-Йорке, попавшего Уинстону в руки одиннадцать лет назад и тогда же им уничтоженного. Всего на мгновение вырезка возникла у него перед глазами и тут же исчезла. Но он ее видел, однозначно видел! Уинстон попытался отчаянным, болезненным усилием высвободить туловище, но не смог сдвинуться ни в одну сторону и на сантиметр. Ему ничего так не хотелось, как снова подержать фотографию в руках или хотя бы взглянуть на нее.

— Она существует! — воскликнул он.

— Нет, — сказал О'Брайен.

Он шагнул к противоположной стене, поднял решетку, закрывающую провал памяти, бумажку унесло прочь потоком теплого воздуха — и вот она уже невидимая вспышка пламени. О'Брайен отвернулся от стены.

— Пепел, — сказал он. — Даже не пепел — в нем еще можно было бы что-то рассмотреть, — пыль. Ничто. И никогда ничего не было.

— Нет, было! Фотография существует! Существует в памяти. Я ее помню. И вы помните.

— Я не помню, — сказал О'Брайен.

Уинстона охватило уныние. Это же двоедум! Он ощутил совершеннейшую беспомощность. Будь он уверен, что О'Брайен лжет, все было бы не так страшно. Но ведь вполне возможно, что О'Брайен действительно забыл фотографию. А если так, то забыл, как отрицал, что помнит; забыл и то, как забывал. И можно ли быть

уверенным, что это лишь примитивный фокус? Вдруг это безумное смещение реальности совершенно неподдельно? Вот эта мысль и добивала Уинстона.

О'Брайен задумчиво глядел на него. Он все больше напоминал учителя, который вразумляет заблудшего, но способного ребенка.

— Есть партийный лозунг насчет управления прошлым, — проговорил он. — Скажи, пожалуйста, как он звучит?

— «Кто управляет прошлым, управляет будущим. Кто управляет настоящим, управляет прошлым», — послушно продекламировал Уинстон.

— «Кто управляет настоящим, управляет прошлым», — сказал О'Брайен, медленно, одобрительно кивая. — Как ты считаешь, Уинстон, прошлое действительно существует?

На Уинстона снова накатила волна беспомощности. Он перевел взгляд на циферблат, не зная, какой ответ — «да» или «нет» — уберезет его от боли, не зная даже, какой ответ правильный.

О'Брайен усмехнулся.

— Метафизик, Уинстон, из тебя никакой, — сказал он. — До этого момента ты и не задумывался, что такое «существовать». Уточню. Существует ли прошлое где-нибудь в пространстве? Есть ли такое место, такой предметный мир, в котором прошлое до сих пор происходит?

— Нет.

— Тогда где существует прошлое, если предположить, что оно существует?

— В архивах. Оно описано.

— В архивах. И?

— В головах. В человеческой памяти.

— В памяти. Ладно. Мы, Партия, управляем и всеми архивами, и всеми воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?

— Но как вы можете помешать людям помнить?! — воскликнул Уинстон, снова на мгновение забыв о делениях на циферблате. — Ведь помнят помимо своей воли. Это не контролируется. Как можно управлять памятью? Моей же вы не сумели управлять.

О'Брайен снова посуровел, положил руку на циферблат.

— Напротив, — сказал он, — это ты не сумел ею управлять. Что и привело тебя сюда. Ты здесь, потому что тебе не хватило скромности, самодисциплины. Ты не подчинился — а такова была цена душевного здоровья. Ты предпочел быть безумцем, меньшинством из одного человека. Только дисциплинированный разум способен воспринимать реальность, Уинстон. Ты думаешь, реальность — это нечто объективное, внешнее, существующее само по себе. Ты также считаешь, что реальность — нечто само собой разумеющееся. Когда у тебя возникает иллюзия, будто ты видишь нечто, ты предполагаешь, что и другие видят то же самое. Но поверь мне, Уинстон, реальность — не что-то внешнее. Реальность существует внутри человеческого разума и больше нигде. И не в разуме индивида, способного на ошибки, да и попросту смертного, а в бессмертном коллективном разуме Партии. То, что Партия считает истиной, и есть истина. Невозможно увидеть реальность, если не смотришь глазами Партии. И эту истину, Уинстон, тебе нужно заново усвоить. Для этого нужен акт самоотречения, усилие воли. Чтобы обрести душевное здоровье, надо смирить гордыню.

Он помолчал, словно давал Уинстону время усвоить урок.

— Помнишь, — сказал он, — как ты записал в дневнике: «Свобода — это свобода говорить, что дважды два — четыре»?

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен поднял левую ладонь, тыльной стороной к Уинстону, и спрятал большой палец.

— Сколько пальцев я тебе показываю, Уинстон?

— Четыре.

— А если Партия скажет, что не четыре, а пять, — тогда сколько?

— Четыре.

Слово закончилось вскриком боли. Стрелка на циферблате метнулась к пятидесяти пяти. Все тело Уинстона покрылось испариной. Воздух, который он с усилием втягивал, вырывался из груди глубокими стонами. Уинстон не мог их сдержать, даже стиснув зубы. О'Брайен наблюдал за ним, все еще показывая четыре пальца. Наконец он отвел рычажок назад. На этот раз боль утихла не до конца.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

Стрелка доползла до шестидесяти.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!

Стрелка, видимо, лезла еще дальше, но он на нее не смотрел — видел только нахмуренное, строгое лицо и четыре пальца. Пальцы превратились в его глазах в колонны — огромные, расплывчатые, дрожащие, — но все же колонн явно было четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Не надо, не надо больше! Зачем вы так? Четыре! Четыре!

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Пять! Пять! Пять!

— Нет, Уинстон, так не годится. Ты врешь. Ты по-прежнему думаешь, что четыре. Ну, сколько пальцев?

— Четыре! Пять! Четыре! Сколько хотите. Только не надо больше, не делайте больно!

Он вдруг оказался в сидячем положении. На его плече лежала рука О'Брайена. Наверное, он на несколько секунд потерял сознание. Крепления, державшие его тело, ослабили. Уинстона жутко знобило, его колотила неостановимая дрожь, зубы стучали, по щекам текли слезы. На мгновение он прижался к О'Брайену, как младенец, — тяжелая рука на плече почему-то его успокаивала. Возникло чувство, что О'Брайен — его защитник, что боль приходит откуда-то со стороны, из какого-то другого источника, а О'Брайен спасет Уинстона от нее.

— Плохо стараешься, Уинстон, — мягко сказал О'Брайен.

— Что я могу поделать? — рыдал Уинстон. — Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Дважды два — четыре.

— Иногда пять, Уинстон. А иногда три. А иногда и то и другое сразу. Работай усерднее. Выздороветь непросто.

Он уложил Уинстона на койку. Крепления на руках и ногах снова натянулись, но боль отхлынула, дрожь прекратилась, остались только слабость и озноб. О'Брайен кивнул человеку в белом халате, который все это время простоял неподвижно. Тот наклонился над Уинстоном, заглянул ему в глаза, пощупал пульс, приложил ухо к груди, простучал там и тут, наконец кивнул О'Брайену.

— Еще, — сказал О'Брайен.

Тело Уинстона налилось болью. Стрелка наверняка дошла до семидесяти, если не до семидесяти пяти. На этот раз он закрыл глаза. Он знал, что пальцы еще подняты вверх и что их по-прежнему четыре. Надо лишь как-то пережить спазм. Уинстон перестал замечать, плачет он или нет. Боль снова приутихла — О'Брайен отвел рычажок. Уинстон открыл глаза.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре. Мне кажется, четыре. Я бы увидел пять, если бы мог. Я стараюсь увидеть пять.

— Чего ты хочешь — убедить меня, что видишь пять, или на самом деле увидеть?

— На самом деле увидеть.

— Еще, — сказал О'Брайен.

Наверное, стрелка поползла до восьмидесяти-девяноста. Уинстон уже не мог вспомнить, почему ему больно. Перед его закатившимися глазами плясал целый лес пальцев — они то появлялись, то исчезали, то прятались друг за друга. Он старался их сосчитать, но забыл зачем, и знал только, что сосчитать невозможно, потому что четыре странным образом равняется пяти. Боль снова стихла. Открыв глаза, он обнаружил, что видит то же самое: бесконечные пальцы бегут то влево, то вправо, словно движущиеся деревья. Он снова закрыл глаза.

— Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

— Не знаю. Не знаю. Следующий раз меня просто убьет. Четыре, пять, шесть — клянусь, я не знаю.

— Уже лучше, — сказал О'Брайен.

В руку Уинстона впилась игла. Почти в то же мгновение блаженное, целительное тепло растеклось по всему его телу. Боль уже наполовину забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде его отяжелевшего, изрезанного морщинами лица, такого уродливого и такого умного, у Уинстона сжалось сердце. Если бы он мог двигаться, протянул бы руку и положил О'Брайену на плечо. Никогда Уинстон не любил его так сильно, как сейчас, и дело не только в том, что О'Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство, что не имеет значения, друг О'Брайен или враг. С О'Брайеном можно говорить. Может, нам нужна вовсе не любовь, а понимание? О'Брайен запытал его почти до безумия, а скоро наверняка отправит на смерть. Неважно. В некотором

смысле такая связь теснее дружбы. Они стали близкими людьми, и наверняка найдется место, где они все же смогут встретиться и поговорить — даже если так и не произнесут нужных слов.

О'Брайен смотрел на него сверху вниз с таким выражением, будто тоже думал о чем-то подобном. И заговорил он так, словно это была ни к чему не обязывающая беседа.

— Знаешь, Уинстон, где ты находишься?

— Не знаю. Догадываюсь. В Главлюбе.

— А знаешь, как давно ты здесь?

— Не знаю. Сколько-то дней, недель, месяцев — по-моему, месяцев.

— Как по-твоему, зачем мы привозим сюда людей?

— Чтобы заставить сознаваться.

— Нет, не для этого. Еще попытка.

— Чтобы наказать.

— Нет! — воскликнул О'Брайен. Его голос резко изменился, а лицо одновременно посуровело и оживилось. — Нет! Не просто ради твоего признания и не чтобы наказать. Сказать тебе, зачем мы тебя сюда привезли? Чтобы вылечить! Чтобы избавить от безумия! Пойми наконец, что никто из тех, кого мы сюда привозим, не выходит неизлеченным! Нас не интересуют твои несчастные преступления. Партии нет дела до поступков: нам важны только мысли. Наша цель не уничтожить врагов, а изменить их. Ты меня понимаешь?

Он склонился над Уинстоном. На таком близком расстоянии его лицо казалось огромным и, поскольку Уинстон смотрел на него снизу, особенно безобразным. Ко всему прочему, лицо это выражало какое-то напряженное, безумное иступление. Уинстону стиснуло сердце. Если бы он мог, вжался бы глубже в койку. Он не сомневался, что О'Брайен сейчас дернет за рычаг — просто так,

из прихоти. Но вместо этого О'Брайен отвернулся, прошел по комнате и продолжал уже без прежнего напора:

— Первое, что ты должен понять: здесь мучеников не бывает. Ты ведь знаком с историей религиозных преследований. Вот была в Средние века инквизиция. Она потерпела неудачу. Собиралась искоренить ересь, а сама обессмертила ее. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи других. Почему? Потому что инквизиция убивала своих врагов открыто — и они умирали нераскаившимися. Собственно, за то их и убивали, что они не каялись. Люди умирали, потому что отказывались отречься от убеждений. Конечно, вся слава доставалась жертве, а весь позор — инквизитору, отправившему ее на костер. Потом, в XX веке, пришли так называемые тоталитарные режимы. Германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь еще яростнее, чем инквизиция. Им казалось, что они учли ошибки прошлого: во всяком случае они знали, что не надо создавать мучеников. Прежде чем выводить своих жертв на показательный процесс, они планомерно втоптывали в грязь их достоинство. Ломали их пытками и одиночными камерами, превращали в жалких, юлящих людишек, которые сознавались во всем, в чем им скажут, обзывали себя последними словами, оговаривали друг друга и прикрывались друг другом, вымаливали пощаду. Но от силы несколько лет — и все по новой. Погибшие превратились в мучеников, а об их унижениях забыли. Опять-таки — почему? В первую очередь потому, что их признания были явно вынужденными и лживыми. Мы не делаем таких ошибок. Все признания, которые здесь делают, правдивы. Мы их делаем правдивыми. Но главное — мы не даем мертвецам восставать против нас. Не воображай себе, Уинстон, что потомки за тебя отомстят. Потомки о тебе не узнают. Тебя выудят

из потока истории. Мы превратим тебя в газ и рассеем в стратосфере. От тебя не останется ничего — ни имени в архивах, ни живого воспоминания. Ты обнулишься и в прошлом, и в будущем. Раз — и нет тебя, никогда не было и не будет.

«Тогда зачем меня пытаться?» — подумал Уинстон с мимолетной горечью. О'Брайен встал как вкопанный, будто Уинстон произнес это вслух. Его широкое уродливое лицо приблизилось, глаза чуть сузились.

— Ты думаешь, что раз мы собираемся тебя полностью уничтожить и ни твои слова, ни твои дела ничего не изменят — раз так, зачем мы теряем время и допрашиваем тебя? Так ты подумал?

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен усмехнулся.

— Ты — сбой в системе, Уинстон. Ты — пятно, которое нужно вывести. Разве я тебе только что не сказал, чем мы отличаемся от палачей прошлого? Нам мало послушания через силу и даже самой униженной покорности. Когда ты наконец нам покорись — ты покорись по своей воле. Мы уничтожаем еретика не за то, что он нам сопротивляется: пока он сопротивляется, мы его не уничтожаем. Мы обращаем его в нашу веру, захватываем его сознание, преобразуем его. Выжигаем из него все зло, все иллюзии. Перетягиваем его на свою сторону — не для виду, а на самом деле, чтобы он стал душой и сердцем наш. Прежде чем убить, мы делаем его одним из нас. Мы не потерпим, чтобы где бы то ни было существовала ошибочная мысль, пускай даже тайная, пускай бессильная. Даже в миг смерти мы не допустим отклонений. В прежние времена еретик шел на костер все еще еретиком, он проповедовал свою ересь, гордился ею. Даже жертва русских чисток могла идти на расстрел с мыслью о бунте. А мы делаем мозг совершенным, пре-

жде чем разнести его пулей. Старые деспотии приказывали: «Не смей». Тоталитарные режимы — «Делай так». Мы говорим: «Будь таким». Никто из тех, кого мы сюда привозим, не может против нас выстоять. Всех отмывают добела. Даже тех трех жалких предателей — Джонса, Аронсона и Резерфорда — и тех мы под конец сломали. Я их тоже допрашивал. Видел, как их постепенно дожали, как они выли, пресмыкались, рыдали — в конце концов уже не от боли или страха, а от раскаяния. Когда мы закончили работу, это уже были не люди, а скорлупки. В них не осталось ничего, кроме горького стыда за содеянное и любви к Старшему Брату. Они любили его так трогательно. Умоляли, чтобы их расстреляли поскорее, пока их помыслы еще чисты.

Голос его звучал почти мечтательно. Выражение иступления, безумного вдохновения не сходило с его лица. Он не притворяется, думал Уинстон, он не лицемер, он верит каждому своему слову. Больше всего угнетало Уинстона сознание собственной интеллектуальной неполноценности. Он наблюдал за тяжеловесной и все же изящной фигурой О'Брайена, то возникавшей в его поле зрения, то выпадавшей из него, и думал, насколько же О'Брайен во всем масштабнее, чем он. Каждую мысль, что приходит ему в голову, О'Брайен давным-давно всесторонне изучил и отверг. Разум О'Брайена вмещает в себя разум Уинстона. Но если так, возможно ли, что О'Брайен безумен? Скорее уж безумен сам Уинстон.

О'Брайен остановился и посмотрел на него сверху вниз. Его голос снова стал строгим.

— Не воображай, что спасешься, Уинстон, как бы безоговорочно ты ни капитулировал. Сбился с пути — пощады не будет. И даже если мы позволим тебе дожить твой естественный срок, ты все равно никуда от нас

не денешься. То, что происходит с тобой здесь, навсегда. Уясни себе это заранее. Мы раздавим тебя, ты пройдешь точку невозврата. С тобой случится такое, от чего не оправиться, проживи хоть тысячу лет. Ты потеряешь способность к обычным человеческим чувствам. Внутри тебя все умрет. Ты никогда больше не сможешь любить, дружить, радоваться жизни, смеяться, утратишь любопытство, смелость, принципы. Ты сделаешься пустышкой. Мы выдавим тебя до капли, а потом наполним собой.

Он остановился и сделал знак человеку в белом халате. Уинстон услышал, как к его изголовью подкатывают какой-то тяжелый аппарат. О'Брайен сел рядом с койкой, так что его лицо оказалось почти вровень с лицом Уинстона.

— Три тысячи, — сказал он через голову Уинстона человеку в белом халате.

Уинстон почувствовал на висках две мягкие, слегка влажные подушечки. Он задрожал. Сейчас придет боль, какой еще не было. О'Брайен успокаивающе коснулся рукой его руки.

— На этот раз больно не будет, — сказал он. — Смотри все время мне в глаза.

В этот момент грянул сокрушительный взрыв — или по крайней мере так показалось, ведь непонятно, раздался ли на самом деле какой-то звук — или Уинстон лишь увидел ослепительную вспышку. Боли он не почувствовал, только полное бессилие. Хотя он лежал на спине, когда это произошло, у него возникло странное чувство, что его сбили с ног. Мощный, хоть и безболезненный, удар попросту распластал его. А еще что-то случилось у него в голове. Когда глаза снова сфокусировались, он вспомнил, кто он, где он, узнал склоненное над ним лицо. Но в его сознании образовалась большая лакуна, словно вырезали кусок мозга.

— Это пройдет, — сказал О’Брайен. — Смотри мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Уинстон задумался. Он знал, что такое Океания и что сам он — гражданин Океании. Он также помнил о Евразии и Остазии. Но кто с кем воюет, он не знал. И вообще понятия не имел ни о какой войне.

— Не помню.

— Океания воюет с Остазией. Теперь помнишь?

— Да.

— Океания всегда воевала с Остазией. С тех пор, как ты появился на свет, с самого основания Партии, с первого дня истории идет непрерывная война, все время одна и та же. Помнишь?

— Да.

— Одиннадцать лет назад ты придумал легенду о трех приговоренных к смерти за предательство. Ты вообразил, что видел листок бумаги с доказательством их невиновности. Такой бумажки никогда не было. Ты ее выдумал, а потом сам в свою выдумку поверил. Ты помнишь тот момент, когда впервые это придумал. Помнишь?

— Да.

— Только что я поднимал руку и показывал тебе пальцы. Ты видел пять пальцев. Помнишь?

— Да.

О’Брайен поднял левую руку, убрав большой палец.

— Здесь пять пальцев. Видишь пять пальцев?

— Да.

Он и в самом деле на мгновение их увидел, прежде чем в голове у него сменились декорации. Увидел кисть руки без какого-либо изъяна. А потом все встало на свои места, и прежний страх, ненависть и недоумение вновь на него навалились. И все же он пережил недолгий, может быть секунд в тридцать, момент просветленной уверенности, когда каждое новое утверждение О’Брайена

заполняло собой часть лакуны и становилось абсолютной истиной, когда дважды два так же легко равнялось бы трем, как и пяти, если бы понадобилось.

Это прошло еще до того, как О'Брайен опустил руку, но хотя Уинстон не мог вернуться в это состояние, он его запомнил. Так помнишь яркие случаи из прежней жизни, когда ты, в сущности, был другим человеком.

— Теперь понимаешь, — сказал О'Брайен, — что, как ни крути, ничего невозможного нет?

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен встал с довольным видом. Слева от себя Уинстон увидел, как человек в белом халате отламывает головку ампулы и оттягивает поршень шприца. О'Брайен с улыбкой обернулся к Уинстону. Почти в прежней манере он поправил на носу очки.

— Помнишь, ты записал в дневнике, что неважно, друг я или враг, потому что я хотя бы понимаю тебя и со мной можно говорить? Ты был прав. Мне нравится с тобой разговаривать. Мне приятен ход твоих мыслей. Он похож на мой собственный — с той разницей, что ты безумен. Прежде чем мы закончим, можешь задать мне несколько вопросов, если хочешь.

— Любых?

— Каких угодно. — О'Брайен заметил, что Уинстон взглянул на циферблат. — Все отключено. Ну, какой будет первый вопрос?

— Что вы сделали с Джулией? — спросил Уинстон.

О'Брайен снова улыбнулся.

— Она предала тебя, Уинстон. Немедленно и без всяких оговорок. Мне редко приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так быстро переходил на нашу сторону. Ты бы ее едва узнал, если бы увидел. Все ее бунтарство, все уловки, хулиганские выходки, пошлости — все это из нее выжгли. Классическое перевоспитание, как по учебнику.

— Вы ее пытали?

О’Брайен не стал отвечать.

— Следующий вопрос, — сказал он.

— Старший Брат существует?

— Конечно. Партия существует. Старший Брат — воплощение Партии.

— Он существует так же, как существую я?

— Тебя не существует, — сказал О’Брайен.

Уинстона снова накрыло бессилием. Он знал или по крайней мере мог представить себе, как доказать, что его не существует. Но эти доказательства — чушь, всего лишь игра слов. Разве утверждение «Тебя не существует» не абсурдно с точки зрения логики? Но что толку возражать? Его мозг скукожился в черепной коробке при мысли о безумных, не предполагающих возражений аргументах, которыми уничтожил бы его О’Брайен.

— По-моему, я существую, — сказал он устало. — Я осознаю себя личностью. Я родился и умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю в пространстве определенный объем. Никакое твердое тело не может одновременно занимать этот объем. Вот в этом смысле Старший Брат существует?

— Это не имеет значения. Он существует.

— Старший Брат когда-нибудь умрет?

— Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос.

— Братство существует?

— Этого, Уинстон, ты никогда не узнаешь. Если мы тебя отпустим, значит, мы с тобой закончили, и проживи ты хоть девяносто лет, все равно не узнаешь ответа на этот вопрос. Он останется для тебя неразрешенной загадкой.

Уинстон лежал молча. Его грудь вздымалась и опускалась чуть быстрее. Он еще не задал вопроса, который пришел ему в голову первым. Непременнo нужно

его задать, но язык будто отказывается произнести его вслух. О'Брайен ждал, слегка усмехаясь. Даже в блеске его очков чудилась ирония. Он знает, подумалось вдруг Уинстону, он знает, что я собираюсь спросить! И тут у него вырвалось:

— Что в комнате сто один?

О'Брайен не изменился в лице. Он сухо ответил:

— Ты знаешь, что в комнате сто один, Уинстон. Все знают, что в комнате сто один.

Он сделал знак человеку в белом халате. Видимо, разговор подошел к концу. В плечо Уинстона вонзилась игла. И почти сразу он погрузился в глубокий сон.

3.

— Твое возвращение в общество проходит в три этапа, — сказал О’Брайен. — Сперва обучение, затем понимание, затем принятие. Пора тебе переходить ко второму этапу.

Как обычно, Уинстон лежал на спине. Но в последнее время ему ослабили крепления. Они по-прежнему удерживали его на койке, но он мог немного сгибать колени, поворачивать голову из стороны в сторону и поднимать руки, насколько позволяли привязанные локти. Циферблат тоже стал не так страшен — если быстро соображать, можно уберечься от разрядов: О’Брайен двигает рычажок, только когда Уинстон глупит. Иногда целая беседа проходит без применения прибора. Сколько уже было бесед, Уинстон забыл. Процесс растянулся надолго — наверное, на недели — и кажется бесконечным. Между беседами иногда проходит несколько дней, иногда всего час-другой.

— Все время, что ты здесь лежишь, — сказал О’Брайен, — ты часто удивляешься, зачем Главлюбу тратить на тебя столько времени и сил. Ты меня даже об этом спрашивал. И на свободе тебя занимал практически тот же самый вопрос. Ты понимал механизмы общества, в котором жил, но не цели, во имя которых они работают. Помнишь, ты записал в дневнике: «Я понимаю как, но не понимаю зачем?» Именно задавая вопрос «зачем», ты сомневался, что находишься в здравом уме. Ты прочел ту самую книгу, книгу Гольдштейна, или по крайней мере часть ее. Что-нибудь новое из нее узнал?

— Вы читали ее? — спросил Уинстон.

— Я ее писал. Точнее сказать, я участвовал в ее написании. Как ты знаешь, все книги пишутся коллективно.

— То, что там написано, правда?

— Как описание — да. А план, который там излагается, чушь. Тайное накопление знаний, постепенное

просвещение и как итог — пролетарское восстание и свержение Партии. Ты и сам догадывался, что дальше речь об этом. Все это чепуха. Пролетарии никогда не восстанут, ни через тысячу лет, ни через миллион. Они этого не могут. Мне даже незачем тебе рассказывать почему: сам уже знаешь. Если ты лелеял мечту о вооруженном восстании, оставь ее. Партию невозможно свергнуть. Господство Партии вечно. Пусть это станет отправной точкой для твоих рассуждений.

Он подошел ближе к койке.

— Вечно! — повторил он. — А теперь вернемся к вопросам «как» и «зачем». Ты неплохо разобрался, как Партия удерживается у власти. Теперь скажи мне, *зачем* мы держимся за власть. Что нами движет? Для чего нам власть? Ну, скажи мне, — почти приказал он, потому что Уинстон медлил с ответом.

И все же Уинстон еще несколько секунд ничего не говорил. Он вдруг почувствовал непреодолимую усталость. Неяркий, но безумный огонек исступления вновь возник в глазах О'Брайена. Уинстон знал наперед, что именно тот скажет. Что власть нужна Партии не для достижения собственных целей, а лишь для блага большинства. Что Партия нуждается во власти, потому что в массе своей люди — слабые, трусливые создания, неспособные выдержать испытание свободой или посмотреть в глаза правде, и потому надо, чтобы ими правили и систематически их обманывали те, кто сильнее. Что перед человечеством стоит выбор между свободой и счастьем и для большинства людей счастье лучше. Что Партия — вечный заступник слабых, бескорыстный орден, творящий зло ради грядущего блага, жертвующий собственным счастьем ради чужого. И вот что страшно, думал Уинстон, страшно, что, говоря это, О'Брайен будет сам себе верить. У него это на лице написано.

О'Брайен знает все. Знает в тысячу раз лучше Уинстона, как на самом деле устроен мир, к какому дикому состоянию скатилось великое множество людей и какой ложью, каким варварством Партия удерживает их в этом состоянии. Он все понял, все взвесил — и не поколебался: ведь цель оправдывает любые средства. Что я могу, думал Уинстон, против безумца, который умнее меня, который честно рассматривает мои доводы и все равно упорствует в своем безумии?

— Вы правите нами ради нашего же блага, — сказал он слабым голосом. — Вы считаете, что люди неспособны управлять собой, и поэтому...

Он дернулся и чуть не вскрикнул. Его тело скрутила болезненная судорога. О'Брайен тронул рычажок, стрелка подползла к тридцати пяти.

— Глупо, Уинстон, глупо! — сказал он. — Думать надо, прежде чем такое говорить.

Он передвинул рычажок назад и продолжал:

— Отвечу на свой вопрос сам. Ответ такой. Партия ищет власти ради самой власти. Нас не интересует общее благо; нас интересует исключительно власть. Не богатство, не роскошь, не долголетие, не счастье — только власть, чистая власть. Что такое чистая власть, ты скоро поймешь. Наше отличие от всех олигархий прошлого — мы знаем, что делаем. Все прочие, даже похожие на нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты приближались к нам по методам, но не осмеливались признаться, что ими движет. Они притворялись, а может быть, даже верили, что захватили власть, вовсе не желая этого и лишь на время, и уже не за горами рай, в котором люди станут свободными и равными. Мы не такие. Мы знаем, что никто и никогда не берет власть с тем, чтобы потом ее уступить. Власть не средство, а цель. Не диктатуру устанавливают, чтобы

защитить революцию, а революцию совершают, чтобы установить диктатуру. Смысл репрессий — в репрессиях. Смысл пыток — в пытках. Смысл власти — во власти. Теперь лучше понимаешь, о чем я?

Уинстона не переставала поражать печать утомления на лице О'Брайена. Оно оставалось сильным, мясистым, brutальным, полным ума и сдерживаемой страсти, перед которой Уинстон пасовал, — но выглядело усталым. Под глазами мешки, кожа на скулах обвисла. О'Брайен наклонился над Уинстоном, нарочно приближая к нему это изнуренное лицо.

— Ты думаешь, — сказал он, — что лицо у меня старческое и усталое. Ты думаешь, что я говорю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад моего собственного тела. Разве ты не понимаешь, Уинстон, что личность — всего лишь клетка? Когда клетка устает, она подпитывает энергией весь организм. И разве умираешь, обрезав ногти?

Он отвернулся от койки и снова заходил по комнате, сунув одну руку в карман.

— Мы жрецы власти, — сказал он. — Бог — это власть. Но сейчас для тебя «власть» — всего лишь слово. Пора дать тебе представление о том, что оно значит. Первое, что ты должен понять, — власть всегда коллективная. Личность обладает властью лишь настолько, насколько перестает быть личностью. Ты же знаешь партийный лозунг: «Свобода есть рабство». Тебе никогда не приходило в голову, что его можно и перевернуть? Рабство есть свобода. Человек, когда он один, то есть свободен, всегда терпит поражение. Иначе быть не может, потому что каждый человек обречен умереть, а это главное из всех поражений. Но если он способен целиком и полностью подчинить себя, отказаться от своей индивидуальности, если он способен слиться с Партией так, что он сам станет

Партией, — вот тогда он всемогущ и бессмертен. Второе, что ты должен понять, — власть есть власть над людьми. Над их телом, но в первую очередь над их разумом. Власть над материей — над объективной реальностью, говоря твоими словами, — не важна. Мы и так полностью контролируем материальный мир.

На мгновение Уинстон перестал думать о циферблате. Он собрал все силы, чтобы сестра, но его лишь скрутило от боли.

— Да как же вы можете контролировать материальный мир? — выкрикнул он. — Вы даже не контролируете климат или земное притяжение. А как же болезни, боль, смерть...

О'Брайен жестом остановил его.

— Мы контролируем материальный мир, потому что контролируем сознание. Реальность — внутри черепной коробки. Постепенно, Уинстон, ты все поймешь. Для нас нет ничего невозможного: невидимость, левитация — что угодно. Захочу — воспарю над этим полом, как мыльный пузырь. Но я не хочу, потому что Партия этого не хочет. Тебе надо избавиться от этих представлений из XIX века насчет законов природы. Законы природы создаем мы.

— Ничего подобного! Вы даже не хозяева всей планеты. А как же Евразия и Остзия? Вы их еще не завоевали.

— Неважно. Завоеем в свое время. А если и нет, какая разница? Мы можем вычеркнуть их из жизни. Океания сама себе весь мир.

— Но ведь наш мир — лишь пылинка. А человек — беспомощная козявка! Сколько он существует? Миллионы лет Земля была необитаемой.

— Ерунда. Земля существует с тех пор, как существуем мы. Как она может быть старше нас? Вне человеческого сознания ничего не существует.

— Но ведь находят окаменелости, кости древних животных, мамонтов, мастодонтов, гигантских рептилий, которые жили, когда людей и в помине не было!

— А ты когда-нибудь видел эти кости, Уинстон? Не видел, разумеется. Их придумали биологи XIX века. До человека не было ничего. И после человека, если наш род прервется, ничего не будет. Снаружи — пустота.

— Но ведь снаружи вся Вселенная. Посмотрите на звезды! Некоторые из них — в миллиардах световых лет отсюда. Нам до них никогда не дотянутся.

— А что звезды? — равнодушно ответил О'Брайен. — Огоньки в нескольких километрах от нас. Захотим — дотянемся. А захотим — и выключим. Земля — центр Вселенной. Солнце и звезды вращаются вокруг нее.

Уинстон снова дернулся, но на этот раз ничего не сказал. А О'Брайен продолжал, как бы отвечая на прозвучавшее возражение.

— Конечно, в определенных ситуациях это не так. Когда мы ориентируемся в океане или предсказываем затмение, нам представляется более удобным исходить из того, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды находятся в миллионах километров отсюда. Ну и что с того? Думаешь, мы не в состоянии создать двойную астрономию? Пусть звезды будут далеко или близко — по мере надобности. Думаешь, нашим математикам это не под силу? Забыл о двоедуме?

Уинстон вжался в койку. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сминает его, как удар кувалдой. И все же он знает, точно знает, что прав. Ничего якобы не существует вне нашего сознания — но ведь как-то можно продемонстрировать, что это неправда? Разве не доказано давным-давно, что это представление ошибочно? Для него даже слово есть, только Уинстон его забыл.

О'Брайен смотрел на Уинстона сверху вниз, и в уголках его рта играла легкая улыбка.

— Говорил я тебе, Уинстон, что в метафизике ты не силен. Слово, которое ты забыл, — солипсизм. Но ты ошибаешься. Это не солипсизм. Или, если хочешь, коллективный солипсизм. Но суть другая — вообще говоря, даже противоположная. Но мы отвлеклись, — продолжил он уже иным тоном. — Настоящая власть, та, за которую нам приходится бороться день и ночь, — не над материальным миром, а над людьми. — Он сделал паузу и снова стал похож на учителя, задающего вопросы любимому ученику. — Уинстон, как один человек может утвердить свою власть над другим?

— Заставив его страдать, — сказал Уинстон, подумав.

— Верно. Заставив его страдать. Послушания недостаточно. Если он не страдает, как ты можешь быть уверен, что он подчиняется твоей воле, а не следует собственной? Власть состоит в способности унижать и причинять боль. Власть — в том, чтобы крушить человеческое сознание, а потом собирать его заново в том виде, какой тебя устраивает. Понимаешь теперь, какой мир мы создаем? Полную противоположность глупым гедонистическим утопиям, которые воображали себе прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир, где ты либо топчешь, либо будешь растоптан, мир, беспощадность которого растет, а не снижается по мере его движения к совершенству. Прогресс в нашем мире — это нарастание боли. Прежние цивилизации утверждали, что основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире нет эмоций, кроме страха, гнева, торжества и самоуничужения. Все остальное — да, все — мы уничтожим. Мы уже ломаем привычное мышление, пережившее даже Революцию. Мы разрушили связи между детьми и родителями, между друзьями,

между мужчинами и женщинами. Никто больше не осмеливается доверять жене, ребенку или другу. А в будущем не останется ни жен, ни друзей. Детей станут отбирать у матерей при рождении, как яйца у кур. Половой инстинкт будет искоренен. Акт воспроизводства станет ежегодной формальностью вроде получения новых карточек на еду и одежду. Оргазм мы отменим. Наши нейрофизиологи сейчас над этим работают. Не будет никакой верности, кроме верности Партии. Никакой любви, кроме любви к Старшему Брату. Никакого смеха, кроме выражающего торжество над побежденным врагом. Не будет ни искусства, ни литературы, ни науки. Когда мы станем всемогущими, наука нам больше не понадобится. Исчезнет разница между красотой и уродством. Не станет ни любопытства, ни наслаждения жизнью. Все разнообразные удовольствия будут уничтожены. Но навсегда — не забывай об этом, Уинстон — навсегда останется опьянение властью, все более сильное, все более изысканное. Всегда, в любой момент, можно будет испытать окрыляющий победный восторг от того, что давишь беспомощного врага. Если тебе нужен образ будущего — представь сапог, бесконечно топчущий чье-то лицо.

Он сделал паузу, будто ожидая, что Уинстон заговорит. Но Уинстон снова пытался вжаться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце в его груди будто обратилось в лед. О'Брайен продолжал:

— И запомни: это навечно. Лицо никуда не денется из-под сапога. Еретики, враги общества будут всегда — чтобы снова и снова их побеждать и подвергать унижению. Все, что ты пережил с тех пор, как арестован, будет продолжаться и совершенствоваться. Слежка, доносы, аресты, пытки, казни, исчезновения никогда не прекратятся. Это будет мир террора, а не только триумфа. Чем больше власть Партии, тем меньше в ней терпимости;

чем слабее оппозиция, тем жестче тирания. Гольдштейн и его заблуждения будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут побеждать, дискредитировать, высмеивать, оплевывать — но они никогда не умрут. Драма, которую я разыгрывал с тобой семь лет, будет повторяться раз за разом, из поколения в поколение, и всякий раз в более изощренной форме. Еретик всегда будет в нашей власти — орущий от боли, сломанный, жалкий, а под конец всегда полный раскаяния, спасенный от себя самого, добровольно пресмыкающийся у наших ног. Вот какой мир мы готовим, Уинстон. Мир, где мы идем от победы к победе, от триумфа к триумфу, снова, и снова, и снова удовлетворяя бесконечную жажду власти. Вижу, ты постепенно начинаешь понимать, что это будет за мир. Но в итоге ты не только поймешь — ты его примешь, обрадуешься ему, станешь его частью.

Уинстон нашел в себе силы открыть рот.

— Не выйдет! — проговорил он слабым голосом.

— Что ты хочешь этим сказать, Уинстон?

— У вас не выйдет создать такой мир, какой вы описали. Это не более чем ваша мечта. Это невозможно.

— Почему?

— На страхе, ненависти и жестокости цивилизацию не построить. Она не устоит.

— Да почему же?

— Она будет лишена жизненной силы. Она развалится. Она самоуничтожится.

— Чепуха. Тебе кажется, что ненависть утомительнее любви. С чего бы? А если бы и так, какая разница? Допустим, организм будет стареть быстрее. Темп человеческой жизни ускорится, пока малярия не начнет приходить в тридцать лет. Ну и что? Неужели ты не понимаешь, что смерть отдельной личности — это не смерть? Партия бессмертна.

Как обычно, голос О'Брайена подавлял волю Уинстона. К тому же он до смерти боялся, что, если продолжать спорить, О'Брайен снова возьмется за рычажок. И все же он не мог молчать. Чувствуя бессилие и неспособность предъявить какие бы то ни было доводы, он снова бросился в атаку, движимый лишь невыразимым ужасом перед услышанным.

— Не знаю... но мне плевать. Все равно у вас не выйдет. Что-нибудь вам помешает. Хотя бы сама жизнь.

— Уинстон, мы управляем жизнью на всех уровнях. Ты воображаешь, что существует некая человеческая природа, которая возмутится нашими планами и взбунтуется против нас. Но человеческую природу создаем мы. Человек ко всему приспособливается. Или ты вернулся к своей старой идее, что пролетарии или рабы поднимутся и свергнут нас? Выкинь из головы. Они беспомощны, как животные. Человечество — это Партия. Те, кто вне ее, — вне человечества; они не имеют значения.

— Плевать. В конце концов они вас побьют. Рано или поздно разберутся, кто вы такие, и разорвут вас в клочья.

— Разве ты видишь какие-то признаки, что к этому идет? Какие-то причины для такого развития событий?

— Нет. Я в это верю. Я просто знаю — у вас не выйдет. Есть на свете что-то — не знаю, какой-то дух, какая-то сила — то, что вам не победить.

— Ты веришь в бога, Уинстон?

— Нет.

— Тогда что за сила нас победит?

— Не знаю. Сила человеческого духа.

— А себя ты считаешь человеком?

— Да.

— Если ты человек, Уинстон, ты последний человек. Такие, как ты, вымерли; мы пришли на ваше место.



无产阶级

Разрушим старый мир, построим новый мир! Да здравствует диктатура пролетариата!



专政万岁

Ты понимаешь, что ты один? Ты вне истории, тебя не существует.

Тон О'Брайена изменился, он заговорил более резко:

— Ты чувствуешь моральное превосходство над нами, такими лживыми, такими жестокими?

— Да, чувствую.

О'Брайен замолчал. Послышались еще два голоса. Через несколько секунд Уинстон узнал в одном из них свой собственный. Это включилась запись его разговора с О'Брайеном в тот вечер, когда он вступил в Братство. Он услышал, как клянется лгать, красть, подделывать документы, убивать, распространять наркотики, способствовать проституции, заражать венерическими болезнями, плескать детям в лицо серную кислоту. О'Брайен нетерпеливо махнул рукой, словно говоря, что дальнейшая демонстрация бессмысленна. Он повернул выключатель, и голоса прекратились.

— Встань с койки, — сказал О'Брайен.

Крепления ослабли. Уинстон опустил ноги на пол и встал, покачиваясь.

— Последний человек, — сказал О'Брайен. — Хранитель человеческого духа. Сейчас увидишь себя таким, какой ты есть. Раздевайся.

Уинстон развязал бечевку, стягивавшую комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не помнил, снимал ли хоть раз с момента ареста всю одежду. Под комбинезоном обнаружились грязные желтоватые лохмотья — остатки белья. Сбросив их на пол, он заметил в глубине комнаты трехстворчатое зеркало, шагнул к нему — и застыл как вкопанный. У него вырвался крик.

— Ну же, — сказал О'Брайен. — Встань между створками. Насладись и видом сбоку.

Остановил Уинстона ужас. Навстречу ему шло согбенное существо, серое, костлявое, страшное само

по себе, а не только потому, что Уинстон узнал в нем себя. Он подошел ближе к зеркалу. Из-за сгорбленной спины особенно выдавалось вперед лицо — унылое лицо арестанта с шишковатым лбом, переходящим в лысину, кривым носом и перекошенными от побоев скулами. Глаза глядели дико и затравленно. Щеки иссечены морщинами, рот ввалился. Это, конечно, его лицо, но Уинстону показалось, что оно изменилось сильнее, чем он изменился внутренне. Оно выражает не те чувства, которые он испытывает.

Теперь у него появилась лысина. Сперва ему показалось, что еще и седина, но лишь из-за посеревшей кожи. В ее поры повсюду, кроме рук и лица, въелась застарелая грязь. Под грязью всюду виднелись красные шрамы, а над лодыжкой облезлая кожа окружала воспаленную мякоть трофической язвы. Но страшнее всего — эта худоба. Грудная клетка сделалась узкой, как у скелета. Ноги так отощали, что стали толще в коленках, чем в бедрах.

Теперь он понимал, что О'Брайен хотел сказать про вид сбоку. Позвоночник выгнулся в удивительную дугу. Тощие плечи вылезли вперед, а грудь превратилась во впадину, костлявая шея, казалось, вот-вот сложится пополам под тяжестью черепа. Тело человека лет шестидесяти, страдающего от какой-то жуткой болезни.

— Вот ты иногда думал, — сказал О'Брайен, — что мое лицо, лицо члена Внутренней партии, выглядит старым и измученным. А про свое собственное что скажешь?

Он схватил Уинстона за плечо и развернул к себе.

— Посмотри, в каком ты состоянии, — сказал он. — Взгляни, какой ты весь чумазый. Погляди на грязь между пальцами на ногах, на эту мокнущую язву на лодыжке. Ты в курсе, что от тебя воняет, как от козла? Уже наверняка притерпелся. Посмотри, как ты исхудал. Гляди-ка, я могу обхватить пальцами твой бицепс! И могу сломать

тебе шею, как морковку. Ты знаешь, что потерял у нас двадцать пять кило? А волосы — сами лезут, даже дергать не надо. Смотри! — Он схватил Уинстона за волосы и предъявил вырванный клочок. — Открой-ка рот. Девять, десять — одиннадцать зубов осталось. А сколько было, когда ты к нам попал? Да и эти еле держатся. Вот!

Он ухватился сильными пальцами за один из оставшихся передних зубов. Десна отозвалась пронзительной болью. О'Брайен выдернул расшатавшийся зуб с корнем и швырнул через всю камеру.

— Гниешь заживо, — сказал он. — Разваливаешься. Что ты такое? Мешок с дерьмом. Повернись, посмотри еще раз в зеркало. Видишь это существо? Перед тобой последний представитель человеческого рода. И если ты человек, то таково человечество. А теперь одевайся.

Уинстон медленно, с трудом натянул одежду. До сих пор он не замечал, насколько исхудал и ослабел. В голове вертелась только одна мысль: а я, оказывается, здесь дольше, чем думал. Подвязывая жалкие лохмотья, он вдруг ощутил жалость к своему истерзанному телу. Сам не понимая, что делает, Уинстон плюхнулся на табуретку возле койки и разрыдался. Он признавал свое уродство, нелепость своей жалкой фигуры — этакий мешок с костями сидит тут, в резком свете лампы, в заскорузлых трусах да льет слезы, — но ничего не мог с собой поделать. О'Брайен почти с состраданием положил ему руку на плечо.

— Так будет не всегда, — сказал он. — Ты можешь спастись в любой момент. Все зависит только от тебя.

— Это вы сделали! — всхлипывал Уинстон. — Вы меня до этого довели.

— Нет, Уинстон, ты сам себя довел. Ты на это подписался, когда выступил против Партии. Тот первый шаг вместил в себя все последующие. И ты предвидел все, что с тобой будет.

Помолчав, он продолжал:

— Мы тебя одолели, Уинстон. Сломали тебя. Ты видел, во что превратилось твое тело. И разум твой в таком же состоянии. Не думаю, что у тебя еще осталась гордость. Тебя били ногами, пороли, оскорбляли, ты вопил от боли, катался по полу в собственной крови и блевотине. Ты скулил, умоляя о пощаде, предал всех и вся. Подумай, хоть в чем-то ты сохранил достоинство?

Уинстон перестал рыдать, хотя из глаз у него все еще текли слезы. Он поднял глаза на О'Брайена.

— Я не предал Джулию, — сказал он.

О'Брайен задумчиво взглянул на него.

— И правда, — сказал он. — Это верно. Ты не предал Джулию.

Странное благоговение перед О'Брайеном, сохранившееся несмотря ни на что, снова наполнило сердце Уинстона. До чего умен, подумал он, до чего же умен! Не бывало еще, чтобы О'Брайен его не понял. Любой другой тут же возразил бы, что он, конечно же, предал Джулию. Чего только не вытянули из него под пытками. Он рассказал им все, что знал о ней, о ее привычках, характере, прежней жизни. Поведал в мельчайших подробностях обо всем, что происходило во время их встреч, воспроизвел все сказанное ею и им самим, описал и еду с черного рынка, и запретную близость, и невнятные антипартийные планы — словом, все без исключения. И тем не менее Уинстон сказал правду: в каком-то смысле он не предал ее. Не перестал любить ее, сохранил к ней прежние чувства. О'Брайен понял его без лишних объяснений.

— Скажите, — спросил Уинстон, — когда меня расстреляют?

— Может, и не скоро, — сказал О'Брайен. — Твой случай сложный. Но не теряй надежды. Все рано или поздно излечиваются. А там уж и расстреляем.

4.

Ему стало намного лучше. День ото дня — если имело смысл говорить о днях — он набирал вес, становился сильнее.

Яркий свет и гудение никуда не делись, но камеру ему выделили поудобнее прежних. На нарах — подушка и матрас, рядом табуретка. Уинстона вымыли в ванне и позволяли довольно часто мыться самому в жестяной шайке, в которую даже наливали теплую воду. Выдали новое нижнее белье и чистый комбинезон. Трофическую язву перевязали, смазав противовоспалительной мазью. Оставшиеся зубы вырвали и заменили вставными челюстями.

Прошло несколько недель — или месяцев. Уинстон мог бы теперь вести счет времени, будь у него к этому какой-то интерес, потому что кормили его, похоже, по часам. По его прикидкам, есть давали три раза в сутки; иногда он вяло гадал, днем его кормят или ночью. Еда была на удивление приличная: каждый третий раз — мясо. Однажды принесли даже пачку сигарет. Спичек не выдали, но бессловесный охранник, приходивший с едой, давал Уинстону прикурить. После первых затяжек Уинстона стошнило, но он не отступился и растянул пачку надолго, выкуривая по полсигареты каждый раз после еды.

Ему выдали белую доску для письма с привязанным огрызком карандаша. Поначалу Уинстон ею не пользовался. Он все время лежал без сил, даже когда не спал. Между приемами пищи он часто почти не шевелился, проваливаясь то в сон, то в мутную дремоту. Открывать глаза казалось лишней тратой сил.

Спать при ярком свете он давно привык. Свет, похоже, ничего не меняет, только сны становятся более четкими.

Уинстону все время что-то снилось, и всегда приятное, про Золотое поле или какие-то огромные, залитые солнцем руины, в которых он сидел с матерью, с Джулией, с О'Брайеном — ничего не делал, просто сидел и вел мирные беседы. Проснувшись, он в основном думал об этих снах. Теперь, когда его больше не подхлестывала боль, он, казалось, утратил способность к умственным усилиям. Он не скучал, просто не испытывал потребности в разговорах или внешних раздражителях и был совершенно доволен уже тем, что он один, его не бьют, не допрашивают, дают достаточно еды и позволяют держать себя в чистоте.

Постепенно он стал меньше спать, но вставать с нар все равно не хотелось, только тихо лежать и чувствовать, как тело накапливает силы. Иногда он ощупывал себя, чтобы увериться, что это не иллюзия: кожа и в самом деле разглаживается, появляются какие-то округлости. Наконец сомнения исчезли — он действительно полнел; бедра явно стали толще колен.

Убедившись в этом, он начал, хоть сперва и неохотно, давать себе регулярную физическую нагрузку. Скоро он уже мог прошагать по камере три километра. Сгорбленные плечи начали выпрямляться. Он попробовал перейти к более сложным упражнениям и, к своему удивлению и стыду, понял, сколько всего не может: перейти на бег, удержать на вытянутой руке табуретку, устоять на одной ноге, не падая. Он присел и понял, что мучительная боль в бедрах и икрах едва позволяет ему выпрямиться. Лег на живот, попытался отжаться от пола — бесполезно, не приподняться и на сантиметр. Но еще несколько дней регулярного питания — и все удалось. Шло время, ему уже удавалось отжиматься по шесть раз подряд. Уинстон начал даже гордиться своим телом. Его иногда посещала надежда, что и лицо воз-

вращается к норме. Лишь случайно прикасаясь к лысине, он вспоминал морщинистую измученную физиономию, глядевшую на него из зеркала.

Возрождался к жизни и мозг. Сидя на нарах спиной к стене и положив доску на колени, Уинстон всерьез занялся собственным переобучением.

Он капитулировал, это ясно. Как Уинстон теперь понимал, он давно, еще задолго до того, как принял это решение, начал готовиться к капитуляции. С первых минут в Главлюбе — да что там, еще когда они с Джулией стояли беспомощные, а металлический голос из телевида отдавал им приказы — он сознавал, насколько пуста и бездумна его попытка противопоставить себя господству Партии.

Теперь он знал, что Думнадзор семь лет наблюдал за ним, как за жучком под увеличительным стеклом. Ни один его поступок, ни одно слово не остались незамеченными, весь ход его мыслей оказался полностью разгадан. Они даже аккуратно возвращали ту белесоватую пылинку на обложку дневника. Ему дали послушать записи, показали снимки, в том числе их с Джулией — да, даже эти...

Он больше не мог сражаться с Партией. К тому же Партия права — как может быть иначе, как может ошибаться бессмертный коллективный мозг? С каким внешним стандартом сверять его суждения? Здравомыслие — вопрос статистики. Надо лишь научиться думать как они. Вот только...

Неуклюже сжимая карандаш, казавшийся слишком толстым, он начал записывать приходившие в голову мысли. Первым делом вывел крупными, неровными прописными буквами:

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

Потом, почти без паузы, нацарапал ниже:

ДВАНЦДЫ ДВА — ПЯТЬ

Но тут он словно уперся в стену и больше не мог сосредоточиться, будто робел о чем-то думать. Он знал, что дальнейшее ему уже известно, просто ненадолго вылетело из головы. А вспомнилось, лишь когда он прошел всю логическую цепочку, иначе не получалось. Он записал:

БОГ ЕСТЬ ВЛАСТЬ

Он принял все. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не менялось. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в том, в чем их обвинили. Он никогда не видел фотографии, опровергающей их виновность. Ее никогда не существовало, он ее выдумал. Он помнил, как раньше ему представлялось иное, но это все — наведенное, самообман. Вот как все просто! Стоит один раз сдать — и все идет как по маслу. Плынешь, плывешь против течения, которое сносит тебя назад, как ни старайся, — а потом вдруг решаешь развернуться и плыть по течению вместо того, чтобы с ним бороться. Меняется только одно — твое отношение. Чему быть, того не миновать. Уинстон уже и не понимал, зачем когда-то взбунтовался. Все так просто, кроме...

Возможно абсолютно все. Так называемые законы природы — чепуха. Закон всемирного тяготения — чушь. «Захочу — воспарю над этим полом, как мыльный пузырь», — сказал О'Брайен. Уинстон разобрался, что он имел в виду: «Если он думает, что парит над полом, а я одновременно думаю, что вижу, как он парит, значит, это происходит».

Как обломок затонувшего корабля, всплывая, разрывает водную гладь, в его сознание вдруг ворвалась мысль: «На самом деле ничего этого нет. Мы все только воображаем. Это галлюцинация». Уинстон тут же снова утопил эту очевидную ересь. Согласно ей, где-то вне нас существует «реальный» мир, в котором творятся «реальные» события. Но как такой мир может существовать? Ведь все, что мы знаем, мы пропускаем через сознание. Значит, именно в нем все и происходит. А то, что происходит в сознании каждого, происходит на самом деле.

Уинстон отогнал ересь без труда, без всякого риска ей поддаться. Однако он понимал, что ее вовсе не следовало допускать в голову. В мозгу должно возникнуть слепое пятно, чтобы защищаться от опасных мыслей инстинктивно, автоматически. На новоречи это называется «кривостоп».

Он начал упражняться в кривостопе. Брал для примера утверждения: «Партия утверждает, что земля плоская» или «Партия утверждает, что лед тяжелее воды» — и учился не замечать или не понимать доводы, которые их опровергали. Получалось со скрипом. Требовалась способность и рассуждать логически, и импровизировать. А вот арифметические задачи, предлагавшие ему утверждения вроде «дважды два — пять», и вовсе оказались выше его умственных способностей. Для этого нужен, так сказать, накачанный ум, способность то изощренно применять логику, то, спустя мгновение, не замечать грубейших логических ошибок. Глупость так же необходима, как способность к разумным рассуждениям, и научиться ей так же трудно.

Параллельно Уинстон не переставая гадал, когда же его расстреляют. «Все зависит только от тебя», — сказал О'Брайен; но Уинстон знал, что нет такого сознательного

поступка, который мог бы приблизить его смерть. Может быть, она придет через десять минут, может быть, через десять лет. Возможно, его продержат долгие годы в одиночке, или отправят в лагерь, или отпустят на какое-то время — бывает и так. Не исключено, что перед расстрелом вновь разыграется вся драма с арестом и допросом. В одном можно быть уверенным: смерть не приходит, когда ее ждешь. По традиции, никогда не обсуждаемой, но каким-то образом всем известной, расстреливают всегда сзади, в затылок, без предупреждения, по пути из камеры в камеру.

В один прекрасный день — но почему, собственно, день, ведь вполне могла быть и глубокая ночь — Уинстон вдруг погрузился в странные, блаженные грезы. Вот он идет по коридору в ожидании пули. Знает, что она вот-вот его настигнет. Все улажено, утрясено, согласовано. Нет больше ни сомнений, ни споров, ни боли, ни страха. Он здоров и силен, идет легкой походкой и радуется движению, словно это прогулка в солнечный день. Он больше не в тесных лабиринтах Главлюба: здесь между стенами целый километр, по этому коридору он уже ходил в наркотическом бреду. Нет, он в Золотом поле, на тропинке через объединенное кроликами пастбище. Под ногами пружинистая земля, на лице нежное солнечное тепло. На краю поля едва колышутся ветви вязов, а где-то за вязами речушка, и в зеленых заводях под ивами плещутся плотвички.

Уинстон очнулся от ужаса. На спине у него выступил пот. Он услышал, как кричит во весь голос:

— Джулия! Джулия! Джулия, любимая! Джулия!

На мгновение он оказался во власти сильнейшей галлюцинации — ощутил ее присутствие не просто рядом, а где-то внутри себя. Она будто впиталась в поры его кожи. В это мгновение он любил ее сильнее, чем в дни

их близости и свободы. А еще он понял, что Джулия — кто знает где — жива и нуждается в его помощи.

Уинстон лег на спину и попытался собраться. Что он наделал? Сколько лет рабства он добавил себе этой секундой слабости? Через минуту он услышит снаружи топот сапог. Такую выходку они безнаказанной не оставят. Поймут, если не понимали раньше, что он нарушает заключенное с ними соглашение.

Он подчинился Партии, но все еще ненавидит Партию. В прежние времена Уинстон скрывал еретические мысли под личиной конформиста. Теперь отступил еще на шаг: сдался разумом, но вознамерился сохранить непогуганным сердце. Он знает, что неправ, но предпочитает неправоту. Они догадаются; О'Брайена не проведешь. Этот дурацкий вопль — чистосердечное признание.

Придется начинать все сначала. На это могут уйти годы. Уинстон провел рукой по лицу, пытаясь привыкнуть к его изменившейся форме. Глубокие морщины избородили щеки, скулы заострились, нос какой-то приплюснутый. К тому же с тех пор, как он в последний раз видел себя в зеркале, ему полностью заменили зубы. Трудно сделать непроницаемое лицо, когда не знаешь, как выглядишь. В любом случае недостаточно просто управлять лицевыми мышцами. Он впервые осознал, что сохранить тайну можно только в одном случае — если скрываешь ее и от себя. Надо все время помнить о ее существовании, но, пока она не нужна, нельзя позволять ей просачиваться в сознание в какой бы то ни было словесной форме. С этого момента он должен не только правильно думать, но и правильно чувствовать, видеть правильные сны. А ненависть держать взаперти, жить с ней, как с комком лишней плоти вроде кисты: с одной стороны, она — часть его, с другой — не имеет к нему отношения.

Когда-нибудь они примут решение его расстрелять. Когда — неизвестно, но за несколько секунд до выстрела можно будет догадаться. Стреляют всегда сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд хватит, чтобы мир внутри него перевернулся. И внезапно, без единого слова, без единого неверного шага, без малейшей перемены в лице он сбросит маску — и его ненависть ударит из всех орудий. Ненависть наполнит его, как бушующее пламя. И почти в тот же момент раздастся выстрел — слишком рано или слишком поздно. Его мозг разнесут в клочья, прежде чем сумеют подчинить. Ересь останется безнаказанной, неискупленной, навеки неподконтрольной. Так они прострелят дыру в собственном совершенстве. Умереть, ненавидя их, — вот это и есть свобода.

Уинстон закрыл глаза. То, что он задумал, сложнее, чем подчиниться некоей интеллектуальной дисциплине. Нужно надругаться над собственным достоинством, совершить своего рода членовредительство. Нужно нырнуть в грязь, в самую клоаку. Что в этом ужаснее, отвратительнее всего? Вспомнился Старший Брат. Огромное лицо (все время видя его на плакатах, Уинстон представлял его себе исключительно в метр шириной) с густыми черными усами и неотрывным взглядом темных глаз будто само собой всплыло в его сознании. Какие на самом деле чувства испытывает он к Старшему Брату?

В коридоре послышались тяжелые шаги. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайен, за ним — офицер с восковым лицом и охранники в черной форме.

— Встань, — сказал О'Брайен. — Подойди.

Уинстон встал напротив него. О'Брайен сжал его плечи сильными руками и пристально посмотрел ему в глаза.

— Вздумал обманывать меня, — сказал он. — Это глупо. Прямо стоять. В глаза смотреть.

После паузы продолжал уже мягче:

— Тебе уже лучше. С интеллектуальной точки зрения с тобой почти все в порядке. Только эмоционально ты не прогрессируешь. Скажи мне, Уинстон, — и не вздумай лгать: ты знаешь, я всегда чую неправду. Скажи мне, какие чувства ты испытываешь к Старшему Брату?

— Я ненавижу его.

— Ненавидишь его. Ладно. Значит, пришло время для последнего шага. Ты должен полюбить Старшего Брата. Мало ему повиноваться: его надо любить.

Он отпустил Уинстона и легонько подтолкнул его к охранникам.

— В сто первую, — сказал он.

5.

На всех этапах своей тюремной жизни Уинстон знал, или думал, что знает, где примерно находится в этом лишенном окон здании. Может, догадывался по едва ощутимой разнице в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали охранники, располагались под землей. Комната, где его допрашивал О'Брайен, — высоко, под самой крышей. А эта комната — в самом глубоком под-земелье, глубже некуда.

Она просторнее, чем большинство камер, где ему довелось побывать. Но Уинстон почти не замечал ничего вокруг. Увидел лишь, что прямо перед ним два столика, покрытых зеленым сукном: один всего в метре от него, второй подальше, возле двери. Его пристегнули к стулу так крепко, что он не мог шевельнуть ни одной частью тела, даже головой. Специальный подголовник крепко сжимал затылок, заставляя Уинстона смотреть строго перед собой.

На несколько секунд он остался один. Потом открылась дверь, и вошел О'Брайен.

— Ты как-то спросил меня, — начал он, — что в комнате сто один. А я тебе сказал, что ты уже знаешь ответ. Все его знают. Дело в том, что в комнате сто один — худшее, что есть на свете.

Дверь снова отворилась. Охранник внес нечто сделанное из тонких металлических прутьев — то ли ящик, то ли корзину — и поставил на дальний столик. О'Брайен стоял так, что Уинстон не мог рассмотреть эту штуку.

— А худшее, что есть на свете, — оно для каждого разное, — сказал О'Брайен. — Для кого-то — быть погребенным заживо или сесть на кол, погибнуть в огне, утонуть — любая из полусотни возможных смертей. Для кого-то — что-нибудь совсем тривиальное, даже не смертельное.

Он немного отошел в сторону, и Уинстону стало видно, что стоит на столе: продолговатая клетка-переноска с ручкой сверху. Спереди к ней приделано нечто вроде фехтовальной маски — вогнутой стороной наружу. Даже с трех или четырех метров Уинстон смог разглядеть, что клетка разделена на два продольных отделения и в каждом кто-то сидит.

Крысы.

— В твоем случае худшее, что есть на свете, — крысы, — заметил О'Брайен.

Дрожь предчувствия пробежала по спине Уинстона, как только он впервые увидел клетку, — страх непонятно перед чем. Но теперь он вдруг понял, зачем к клетке приделано подобие маски.

— Не делайте этого! — вскричал он срывающимся, надтреснутым голосом. — Как... как вы можете! Так нельзя!

— Помнишь панику, которая тебя иногда охватывала во сне? Перед тобой стена темноты, в ушах гул, а по ту сторону — что-то ужасное. Ты знаешь, что там, но не осмеливаешься вытащить это на свет. Так вот, по ту сторону были крысы.

— О'Брайен, — сказал Уинстон, силясь говорить нормальным голосом. — Вы же знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите?

О'Брайен не стал отвечать прямо. Он заговорил в своей напускной учительской манере, задумчиво глядя вдаль, словно обращался к аудитории где-то за спиной Уинстона.

— Боли как таковой, — сказал он, — иногда недостаточно. Случается, что человек выносит боль даже на пороге смерти. Но для каждого есть что-то нестерпимое, о чем он и помыслить не может. Это не вопрос смелости или трусости. Когда падаешь с высоты, нет трусости

в том, чтобы ухватиться за веревку. Когда всплываешь с большой глубины, нет трусости в том, чтобы наполнить легкие воздухом. Это лишь инстинкт, его не вытравишь. Так же и с крысами. Для тебя они невыносимы. Именно они — тот вид давления, с которым ты не сможешь справиться, даже если захочешь. Ты сделаешь то, что от тебя требуется.

— Но что требуется, что? Как я могу это сделать, если я даже не знаю, что нужно?

О'Брайен перенес клетку на ближний столик, аккуратно поставил ее на суконную скатерть. Уинстон почувствовал, как кровь застучала в висках. Ему показалось, что он сидит в полном одиночестве среди огромной безлюдной равнины — ровной, как стол, пустыни, залитой солнечным светом, где все звуки слышатся словно издалека. Но клетка с крысами стояла в двух метрах от него, а то и меньше. Какие огромные! Обе в том возрасте, когда заостренность крысиной морды сменяется яростным оскалом, а шкура из серой становится коричневой.

— Крыса, — продолжал О'Брайен, все еще обращаясь к невидимой аудитории, — хоть и грызун, но плотоядный. Это ты знаешь. Слышал, наверняка, о всяких происшествиях в бедных кварталах. На некоторых улицах женщины не осмеливаются оставлять младенца одного даже на пять минут. Крысы непременно нападут и моментально обгложут его до костей. Еще они нападают на больных и умирающих. Демонстрируют удивительную смекалку, распознавая беспомощных.

Из клетки раздался громкий писк. До Уинстона он доносился откуда-то издали. Крысы дрались, пытались достать друг друга через перегородку. Услышал Уинстон и громкий стон отчаяния. И тоже как бы со стороны.

О'Брайен приподнял клетку и нажал в ней на какой-то рычажок. Раздался резкий щелчок. Уинстон отчаянно

рванулся — но тщетно: и все его тело, и голова полностью обездвижены. О'Брайен поднес клетку поближе; вот она уже в метре от лица Уинстона.

— Я нажал на первый рычаг, — сказал О'Брайен. — Сам видишь, как устроена эта клетка: маска загораживает единственный выход. Ее мы наденем тебе на голову. Когда я нажму на второй рычажок, вот этот, дверца поднимется, и голодные зверюги пулей рванут из клетки. Видел когда-нибудь, как крысы прыгают? По воздуху летят! И вот они прыгнут тебе на лицо и начнут в него вгрызаться. Иногда они сперва принимают за глаза. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык.

Клетка приближалась; вот она уже совсем рядом. Уинстон слышал пронзительные вопли, разрывавшие воздух будто прямо у него над головой, но изо всех сил боролся с паникой. Думать, думать, даже когда остается доля секунды, — вся надежда на способность думать. Вдруг гнусная, затхлая вонь этих тварей ударила ему в нос, подняв мощную волну тошноты, и он чуть не потерял сознание. В глазах потемнело, и на мгновение Уинстон обездумел, превратился в ревущее животное. Из темноты он вырвался, ухватившись за спасительную мысль. Есть только один способ выжить. Нужно, чтобы кто-то, другой человек, встал между ним и крысами.

Отверстие маски приблизилось настолько, что Уинстон ничего больше не видел. Проволочная дверца всего сантиметрах в двадцати от его лица. Крысы уже догадались, что будет дальше. Одна подпрыгивала от нетерпения, вторая, закаленный ветеран сточных канав, встала на задние лапы, ухватила передними за прутья клетки и свирепо втягивала носом воздух. Уинстон разглядел ее усики и желтые зубы, и панический ужас снова погрузил его во тьму, слепого, беспомощного, обезумевшего.

— В императорском Китае это было распространенное наказание, — сказал О’Брайен прежним учительским тоном.

Маска приближалась. Прутья клетки коснулись щеки. И тут — нет, не облегчение, лишь надежда, слабый проблеск надежды. Слишком поздно, наверное, слишком поздно. Уинстон вдруг понял, что есть лишь один человек на свете, на которого он может переложить свое наказание, одно тело, которое можно подставить крысам вместо своего. И он закричал, повторяя без конца:

— Джулию, лучше Джулию! Только не меня! Джулию! Мне плевать, что вы с ней сделаете. Растерзайте ей лицо, обглодайте ее до костей. Не меня, ее! Джулию! Не меня!

Он падает навзничь — в бездонные глубины, прочь от крыс. Он все еще пристегнут к стулу, но так и провалился сквозь пол, сквозь фундамент здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в открытый космос, в межзвездное пространство — прочь, прочь от крыс. Вот уже световые годы отделяют его от земли, но О’Брайен все еще рядом, и холодные прутья клетки так же касаются щек.

В окружившей его темноте Уинстон услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверь клетки не открылась, а заперлась на замок.

б.

«Каштан» почти пустовал. Косой луч солнца из окна падал на плохо протертые столики. Пятнадцать часов, унылое время. Из телевизоров потихоньку дребезжала музыка.

Уинстон сидел в своем обычном углу, уставившись в пустой стакан. То и дело он вскидывал глаза на широкое лицо, взиравшее на него с противоположной стены. «Старший Брат видит тебя!» — гласила подпись. Подошедший официант, не спрашивая, наполнил стакан джином «Победа» и добавил несколько капель из другой бутылки, с дозатором. Сахарин с гвоздикой, специалитет заведения.

Уинстон прислушивался к телевиду. Сейчас из него доносилась только музыка, но в любой момент могли передать важное сообщение Главмира. С африканского фронта поступали крайне тревожные известия. Сегодня Уинстон время от времени вспоминал о них и беспокоился. Евразийская армия (Океания воюет с Евразией; Океания всегда воевала с Евразией) продвигалась на юг с пугающей скоростью. В дневных новостях не упомянули, где конкретно идут бои, но, вполне вероятно, дельта Конго уже превратилась в поле битвы. Бразавиль и Леопольдвиль в опасности. Что это значит, понятно и без карты: речь не только о потере Центральной Африки, впервые за всю войну возникла угроза для территории самой Океании.

Сильное чувство — не то чтобы страх, но некое неясное возбуждение — вспыхнуло в нем и снова угасло. Он перестал думать о войне. В последнее время он ни на чем не мог сосредоточиться дольше нескольких секунд. Уинстон залпом опорожнил стакан. Как всегда, от джина его передернуло, а в горле поднялась отрыжка. Какая гадость. Сахарин с гвоздикой и сам по себе отврати-

тельно приторный не мог замаскировать тошнотворную, маслянистую вонь. Но хуже всего другое: запах джина, сопровождающий его теперь днем и ночью, неразделимо смешался в его сознании с запахом тех...

Он никогда не называл их, даже мысленно, и, насколько возможно, не вспоминал, каковы они с виду. Они оставались чем-то не вполне осознанным в нескольких сантиметрах от его лица, запахом, который все никак не выветривался у него из ноздрей.

Джин встал в нем колом. Уинстон рыгнул. С тех пор, как его выпустили, он располнел, лицо его снова зарумянилось как прежде — даже сильнее. Рот стал лиловым, нос и скулы на опухшем лице вульгарно покраснелись, даже лысина сделалась густо-розовой. Официант, снова ничего не спрашивая, принес шахматы и свежий номер «Таймс», свернутый шахматной задачей наружу. Заметив, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку джина и налил. Заказывать нет нужды — его привычки и так известны. Шахматная доска всегда его ждет, столик в углу всегда за ним, и даже когда в кафе полно посетителей, Уинстон всегда один за столиком — никто не рискует садиться слишком близко. Он даже не считает, сколько пьет. Иногда ему приносят грязный клочок бумаги — будто бы счет, но есть впечатление, что с него всякий раз берут слишком мало. Да если бы и обсчитывали в другую сторону — без разницы. Денег у него теперь всегда вдоволь. У него даже есть работа, синекура с зарплатой выше, чем на прежнем месте.

Музыка из телевида прекратилась, ее сменил голос диктора. Уинстон поднял голову и прислушался. Нет, никаких сводок с фронта — просто короткое сообщение Главбога. В минувшем квартале плановый показатель Десятой трехлетки по шнуркам для ботинок якобы перевыполнили на девяносто восемь процентов.

Уинстон изучил шахматную задачу, расставил фигуры. Хитрый эндшпиль с парой слонов. «Белые начинают и дают мат в два хода». Уинстон поднял глаза на портрет Старшего Брата. Белые всегда дают мат, вот ведь мистика, пришла ему в голову мутная мысль. Всегда, без исключений, так уж устроено. Ни в одной шахматной задаче с тех пор, как существует мир, ни разу не выиграли черные. Уж не символ ли это вечного, неизменного торжества добра над злом? Огромное лицо ответило ему спокойным, властным взглядом. Белые всегда дают мат.

Голос из телевида сделал паузу и добавил уже иначе, более веско: «Ждите важного объявления. Оно последует в пятнадцать тридцать. В пятнадцать тридцать! Новости исключительной важности. Не пропустите! В пятнадцать тридцать!» Снова затренькала музыка.

В сердце Уинстона кольнуло. Вот и сводка с фронта; а ведь он нутром чуял, что новости будут плохие. Весь день мысль о сокрушительном поражении в Африке вызывала у него приступы тревожного возбуждения. Он так и видел, как евразийское войско, словно колонна боевых муравьев, оставляет позади ненарушимую доселе границу и растекается по южной оконечности Африки. Почему же не получилось зайти им во фланг? Контур западного берега Африки стоял у Уинстона перед глазами. Он двинул белого слона через всю доску. Вот где ему самое место! В тылу у рвущейся на юг черной орды ему представилась новая сила, внезапно, чудесным образом там возникшая, способная перерезать врагу морские и сухопутные коммуникации. Он чувствовал, что, мечтая об этой силе, претворяет ее в реальность. Но действовать нужно быстро. Если враг получит контроль над всей Африкой, захватит на мысе Доброй Надежды базы для авиации и подводных лодок, то разрежет Океанию надвое. Это может означать что угодно: поражение, крах,

передел мира, крушение Партии! Он сделал глубокий вдох; какая удивительная гамма чувств, даже не гамма, а слоеный пирог, и непонятно, какой слой самый нижний.

Видение исчезло. Уинстон вернул белого слона на место. Всерьез заняться шахматной задачей не получалось. Мысли снова разбежались. Почти бессознательно он начертил в пыли на столике:

$$2 \times 2 = 5$$

«Они же не могут забраться тебе в голову», — как-то заметила она. Оказалось, могут. «То, что происходит с тобой здесь, навсегда» — так говорил О’Брайен. Он прав. У поступков бывают такие последствия, от которых невозможно оправиться. Что-то в тебе убивают — выжигают, вычищают огнем.

Он видел ее, даже говорил с ней. Нет, никакого риска. Чутье подсказывало, что его поступками почти не интересуются. Он мог бы договориться с ней о новом свидании, если бы кто-то из них этого захотел. А в тот раз они встретились случайно, в парке, в промозглый мартовский день, когда на стальной земле среди вымерзшей травы высунулось на растерзание ветру несколько крокусов.

Уинстон спешил куда-то, руки мерзли, глаза слезились — и метрах в десяти увидел ее. Он сразу заметил, что она изменилась, но с ходу не понял, в чем именно. Они чуть было не разминулись, не обменявшись и жестом, но он все же повернул и с некоторой неохотой двинулся за ней. Знал, что опасности нет, никому он не нужен. Не говоря ни слова, она пошла наискосок по траве, словно хотела избавиться от Уинстона, но потом вроде как смирилась с тем, что он рядом. Вскоре они оказались в каких-то корявых голых кустах — негодном укрытии что от глаз, что от ветра. Остановились. Холод пробирал

до костей. Ветер свистел в ветвях, трепал редкие грязные крокусы. Уинстон обнял ее за талию.

В парке нет телевидов, но наверняка есть скрытые микрофоны. К тому же их могли увидеть прохожие. Но это не имело значения — да и ничто не имело значения. Они могли бы лечь на землю, если бы захотели, и прямо тут... От одной мысли об этом Уинстона охватил ледяной ужас. Она никак не ответила на его объятие, даже не попыталась высвободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Ее лицо приобрело нездоровую желтизну, а через весь лоб к виску протянулся длинный шрам, лишь частично прикрытый волосами. Но главная перемена состояла не в этом; она раздалась в талии и одновременно сделалась странно неподатливой. Он вспомнил, как однажды после взрыва ракеты помогал вытаскивать из развалин труп, и его поразила не только невероятная тяжесть, но и негибкость тела, из-за которой его оказалось неудобно тащить: оно больше напоминало камень, чем плоть. Таким показалось и ее тело. Он подумал, что и кожа у нее, наверное, на ощупь не такая, как раньше.

Он не попытался ее поцеловать. Оба молчали. Когда они шли назад по траве, она в первый раз взглянула ему в глаза — коротко, с презрением и неприязнью. Уинстон попытался угадать, только ли из прошлого эта неприязнь или дело в его опухшем лице со слезящимися от ветра глазами.

Они сели на металлические стулья — рядом, но не слишком близко. Сейчас она что-то скажет, почувствовал Уинстон. Она выставила вперед ногу в некрасивом башмаке и нарочно хрустнула веткой. Ступни у нее как будто стали шире, заметил он.

— Я тебя предала, — напрямик сказала она.

— Я тебя предал, — сказал он.

Еще один быстрый, неприязненный взгляд.

— Иногда, — продолжала она, — угрожают чем-то таким, что противиться уже никак. И тогда просишь: «Не делайте этого со мной, сделайте с кем-то другим, сделайте с таким-то». Потом, конечно, можно притворяться, что просто пошла на хитрость, сказала, чтобы они перестали, а на самом деле ничего такого не имела в виду. Но это неправда. В тот момент — имела, конечно. Когда думаешь, что больше никак не спастись, то готов спасаться и такой ценой. Хочется, чтобы это случилось с другим человеком. Наплевать на его страдания. Думаешь только о себе.

— Думаешь только о себе, — как эхо, откликнулся Уинстон.

— А после этого прежних чувств к тому человеку уже нет.

— Верно, — сказал он, — уже нет.

На этом слова закончились. Ветер продувал тонкие комбинезоны насквозь. Молчание почти сразу стало тягостным, да и сидеть без движения слишком холодно.

— Пора в метро, — сказала она и встала.

— Надо встретиться еще, — сказал он.

— Да, — сказала она, — надо встретиться еще.

Некоторое время он нерешительно шел за ней, отставая на полшага. Больше они не разговаривали. Она не пыталась оторваться, но шла ровно с такой скоростью, чтобы он не мог ее догнать. Он решил было проводить ее до метро, но вот так брести за ней на холодном ветру вдруг показалось невыносимо бессмысленным.

Ему нестерпимо захотелось не столько потерять из виду Джулию, сколько оказаться снова в «Каштане». Его никогда еще так туда не тянуло. Он замечтался о своем столике в углу, газете, шахматной доске и самонаполняющемся стакане. Но главное, там тепло!

Скоро он — почти нарочно — позволил другим прохожим вклиниться между ним и Джулией. Попытался было ее догнать — впрочем, без особого желания, — потом замедлил шаг и наконец двинулся в противоположном направлении. Пройдя метров пятьдесят, обернулся. Даже на такой полубезлюдной улице он потерял ее из виду — потому что не смог бы отличить от дюжины других женщин, спешащих по своим делам. Возможно, потому что ее располневшее, ставшее неподатливым тело сделалось неузнаваемым, особенно сзади.

«Хочется, — сказала она ему, — чтобы это случилось с другим человеком». И ему хотелось. Он не просто так это сказал. Он желал, чтобы ее, а не его, отдали тем...

В музыке, брэнчащей из телевида, что-то изменилось. В ней возникла надтреснутая, издевательская, какая-то желтая интонация. Вдруг зазвучал голос певца — а может, и не зазвучал, просто воспоминание подменило собой реальность:

Рос каштан посреди луга,
Там мы продали друг друга.

Глаза Уинстона наполнились слезами. Проходивший мимо официант, заметив, что его стакан пуст, вернулся с бутылкой джина.

Уинстон поднял стакан, понюхал. С каждым глотком это пошло все отвратительнее. Но оно теперь его стихия, его жизнь, его смерть и воскресение. Джин каждый вечер погружает его в ступор, а каждое утро возвращает к жизни.

Просьпается он теперь не раньше одиннадцати, со скленными веками, огнем во рту и ломотой в спине, и, не поджидая его с вечера возле кровати бутылка и чайная чашка, он бы не смог принять вертикальное положение.

В полуденные часы он сидит со стеклянными глазами, слушает телевид, прикладывается к бутылке. С пятнадцати часов и до закрытия — заседает в «Каштане». Всем наплевать, чем он занят, свистки его не будят, телевид не пристаёт с замечаниями.

Иногда, может, два раза в неделю он заходит в пыльный, заброшенный кабинет в Глависте на так называемую работу. Его назначили в подкомиссию при какой-то подкомиссии, зародившейся в недрах одной из бесчисленных комиссий по устранению мелких нестыковок в одиннадцатом издании Словаря новоречи. Подкомиссия участвовала в подготовке так называемого Промежуточного отчета, но в чем ей предстояло отчитаться, он так толком и не выяснил. Речь, кажется, шла о том, где ставить запятые — внутри скобок или за ними.

В подкомиссии состояло еще четверо таких же, как он. Иногда они собирались и тут же расходились, честно признаваясь друг другу, что делать им на самом деле нечего. Но бывали и дни, когда они принимались за работу, можно сказать, усердно, с показным старанием составляли протоколы заседаний и сочиняли длинные пояснительные записки. Впрочем, их никогда не удавалось закончить: члены подкомиссии увязали в нескончаемых спорах о том, что, собственно, является предметом спора, — все более и более абстрактных, с хождениями по кругу, детальнейшим обсуждением определений, бесчисленными отступлениями и склоками, даже с угрозами призвать в арбитры высокое начальство. Потом запал внезапно заканчивался, и они молча глядели друг на друга через стол мертвыми глазами, как призраки, тающие в воздухе при первых криках петуха.

Телевид на минуту замолчал. Уинстон снова поднял голову. Сводка! Но нет, просто сменили музыку. Он закрыл глаза и увидел карту Африки, словно отпеча-

танную на внутренней стороне век. Стрелки изображали движения армий — черная, рвущаяся вертикально вниз, к югу, и белая, стремящаяся горизонтально вправо, к востоку, чтобы перерезать хвост черной. Словно ища поддержки, он взглянул на невозмутимое лицо на портрете. Возможно ли, что второй стрелки вовсе не существует?

Он снова потерял интерес к войне, отпил еще глоток джина, взялся за белого слона и нерешительно сделал ход. Шах. Но ход очевидно неверный, потому что...

Всплыло незваное воспоминание. Он в освещенной свечами комнате, большую часть которой занимает огромная кровать с белой спинкой. Он, девяти- или десятилетний, сидит на полу, трясет стаканчик с игральными костями и возбужденно смеется. Мать сидит напротив и тоже смеется.

До ее исчезновения оставалось примерно с месяц. У них момент примирения, гложущий голод позабыт, прежняя привязанность к матери временно ожила.

Уинстон хорошо запомнил тот день: хлестал проливной дождь, по окнам струились ручьи, при слабом свете невозможно было читать. В темной и тесной спальне двум детям стало нестерпимо скучно. Уинстон ныл и ворчал, понапрасну требовал есть, слонялся по комнате, наводил беспорядок и пинал плинтус, пока соседи не начинали стучать в стену. Младшая иногда принималась выть. Наконец мать сказала: «Веди себя хорошо, а я тебе куплю игрушку. Замечательную, тебе понравится». И вышла под дождь в соседнюю лавку, где еще иногда торговали всякой всячиной.

Вернулась она с настольной игрой в коробке. Уинстон запомнил запах мокрого картона. Игра была дрянного качества — поле все растрескалось, а неровно вырезанные деревянные кубики норовили укатиться. Уинстон смотрел на игру хмуро, без интереса. Но мать зажгла

свечку, и они уселись на пол. Фишки, полные надежды, карабкались вверх, к финишу, скатывались вниз, почти к самому началу, и скоро Уинстон уже хохотал в радостном возбуждении. Они сыграли восемь партий, каждый выиграл по четыре. Сестренка, слишком маленькая, чтобы разобраться в игре, сидела, прислонившись к диванному валику, и смеялась, потому что им весело. Так они провели совместный счастливый вечер, совсем как в его раннем детстве.

Уинстон выбросил эту картинку из головы. Ложное воспоминание. Его иногда беспокоят ложные воспоминания. Это не страшно, если знаешь, что они такое. Что было, то было, а чего не было, того не было. Он сосредоточился на шахматной доске, снова взялся за белого слона, но в ту же секунду вздрогнул, словно его пронзили иглой, и слон со стуком покатился по доске.

Резкий звук трубы разорвал воздух. Вот она, сводка! Победа! Когда перед выпуском новостей трубит труба, это всегда означает победу. По всему кафе словно пробежал электрический ток. Даже официанты вздрогнули и наострили уши.

Трубный глас выпустил на свободу целый поток громких звуков. Возбужденный голос уже гоготал из телевида, но его почти заглушал ликующий рев с улицы. Новость как по волшебству распространилась по кварталу. Уинстон слышал не все, что доносилось из телевида, но достаточно, чтобы понять, что все случилось, как он и предвидел. Огромная морская армада втайне стянулась и нанесла врагу внезапный удар с тыла. Белая стрелка рассклала хвост черной. Обрывки победной реляции прорывались сквозь рев голосов: «Масштабный стратегический маневр... блестящая координация... сокрушительное поражение... полмиллиона пленных... полностью деморализованы... контроль над всей Африкой... завершение войны уже

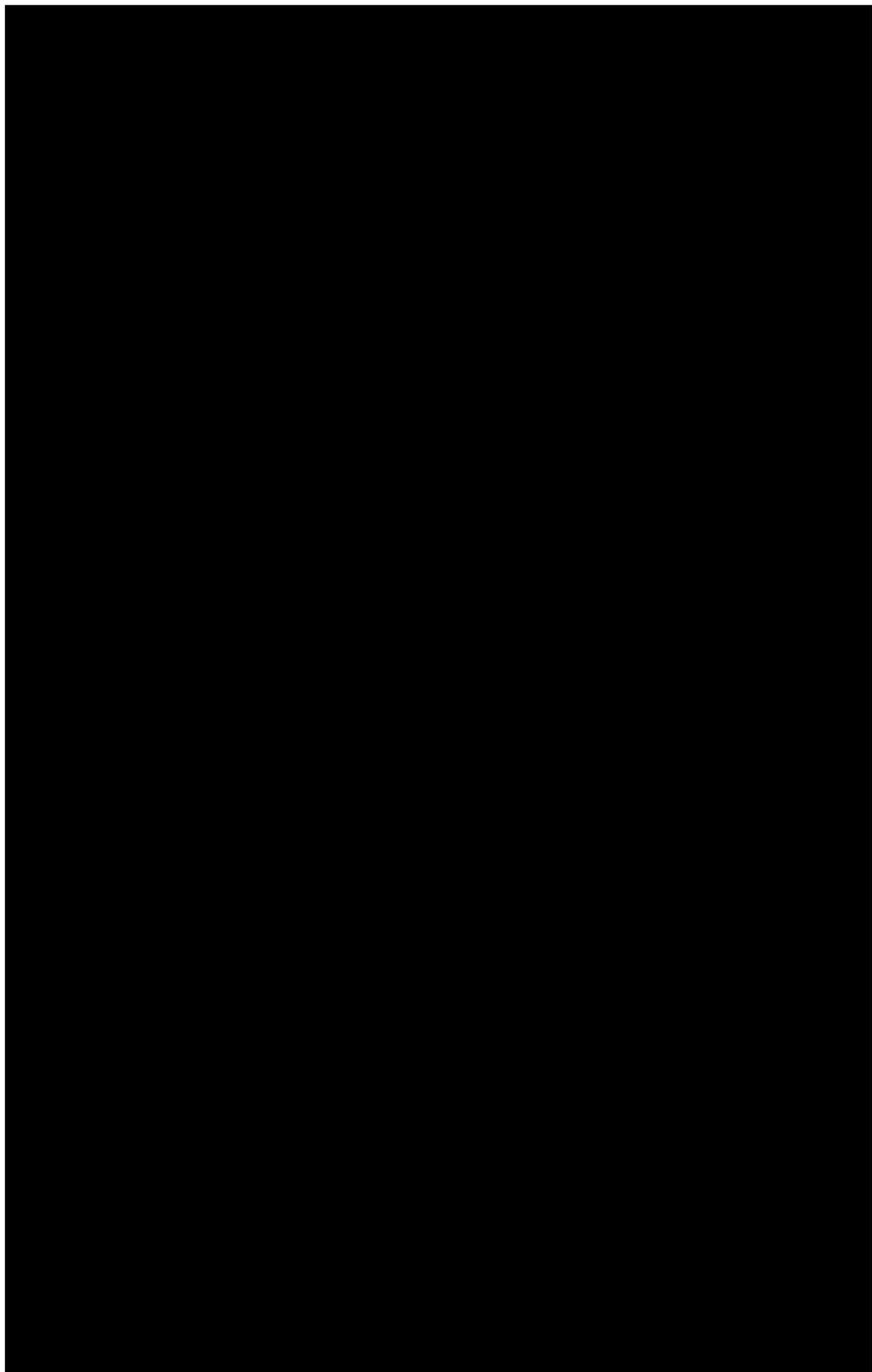
не за горами... победа... величайшая победа в истории человечества... победа, победа, победа!»

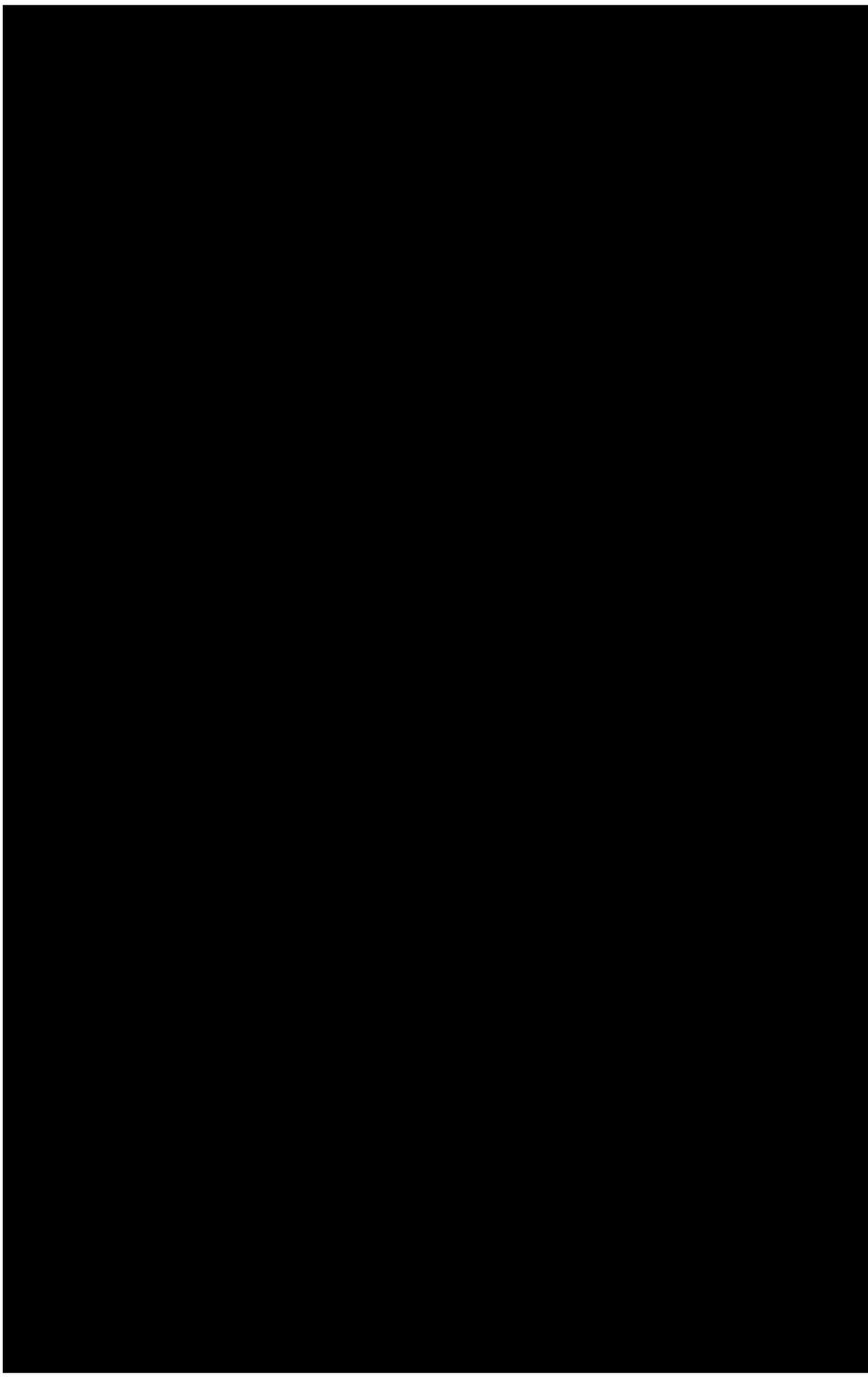
Под столом ноги Уинстона конвульсивно подергивались. Он даже не встал со стула, но мысленно он бежал, бежал со всех ног в уличной толпе, оглушенный собственными ликующими криками. Он снова поднял глаза на портрет Старшего Брата. Вот он, колосс, подпирающий ногами весь мир! Скала, о которую разбиваются азиатские орды! Всего каких-то десять минут назад — да, не более того! — в его сердце еще жила неуверенность, он гадал, какие вести придут с фронта: о победе или о поражении. О, погибла не только евразийская армия! Многое изменилось в Уинстоне с того первого дня в Главлюбе, но последняя, окончательная, целительная перемена произошла лишь сейчас.

Голос из телевида все еще заливался о пленных, о добыче, о побоище, но крики на улице немного поутихли. Официанты возвращались к работе. Один из них подошел с бутылкой джина. Погруженный в блаженные мечты, Уинстон не замечал, как ему наполняют стакан.

Он больше не бежит, не кричит. Он снова в Главлюбе, он полностью прощен, и душа его чиста, как снег. Он идет по коридору из белого кафеля с чувством, будто купается в солнечном свете, а за ним шагает вооруженный охранник. И вождеденная пуля наконец-то входит в мозг.

Он поднял глаза на огромный лик. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка скрывается за темными усами. О жестокое, напрасное заблуждение! О своевольное упрямство, отлучившее его от любящей груди! Две пахнущие джином слезы скатились по щекам. Но теперь все в порядке, все хорошо, борьба окончена. Он одержал победу над собой. Он полюбил Старшего Брата.





ПРИЛОЖЕНИЕ

Принципы новоречи

Новоречь являлась официальным языком Океании, разработанным под идеологические нужды англизма, то есть английского социализма. В 1984 году никто еще не использовал новоречь как единственное средство общения, устного или письменного. Передовицы «Таймс» писались на ней, но это был высший пилотаж, доступный лишь специалистам. Ожидалось, что новоречь вытеснит «староречь» (то есть наш современный язык) примерно к 2050 году. А пока она постепенно набирала силу по мере того, как все члены Партии употребляли в обиходе все больше и больше новоречных слов и грамматических конструкций. Вариант, имевший хождение в 1984-м и закрепленный в девятом и десятом изданиях Словаря новоречи, являлся временным и содержал множество излишних слов и устаревших форм, в дальнейшем подлежащих выводу из обращения. Здесь мы рассматриваем окончательный, усовершенствованный вариант, закрепленный в одиннадцатом издании Словаря.

Новоречь имела целью не просто обеспечить подходящие выразительные средства взглядам и мировоззрению приверженцев англизма, но и сделать все прочие способы мышления невозможными. Предполагалось, что, когда новоречь будет окончательно принята, а староречь — забыта, еретические идеи, расходящиеся с принципами англизма, станут буквально немислимыми, по крайней мере в той степени, в которой идеи зависят от словесного выражения. Словарный состав новоречи был сконструирован так, чтобы точно и часто весьма тонко выразить все смыслы, уместные в речи члена Партии, и одновременно

исключить все прочие значения, а также возможности подбраться к ним непрямыми путями. Частично эта цель достигалась изобретением неологизмов, но в основном отсеком нежелательных слов и отсечением неканонических и по возможности вообще любых второстепенных значений у слов остающихся. Вот всего один пример. Слово «свободный» сохранилось в новоречи, но могло употребляться лишь в предложениях вроде «Это место свободно» или «Автобиография пишется в свободной форме». Его нельзя было использовать в старом значении, связанном с политической или интеллектуальной свободой, поскольку политическая и интеллектуальная свобода больше не существовали даже как понятия и потому не могли быть поименованы. Безотносительно вывода из обращения однозначно еретических слов, сужение словарного запаса рассматривалось как самоцель, и ни одно слово, от которого можно было отказаться, не выживало. Новоречь создавалась, чтобы не расширить, а *сузить* диапазон мысли, и достижению этой цели косвенно способствовала минимизация выбора между словами.

Новоречь основывалась на современном языке, каким мы знаем его сейчас, хотя многие новоречные предложения, даже не содержащие неологизмов, были бы едва понятны носителю современного языка. Новоречные слова делились на три строго определенных типа, известных как Лексикон А, Лексикон Б и Лексикон В. Проще будет разобрать каждый тип отдельно, но грамматические особенности языка рассмотрим в разделе, посвященном Лексикону А, поскольку ко всем трем лексическим категориям применялись одни и те же правила.

ЛЕКСИКОН А. Лексикон А составляли слова, необходимые в повседневной жизни и описывающие еду, питье, работу, одежду, подъем и спуск по лестнице, поездки

на транспортных средствах, уход за палисадником, готовку и тому подобное. Почти все слова из этой категории есть и у нас — такие, как «бить», «бежать», «собака», «дерево», «сахар», «дом», «поле», но по сравнению с современным языком их запас был крайне невелик, а значения определялись гораздо строже. Все двусмысленности и оттенки значений были вычищены. Насколько возможно, новоречное слово этого типа отрывисто озвучивало *одно* четко определенное понятие. Применять Лексикон А в литературных целях, для политической или философской дискуссии не представлялось возможным. Он годился лишь для выражения простых, четких мыслей, обычно касавшихся конкретных предметов или физических действий.

Грамматика новоречи обладала двумя ярко выраженными особенностями. Первая из них — взаимопереходность частей речи. От любого слова в языке (в принципе, даже от такого совсем отвлеченного, как «если» или «когда») можно было образовать глагол, существительное, прилагательное или наречие. При этом существовало правило «один смысл — один корень», что позволило уничтожить многие устаревшие формы. Здесь не работал никакой этимологический принцип: иногда бралась основа существительного, иногда — другой части речи. Даже если родственные по значению слова не были этимологически связаны, одно из них часто выводилось из обращения. Например, в новоречи не существовало корня «мысл». Его место занял корень «дум», от которого и образовывались все части речи. Отсутствовало слово «нож» — было вполне достаточно слова «рез», однокоренного с глаголом «резать». Прилагательные получались путем добавления к любой основе суффикса «-н-» и окончания «-ый», наречия — суффиксов «-н-» и «-о». Так, например, «скоростной» означало «быстрый», а «ско-

ростно» — «быстро». Некоторые из наших современных прилагательных — «прямой», «сильный», «большой», «черный», «мягкий» — сохранились, но в незначительном количестве. В них не было большой нужды, поскольку почти везде, где требовалось прилагательное, можно было добавить «-ный» к основе существительного или глагола. От современных наречий отказались, за исключением тех, что уже заканчивались на «-но»: эти два суффикса присутствовали неизменно. «Хорошо», например, было заменено наречием «отлично».

Кроме того, любое значение — и это опять-таки касалось любого слова в языке — можно было изменить на противоположное путем добавления частицы «не-» или усилить путем добавления приставки «плюс-» или, для большей выразительности и усиления акцента, «плюс-плюс-». Таким образом, «нехолодно» означало «тепло», а «плюсхолодно» или «плюсплюсхолодно» — соответственно, «очень холодно» или «чрезвычайно холодно». Как и в современном языке, значение почти любого слова можно было изменить и с помощью других приставок: «пред-», «над-», «под-» и так далее. Благодаря этому удалось добиться огромного сокращения словарного состава. Имея, например, слово «отлично», можно было обойтись без такой лексемы, как «плохо», поскольку нужное значение не хуже, а даже лучше выражалось словом «неотлично». Требовалось лишь — по крайней мере в случаях с естественными парами антонимов — решить, который из них вывести из обращения. Например, «темный» можно было заменить «несветлым», а «светлый» — «нетемным», дело вкуса.

Второй характерной особенностью новоречной грамматики являлась ее регулярность. За немногими исключениями, упомянутыми ниже, все слова подчинялись единым правилам. Например, во всех прилагательных перед окон-

чанием писалась одна «н» — «земляной», «стеклоный», «ветерный», а чередования согласных и корней в разных формах слов отменили: «ляж» вместо «ляг» и «лож» вместо «клади» (заметим, что мягкий знак после шипящих перестал употребляться: «мыш», «рож»). А частица «не» стала всегда писаться с глаголами слитно.

Исключения при изменении или образовании слов возникали только из необходимости обеспечивать скорость и разборчивость устной речи. Слово, которое трудно выговорить или расслышать, уже в силу этих свойств считалось плохим; поэтому иногда, благозвучия ради, в слово добавляли дополнительные буквы или сохраняли его устаревшие формы. Но эта необходимость ощущалась главным образом в связи с Лексиконом Б. Почему столь большое значение придавалось легкости произношения, будет объяснено ниже.

ЛЕКСИКОН Б. Лексикон Б состоял из слов, специально созданных для политических целей: они не только в каждом случае имели политическую подоплеку, но и предназначались для навязывания желаемого образа мыслей тому, кто их употребляет. Без полного понимания принципов англизма правильно применять эти слова было непросто. В некоторых случаях они поддавались переводу на староречь или даже передаче словами из Лексикона А, но для этого приходилось длинно перефразировать, а некоторые оттенки смысла всегда терялись. Лексикон Б можно назвать своего рода вербальной стенографией, часто умещавшей целый спектр идей в несколько слогов и в то же время более точной и энергичной, чем обыкновенный язык.

В Лексикон Б входили исключительно составные слова. (Конечно, такие составные слова, как «речепис», имелись и в Лексиконе А, но это были лишь удобные

сокращения без особой идеологической окраски.) Они состояли из двух и более слов или частей слов, спаянных в легко произносимое целое. Результат всегда мог служить основой существительного или глагола, изменявшегося по обычным правилам. Пример — слово «пряמודум», означающее (весьма приблизительно) догму; глагол «пряמודумать» означал «мыслить в соответствии с догмой». От него были образованы прилагательное «пряמודумный» и наречие «пряמודумно», а также отглагольное существительное «пряמודумец».

Единицы Лексикона Б конструировались без какого бы то ни было этимологического принципа. Слова, из которых они составлялись, могли принадлежать к любой части речи, размещаться в любом порядке и подвергаться любой хирургии, лишь бы результат было легко произнести, а его происхождение ясно прослеживалось. В слове «криводум» (преступная мысль), например, корень «дум» шел вторым, а в слове «Думнадзор» (полиция мыслей) — первым. Из-за проблем с благозвучием исключения в Лексиконе Б встречались чаще, чем в Лексиконе А. Например, от существительных «Главист» и «Главлюб» образовывались, соответственно, прилагательные «главистинный» и «главлюбский» — просто потому что «главистный» и «главлюбный» звучали несколько неуклюже. В целом, однако, все слова Лексикона Б могли изменяться, причем по одним и тем же правилам.

Некоторые слова Лексикона Б имели настолько тонко нюансированные значения, что были едва понятны тем, кто не овладел языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовицы «Таймс»: «Стародумцы ненутрочуют англизм». Самый короткий перевод на староречь выглядел бы так: «Те, чье мышление сформировалось до Революции, неспособны на эмоциональном уровне полностью осознать принципы английского социа-

лизма». Но это не совсем адекватный перевод. Для начала, чтобы полностью вникнуть в смысл вышеприведенного предложения на новоречи, надо отчетливо представлять себе, что такое «англизм». Кроме того, только человек, как следует подкованный по части англизма, может оценить всю силу слова «нутрочують», подразумевающего слепое, полное энтузиазма одобрение, какое трудно представить себе в наше время, — или слова «стародум» с его неотделимыми оттенками злонамеренности и порочности. Но особая функция некоторых новоречных слов, включая «стародум», заключалась не в раскрытии смыслов, а в их разрушении. Значения этих слов, неизбежно малочисленных, расширились до тех пор, пока не вмещали в себя целые множества других слов, и те, в достаточной степени раскрытые одним общим термином, могли теперь отправиться на свалку и сгинуть в забвении. Главная сложность для составителей Словаря новоречи состояла не в изобретении неологизмов, но в уточнении их значений. Иначе говоря, в том, чтобы разобраться, какие группы слов отменяло их появление.

Как мы уже видели на примере слова «свободно», словарные единицы, ранее обладавшие еретическими значениями, иногда сохранялись ради удобства, но только после очистки от нежелательных значений. Несметное число других слов, таких как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «наука» и «религия», просто перестали существовать. Несколько обобщенных терминов вместили их значения и тем самым упразднили их. Например, «криводум» вмещал в себя все слова, сгруппированные вокруг понятий свободы и равенства, а значения, близкие к понятиям объективности и рационализма, — термин «стародум». Бóльшая определенность была бы опасна. От члена Партии требовался взгляд на вещи как у древнего иудея, который знал

немногое, зато знал наверняка, что все прочие народы, кроме его собственного, поклоняются «ложным богам». Ему ни к чему было знать, что эти боги зовутся Ваал, Осирис, Молох, Ашторет и так далее: возможно, чем меньше он знал, тем лучше было для его правоверности. Он знал Иегову и заповеди Иеговы; следовательно, все боги с другими именами и свойствами — ложные боги. Подобно ему, член Партии знал, в чем состоит правильное поведение, а о том, какие отклонения от него возможны, представления его были чрезвычайно туманными и обобщенными. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоречными словами — «кривосекс» (половая распущенность) и «прямосекс» (целомудрие). «Кривосекс» вмещал в себя любые половые прегрешения: добрачные связи, супружескую измену, гомосексуальность и другие извращения, а также обычные половые сношения ради удовольствия. В перечислении не было нужды, поскольку все эти деяния были одинаково преступны и, в принципе, наказуемы смертью. В Лексиконе В, состоявшем из научных и технических терминов, отдельные названия для различных сексуальных отклонений, возможно, и были необходимы, но обычный гражданин в них не нуждался. Он знал, что подразумевается под «прямосексом», то есть нормальным сношением между мужем и женой исключительно ради деторождения, при котором женщина не получает физического удовольствия; все остальное — «кривосекс». На новоречи редко удавалось довести еретическую мысль дальше осознания, что она является еретической: за этой гранью просто не существовало нужных слов.

Ни одно слово в Лексиконе Б не было идеологически нейтральным. Очень многие являлись эвфемизмами. Например, такие слова, как «радлаг» (лагерь радости, то есть каторжный лагерь) или «Главмир» (Главный комитет

мира, то есть министерство войны), имели значения, почти противоположные очевидным. С другой стороны, некоторые термины демонстрировали откровенное и презрительное понимание реальной природы общества Океании. Пример — «масскорм», то есть дешевые развлечения и фальшивые новости, которыми Партия пичкала массы. Иные неоднозначные слова несли позитивную коннотацию применительно к Партии и негативную применительно к ее врагам. Но существовало и множество слов, на первый взгляд казавшихся простыми сокращениями: им придавало идеологическую окраску не их значение, а сама их структура.

Все, что имело или могло иметь хоть какое-то политическое значение и в чем его можно было, при должной фантазии, отыскать, помещалось в Лексикон Б. Названиям всех организаций, групп людей, доктрин, стран, институтов, общественных зданий непременно придавалась знакомая форма: одно легкопроизносимое слово с минимальным количеством слогов и очевидным происхождением. Так, архивный сектор в составе Главного комитета истины, где работал Уинстон Смит, назывался архсек, сектор художественной литературы — худлитсек, сектор телепрограмм — телесек и так далее. Смысл заключался не только в экономии времени. Еще в первые десятилетия XX века сложносокращенные слова стали характерными для политического языка, и было замечено, что к таким конструкциям особенно тяготели тоталитарные государства и организации. Среди примеров — «наци», «гестапо», «Коминтерн», «Инпрекор», «агитпроп». Поначалу эта практика складывалась стихийно, но в новоречи она имела осознанную цель. Считалось, что, сокращая таким образом название, можно отсечь большую часть облепивших его ассоциаций и таким образом сузить и подкорректировать его значение.

Словосочетание «Коммунистический интернационал», например, рождает целое полотно образов: всеобщее братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово «Коминтерн», напротив, указывает лишь на сплоченную организацию и четко определенную доктрину. Оно описывает понятие, почти такое же узнаваемое и функционально ограниченное, как стул или стол. «Коминтерн» — слово, которое можно произнести практически не раздумывая, тогда как «Коммунистический интернационал» предполагает хотя бы секундную рефлексию. Точно так же ассоциации со словом «Главист» менее многочисленны и легче контролируемы, чем те, что возникают, когда произносишь «Главный комитет истины». Именно этим объяснялась не только манера сокращать слова, где только возможно, но и почти преувеличенное внимание к легкопроизносимости каждого слова.

В новоречи благозвучие перевешивало все соображения, кроме точности значения. Ради него приносилась в жертву и регулярность грамматики, когда это казалось необходимым. И действительно: ведь требовались — в первую очередь в политических целях — короткие, отрывистые слова со сразу понятным смыслом, которые можно было выговаривать быстро, не путаясь в ассоциациях.

Похожесть друг на друга делала слова Лексикона Б даже весомее. Почти всегда эти термины — «прягодум», «Главмир», «масскорм», «кривосекс», «радлаг», «англизм», «думнадзор» и бесчисленные прочие — состояли из двух-трех слогов, а ударение в них было двойным: и на первый, и на последний слог. Такие слова делали речь похожей на гусиный гогот, одновременно отрывистый и монотонный. Именно такая цель и преследовалась. Речь, особенно на идеологически чувствительные темы,

надлежало сделать максимально независимой от сознания. Несомненно, в беседе на бытовые темы иногда было необходимо подумать, прежде чем говорить, но член Партии, от которого требовались политические или этические суждения, должен был извергать правильные мнения так же автоматически, как пулемет пули. Его к этому готовили, а язык давал инструмент, практически исключающий ошибки. Подталкивала его в этом направлении и сама структура слов, то, как жестко и намеренно некрасиво они звучали в соответствии с духом англизма.

Той же цели служил и очень ограниченный выбор слов. По сравнению с нашим словарным запасом словарь новоречи был мизерным, и постоянно разрабатывались новые способы его дальнейшего сокращения. Собственно, новоречь тем и отличалась от большинства других языков, что ее словарный состав с каждым годом сокращался, а не увеличивался. Каждое сокращение было приобретением, ведь чем беднее выбор, тем меньше соблазн задуматься. Была надежда, что в конечном счете связанная речь станет литься из гортани совершенно независимо от центров высшей нервной деятельности. Эту цель откровенно признавало новоречное слово «гусеречь», то есть гусиный гогот. Как и у многих других единиц Лексикона Б, смысл «гусеречи» зависел от контекста. Если высказывания гогочущего соответствовали догме, это слово выражало лишь похвалу, и когда «Таймс» писала, что некий партийный оратор «плюсплюсотличный гусеречец», этот одобрительный отзыв был ему наградой.

ЛЕКСИКОН В. Лексикон В играл вспомогательную роль по отношению к двум другим и полностью состоял из научных и технических терминов, похожих на современные и произведенных от тех же корней. Однако им уделялось столько же внимания в плане уточнения

определений и очистки от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и слова из двух других лексиконов. Очень немногие термины из Лексикона В имели сколько-нибудь широкое хождение в повседневной или политической речи. Научный или технический работник мог найти все нужные ему слова в списке, относящемся к его специальности, однако он владел лишь разрозненными терминами из других списков. Только немногие слова были общими для всех списков, а словарных единиц, выражающих функции науки в целом (а не ее конкретных областей) как интеллектуального упражнения или метода познания, не существовало. Собственно, не было и самого слова «наука»: любой смысл, который оно могло бы нести, прекрасно выразался словом «англизм».

Из вышесказанного ясно, что на новоречи практически невозможно было высказывать неортодоксальные мнения, за исключением самых примитивных. Конечно, можно было высказать ересь в совсем грубой форме, на уровне богохульства. Например, заявить: «Старший Брат неотличный». Но это утверждение, заведомо абсурдное для правоверного уха, невозможно было аргументировать за отсутствием необходимых слов. Идеи, враждебные англизму, могли мниться лишь в туманной, бессловесной форме и высказываться только посредством всеобъемлющих терминов, которые сваливали в кучу и осуждали целые группы ересей, не давая им определений. Собственно говоря, новоречь можно было использовать для неканонических целей, только прибегая к неправомерному обратному переводу некоторых слов на староречь. Например, предложение «Все человеки равные» было допустимо на новоречи, но лишь в той мере, в которой староречь допускала высказывание «Все люди рыжие». Оно не содержит грамматической ошибки, но выражает

откровенно неверную мысль: что все люди — одного роста, одного веса или одинаково сильны. Понятия политического равенства более не существовало, и, соответственно, слово «равный» было очищено от этого второстепенного значения. В 1984-м, когда обычным средством общения еще была староречь, теоретически существовала опасность, что при употреблении новоречных слов будут вспоминаться их первоначальные значения. На практике любому хорошо подкованному в «двоедуме» было легко этого избежать, но через поколение, от силы через два исчезла бы и сама возможность такой оплошности. Выросший исключительно на новоречи имел бы так же мало шансов узнать, что слово «равный» когда-то имело второстепенное значение, связанное с политическим равенством, или что «свободный» когда-то значило «интеллектуально свободный», как, например, человек, не знакомый с шахматами, — узнать второстепенные значения слов «слон» и «ладья». Многие преступления и ошибки стали бы для него непосильными просто потому, что они безымянны и, как следствие, невообразимы. Также предполагалось, что с течением времени отличительные особенности новоречи станут все более выраженными: число слов будет уменьшаться, их значения будут делаться все более четкими, а вероятность их нецелевого использования пойдет на спад.

После окончательного вытеснения староречи последняя связь с прошлым была бы разорвана. Историю к тому времени уже переписали, но некачественно отцензурированные обрывки прежней литературы еще кое-где сохранялись, и, зная староречь, люди еще могли их прочесть. В будущем даже такие случайно уцелевшие обрывки стали бы непонятными и непереводаемыми. Никакой текст нельзя было перевести со староречи на новоречь, если только он не относился к какому-то техническому

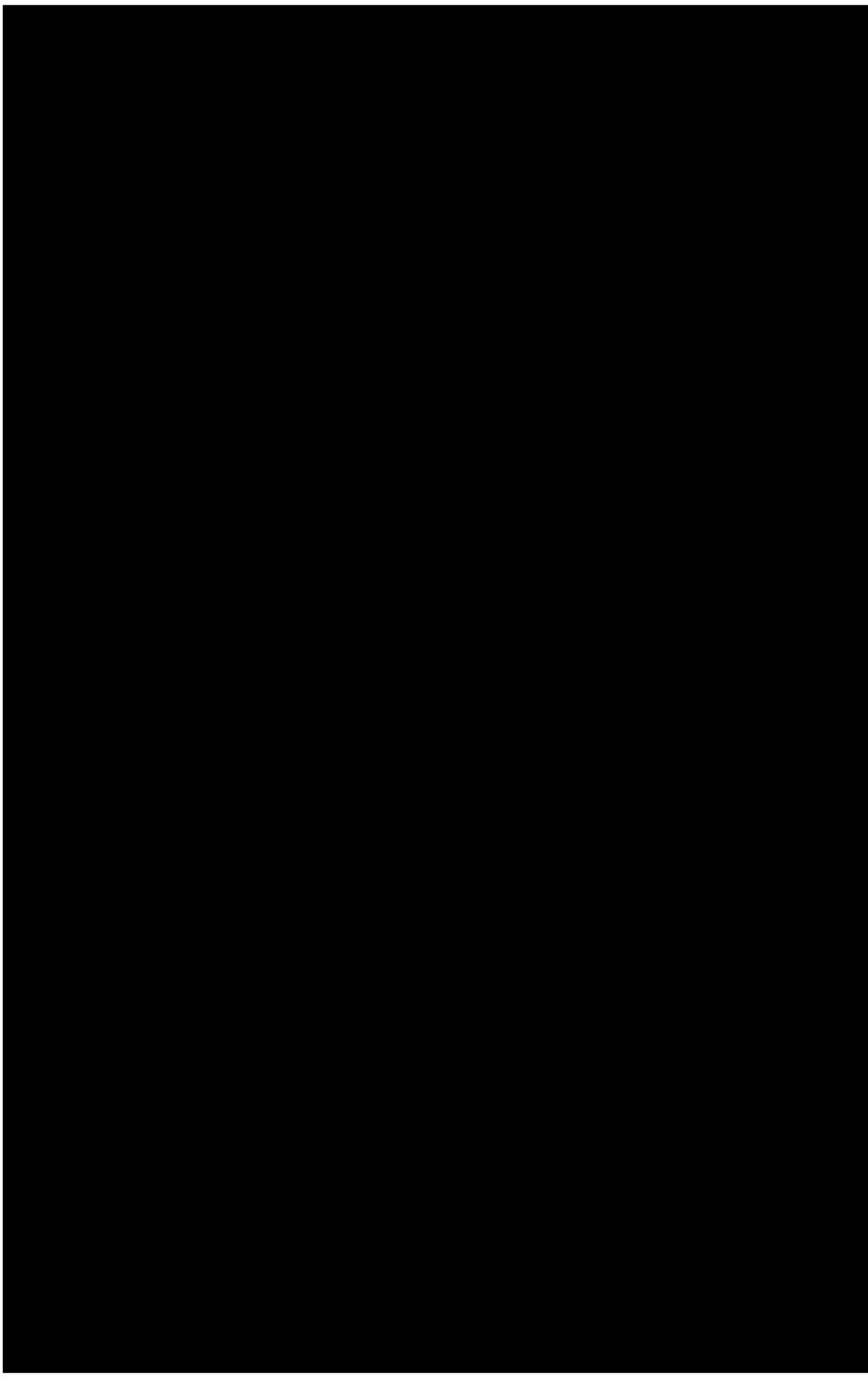
процессу или простейшему бытовому действию и если он сам по себе не склонялся к соответствию догме (то есть не был, говоря на новоречи, «прямым»). На практике это означало, что ни одна книга, написанная примерно до 1960 года, не могла быть переведена полноценно. Дореволюционную литературу можно было подвергнуть лишь идеологическому переводу, который изменил бы смысл, а не только форму. Возьмем, к примеру, известный пассаж из Декларации независимости:

Мы считаем самоочевидной истиной, что все люди созданы равными, что Создатель наделил их определенными неотъемлемыми правами, в числе которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Что ради обеспечения этих прав людьми устанавливаются правительства, чья власть проистекает из согласия управляемых. Что, если любая форма правления становится разрушительной для этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство...

Было бы совершенно невозможно перевести это на новоречь, сохранив смысл оригинала. Смысл пассажа ближе всего передал бы термин «криводум». Полноценный же перевод возможен был бы лишь идеологический, при котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютизму.

Собственно, немалая часть литературы прошлого уже трансформировалась подобным образом. По соображениям престижа сохранение памяти о некоторых исторических фигурах считалось желательным, но их достижения надлежало привести в соответствие с философией англизма. Поэтому наследие таких писателей, как Шекспир, Милтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторых других, находилось

в процессе перевода. По окончании работы оригиналы их трудов вместе со всей прочей сохранившейся литературой прошлого подлежали уничтожению. Перевод был делом долгим и сложным, и завершение его ожидалось не раньше первого или второго десятилетия XXI века. Существовала и богатая литература чисто утилитарного назначения — незаменимые технические справочники и тому подобное, — которая тоже подлежала подобной обработке. Именно для того, чтобы оставить время на подготовительную переводческую работу, окончательный переход на новоречь и планировался не ранее 2050 года.



ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Иногда юношеские мечты сбываются, уже перестав быть мечтами. Студентом-лингвистом в конце 1980-х я грезил, что стану маститым переводчиком, получу от солидного издательства заказ на книгу, которую вы держите сейчас в руках, и проведу с ней несколько месяцев, обдумывая каждое слово. С первой мечтой не сложилось: я стал журналистом. Столько всего творилось вокруг в последние тридцать лет, что вторая мечта — перевести Оруэлла — стерлась. Тем не менее к тому моменту, когда издательство «Альпина» — как гром среди ясного неба! — заказало мне перевод, который вы только что прочли, я остался, вероятно, одним из немногих профессиональных пользователей русского языка, способных взяться за эту работу с чистого листа. Не потому, что обладал какой-то особой квалификацией. Дело в том, что, многократно перечитав оригинал, я не был знаком с работами предшественников-переводчиков.

Даже взявшись — вечерами после основной работы — за исполнение забытой мечты, я намеренно не стал читать прежние переводы, которые мне хвалили сведущие люди. Рассуждал так: если их авторы сделали свое дело блестяще, опущу руки или, того хуже, начну подражать; если так себе — расслаблюсь и переведу спустя рукава. Теперь, прочитав отличные переводы Виктора Гольщева, а также Вячеслава Недошивина и Дмитрия Иванова, я знаю, что это было верное решение. Попади они мне в руки раньше, я бы, может, и не осмелился вступать с ними в заочную полемику; а так — ввязался с отвагой невежды.

С русскими версиями оруэлловских неологизмов, прочно укоренившимися в языке, часто хотелось поспорить.

Взять хотя бы слово «новояз». Сокращение «яз» встречалось мне только еще в одном сложном слове — «иняз», и в нем тоже казалось на редкость неуклюжим. Невозможно было перестать думать о язе, этом пучеглазом представителе семейства карповых. Кроме того, Оруэлл использовал корень *speak* не только в слове *newspeak*, но и в других неологизмах: *speakwrite*, *duckspeak* и пр. Хотелось и в русских аналогах видеть один и тот же корень.

Такую возможность дает слово «новоречь», встречающееся в первом, вероятно, переводе фрагментов оруэлловского текста на русский — в книге киевских филологов Андрея и Татьяны Фесенко «Русский язык при Советах», изданной в Нью-Йорке в 1955 году (хотя в том же 1955-м перевод «1984», под псевдонимами В. Андреев и Н. Витов, начал печататься в эмигрантском журнале «Грани» — там тоже «новоречь»). Фесенко, проделавшие долгий путь в США во время Второй мировой, считали, что новоречь Оруэлла — пародия на русский язык советского периода, хотя более поздние исследователи нашли ее корни в языке эсперанто и всяческих упрощенных и бюрократических разновидностях английского.

От «новоречи» образуется более органичное прилагательное («новоречный»), чем от «новояза» («новоязовский»). И можно спокойно использовать тот же корень в словах «речепис» или «гусеречь» (да, в этом последнем случае я заменил оруэлловскую утку гусем, чтобы избежать ненужной путаницы с больничной уткой; к тому же по-русски оратор, выступающий в этом стиле, скорее гогочет, как гусь, чем крикает, как утка).

Другой пример — слово «мыслепреступление». Мало того, что в нем семь слогов, а Оруэлл в приложении «Принципы новоречи» указал, что три слога — в общем случае предел для новоречных неологизмов. Оно к тому же неверно по сути, потому что преступление — это нарушение закона, а в Океании законов нет.

Я старался придерживаться принципов, сформулированных Оруэллом, и счел для этого удобным корень «дум». Вместо «мыслепреступления» получился трехсложный «криводум», нарушающий «прямоту» партийной линии. Естественными показались и другие новообразования с этим корнем — «двоядум», «стародум», — от которых можно было стандартным способом, как предписал Оруэлл, образовать прилагательные, наречия и термины, описывающие людей: «криводумный», «криводумно», «криводумец».

Я знал из аллюзий в разных публицистических текстах, что в переводах, как и в оруэлловском оригинале, четыре управляющих органа Океании называются министерствами. У меня это главные комитеты, главки, чтобы получить более благозвучные сокращения — Главист, Главлюб, Главмир, Главбог. Вместо отделов у меня секторы — ради все той же обозначенной Оруэллом цели, благозвучия сокращений. Кроме того, Полиция мыслей стала Думнадзором (сходство с Роскомнадзором совершенно случайно).

Читателям предыдущих переводов все это, вероятно, поначалу покажется непривычным и, возможно, неуклюжим, даже несмотря на блестящую, на мой взгляд, работу редактора Любови Макариной. Однако я надеюсь, что, даже если им ближе прежние версии, это не оттолкнет их и они увидят в моем переводе внутреннюю логику.

Логика эта — не исключительно лингвистическая. Читатели, рожденные в СССР, естественно, увидели

у Оруэлла отсылки к знакомым реалиям гниющей коммунистической диктатуры. Я старался разрушить автоматизм этих ассоциаций, прибегая к приему, известному как остраннение; лишь в редких случаях я переводил реалии Океании словечками, памятными по советской жизни. Потому что ассоциативная привязка к советскому опыту сейчас скорее помешала бы прислушаться в процессе чтения к себе.

В первый раз я прочел роман в девятнадцать лет, и тогда он наделил меня стойким иммунитетом к любой пропаганде. Во второй, в тридцать с небольшим, — примирил со страхом физической боли. В третий, в сорок, — объяснил кое-что о любви и предательстве. Теперь, в сорок девять, помогает понять и пережить новое чувство удушья — и от обезличивающей маски, навязанной растерявшимися политиками, и от полицейского колена, пусть пока на чужой шее — в Миннеаполисе ли, в Минске ли, в Москве ли, — но, значит, в любой момент и на моей.

Океания — это, конечно, не Советский Союз (а также не нацистская Германия и не комбинация этих двух бесчеловечных режимов, которые Оруэлл хорошо понимал). В ее укладе — неожиданные отголоски современной, путинской России и Америки Дональда Трампа, хотя Оруэлл, конечно, ничего не мог о них знать. Государство, основанное на подавлении протеста, постоянно переписываемой истории, поиске внешних врагов и лживой пропаганде, — модель, которая воспроизводится постоянно и где угодно, вне зависимости от географии и культурных традиций. Единственный способ остановить ее воспроизводство — это, по завету Егора Летова, убить в себе государство.

Уинстон Смит хотя бы попытался — и, несмотря на его трагическую метаморфозу, вероятно, не зря. Не случайно

лингвистическое приложение, которым заканчивается роман, написано в прошедшем времени: очевидно, режим Старшего Брата не выжил и стал не более чем предметом исследований. Теперь, когда, казалось бы, я уже не могу вычитать в романе ничего нового, приглушенный оптимизм, который автор счел нужным выразить, лишь закончив свой неуютный рассказ, кажется мне важнее всех мрачных оруэлловских пророчеств.

Леонид Бершидский
Берлин, 2020

Оруэлл Джордж

1984

Главный редактор *С. Турко*
Руководитель проекта *М. Красавина*
Корректоры *О. Улантикова, Е. Аксёнова*
Компьютерная верстка *А. Абрамов*
Художественное оформление и макет *Ю. Буга*
Иллюстратор *О. Халецкая / bangbangstudio.ru*

Подписано в печать 01.01.2021. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Объем 22,0 печ. л. Тираж 10 000 экз. Заказ №

ООО «Альпина Паблишер»
123060, Москва, а/я 28
Тел. +7 (495) 980-53-54
www.alpina.ru
e-mail: info@alpina.ru

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

16+

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14